

НИЖНИЙ
НОВГОРОД

N I Z H N Y N O V G O R O D 1 / 2 0 1 5



РОМАН
СЕНЧИН
Москва

69



ОЛЕГ
РЯБОВ
Нижний Новгород

92



ВАЛЕНТИН
УСТИНОВ
Москва

100



ЗАХАР
ПРИЛЕПИН
Нижний Новгород

107



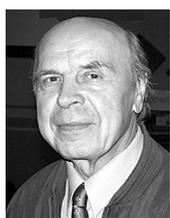
ЕЛЕНА
КРЮКОВА
Нижний Новгород

111



ВЛАДИМИР
СЕДОВ
Нижний Новгород

124



ВАЛЕРИЙ
ШАМШУРИН
Нижний Новгород

161



ОЛЕГ
МАКОША
Нижний Новгород

178



АЛЕКСАНДР
КОВАЛЕВ
Санкт-Петербург

204



НИКОЛАЙ
БЕНЕДИКТОВ
Нижний Новгород

214



АНДРЕЙ
БОЧКАРЕВ
Нижний Новгород

223



АЛЕКСАНДР
ИЛИЧЕВСКИЙ
Москва

235



АЛЕКСАНДР
ХОРТ
Москва

237



АЛЕКСАНДР
КОТЮСОВ
Нижний Новгород

248



ВЯЧЕСЛАВ
ФЕДОРОВ
Нижний Новгород

253

В НОМЕРЕ

Проза

Юрий ФАНКИН	
МОЛИТВА В БЕЗДОЖДИЕ	4
Роман СЕНЧИН	
НИЧЕГО ЛИЧНОГО	69
Олег РЯБОВ	
ПРО ВАСИЛИСУ ВАСИЛЬЕВНУ	92
АГДАМ.	96

Поэзия

Валентин УСТИНОВ	
ПОТАЁННЫЙ, ЗАСТЕНЧИВЫЙ РАЙ НА ЗЕМЛЕ	100
Захар ПРИЛЕПИН	
Я СТОЮ НА СВЕТУ...	107

Проза

Елена КРЮКОВА	
СМЕРТЬ ЗА ЦАРЯ	111
Владимир СЕДОВ	
Я – ЭТО ОН	124
ТУФЕЛЬКА	129
ЛУНИН.	132
Наталья ЕМЕЛЬЯНОВА	
ПОЧТАЛЬОН	135
Валерий ШАМШУРИН	
РОДНОЕ ПЕПЕЛИЩЕ	161
Олег МАКОША	
КОМПАС.	178
КАНВА.	180
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА	182
ПАПА ВОВА И ПЕРСИК	184
ЦЕЗАРЬ	186
ТЫБЛОКО	188
МУСЬКА	190
Владимир ЗОЛОТАРЕВ	
ВРАЖЕСКИЙ БУТЕРБРОД	191
РЕКВИЗИЦИЯ	194
РИСУНОК РЕБЕНКА	196
ПРИБЛУДА	200

Поэзия

- Александр КОВАЛЕВ
...И КЛАВИШИ ТРОНУТЬ, И ВМЕСТЕ СВЕСТИ 204
- Эльвира КУКЛИНА
КАК ТОСКУ ПЕРЕПЛАВЛЯЮТ В СИЛУ... 208
- Евгений ОВСЯННИКОВ
ВЫБЕРИ ВЕК И ДОМ, ГДЕ ПРОСНУТЬСЯ СНОВА... 212

Публицистика

- Николай БЕНЕДИКТОВ
ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕВРОПЫ ПРИДЕТ ИЗ РОССИИ
Пушкин об историческом и культурном пути Отечества 214

Культурный код

- Андрей БОЧКАРЕВ
НОВАТОРЫ VS АРХАИСТЫ: ЭВОЛЮЦИЯ ИЛИ ДЕГРАДАЦИЯ?
О понятии культуры и культурной экологии 223
- Александр ИЛИЧЕВСКИЙ
О НЕВОЗМОЖНОСТИ ТОЛСТОГО. 235

Non-fiction

- Александр ХОРТ
У СИНЬОРА ГОРЬКОГО 237
- НЕМАЯ ПЯТЁРКА 240

Литпроцесс

- Александр КОТЮСОВ
МЫ УЖЕ ЖИЛИ В ПОХОЖЕЙ СТРАНЕ... 248

Ретроскоп

- Вячеслав ФЕДОРОВ
ПИРАТЫ ВОЛГИ 253

Юрий ФАНКИН

Родился в 1940 году в деревне Крюковка Березовского района Липецкой области. Окончил историко-филологический факультет Муромского педагогического института. После окончания службы в Советской армии работал в городских школах, педучилище и радиотехникуме.

Публиковался в журналах «Наш современник», «Москва», «Роман-газета», «Роман-журнал – XXI век», «Русская провинция».

Автор исторических романов «Осуждение Сократа» и «Императорские игры», повестей «Городушки», «День поминанья и свадьбы», «Очищение огнем», «Прощай, лес, прощай, дуброва!», «Ястребиный князь», «Межа», «Баю-баюшки-баю», сказов о муромских святых. Рассказ «Прощание с Далиром» включен в антологию советских рассказов, изданную на немецком языке в Лейпциге.

Лауреат Международного литературного конкурса им. Андрея Платонова (2003), лауреат областной премии имени С. К. Никитина (2007). Награжден памятной медалью «К 100-летию со дня рождения М. А. Шолохова» Российской муниципальной академии (2005).

Член Союза писателей России). Живет в Муроме.

МОЛИТВА В БЕЗДОЖДИЕ

Повесть

1

Когда деревенские стали судачить по весне насчёт будущего водополя, бывший агроном Макар Дельнов большей частью помалкивал, а в конце марта, на день Алексея Тёплого, отыскал на кухне, в посудной горке, большой ребристый стакан и, припадая на правую, увечную, ногу, отправился на огород.

От синего неба и яркого солнца снежный наст казался слегка подсинённым и промасленным. Снег ещё не зазернился, не выметал в возвышающихся волнами сугробах плодоносную икру, но возле нагретых яблоневого комлей уже успели обозначиться неглубокие блюдца.

В ветках калины с остатками пожухлых ягод весело насвистывала овсянка: «По-кинь сани, возь-ми воз!»

Перед ясным ликом солнца Макар снял лохматую шапку, постоял, понежился, глядя на небо, весенними безгорестными слезами и неторопливо, угадывая занесённую тропку, направился в тень, к сараю, где лежал чистый снег.

Потрогал пушистый нанос и стал аккуратно, щепотками, набивать гранёный стакан. Попримял прокуренным пальцем содержимое до

«дунькиного пояска» и, переждав лёгкое головокружение, вернулся в натопленную избу.

После оттайки в стакане набралась какая-то треть воды-снежницы.

– Большого разлива не будет! – уверенно сказал Макар и успокоил жену: – За погреб не опасайся. Картошка не поплывёт...

По берёзе, которая распустила листочки наперёд ольхи, Макар предсказал и сухое лето, но даже он не догадался, что грядёт редкая жара, которую на старых барометрах обозначали как «Великая сушь»...

Так уж велось с незапамятных времён: земля – матушка, небо – отец, а дождь – кормилец. Дождь льёт, земля пьёт, а хлеб растёт.

Умели древние люди уговаривать вольные ветры, вызывать благодатные дожди:

– Ты подуй-ка, ветер-ветрило, теплом тёплым, ты пролей-ка на рожь, на яровину яровую, на поле, на луга дожди животворные, к поре да ко времечку...

Призывали наши предки на помощь Христа-Спасителя, не забывали и о его светоносной матушке – Богородице:

– Матерь Божья, подавай дождя на бабину рожь, на дедовую пшеницу, на девкин лён...

С великой радостью, с широкой улыбкой встречали люди намоленный небесный дар:

– Дай Бог дождю, в толстую вожжу! Лей, не жалея! Не ситцем просей! Сухой нитки не оставь, пробей до самых костей! Уж дождь дождём, поливай ковшом!..

И какие только дожди не выпадали на землю-матушку: и мелкий дождь-ситничек, и морось, что мельче ситничка, и ливень, и косой дождь-подстёга, и окатный...

И вставала над орошённой землёй семицветная радуга-дуга. Высокая и крутая – к вёдру, пологая и низкая – к ненастью.

Ушли в мир иной седобородые предки, унеся с собой многие приметы, накопленную веками хлебопашескую мудрость, и остались на земле их обделённые потомки наедине с карающим, как Божий меч, солнцем.

В это лето дневное светило было как никогда беспощадным. Казалось, ещё чуть-чуть, и люди растворятся под его пристальным огненным оком, словно росинки на утренней траве. Единственный пруд в Берёзовке забродил от жары и покрылся пузырящейся, словно лягушачья икра, ряской. В зелёных разводьях плавала дохлая рыба. А в кронах деревьев, задолго до естественного увяданья, тревожно – будто таящий огонь – заиграли листовые «зайчики».

Вслед за устойчивой жарой последовали, пока дальние, лесные пожары. Вместо дождевых облаков походя на них дымная наволочь рассеялась над Берёзовкой. Эта завесь прикрывала солнце, но не приносила желанного облегчения: небесные стрелы вязли в дыму, но стало душно так, как будто сверху набросили одеяло.

Казалось, вышние силы уготовили грешному человеку печальный выбор: или сгореть под лучами беспощадного солнца, или же задохнуться в смрадном дыму.

Глубоким вечером, когда солнце нехотя скатилось за горизонт и сквозь серую дымку смутно проглянула окрашенная в красные тона луна, супруги Агафоновы вышли на безлюдную деревенскую улицу.

Одеты они были скорее по-осеннему, чем по-летнему: на Фатее была плотная, застёгнутая на молнию, ветровка, а Аннушка, спасаясь от злых комаров, закуталась в шерстяную кофту.

Фатей, как в молодые студенческие годы, взял Аннушку под локоток, и они неторопливо пошли по выщербленному асфальту к лесной окраине.

Старая деревня умирала, но кое-где ещё оставались сосновые избы с искусной резьбой: резные наличники и накладки по карнизам, резные крылечки и светёлки на крышах, похожие на маленькие терема. Сейчас, ввечеру, эти радующие глаз избы были окутаны не столько серой мглой, сколько голубоватым, саднящим горло, дымком,

Фатей не ожидал встретить гуляющих на пути: ну кому придёт в голову дышать перед сном таким воздухом? Но, похоже, для кого-то и домашняя духота оказалась не слаще горьковатого дыма.

Не дойдя до Агашиного проулка, Агафоновы встретили двух сестёр-дачниц, приехавших в отпуск навестить свою заколоченную избу.

Послышался тихий рессорный скрип... Это вышли на прогулку старомодная, в соломенной шляпке, городская бабушка и её внучка-инвалид. Чтобы не упасть, девочка, страдающая церебральным параличом, катила перед собой пустую детскую коляску.

Постукивая палкой, показалась на дороге престарелая бабушка Акулина, над которой так любит подшучивать деревенский озорник Серёга Черкашин по прозвищу Агдам. Встретит Агдам бабушку на улице, весело ощерится: «Бабушка Акуль, ты родом откуда?» – «Известно откуда! – ответит бабушка. – Из Берёзовки!» – «Ну-ну! – согласится Агдам. – А я-то думал: из Туртапки!» – «Из какой такой Туртапки?» – удивится бабушка. «Из той Туртапки, где шьют коровам тапки. Чтобы копыта себе не повредили...» Прищурится подслеповатая старушка: «А ты, случаем, не Васьки Клёка, покойного, сын?» – «Да. А что?» – «Уж больно ты горазд языком молоть...»

Ладно бы один Агдам её разыгрывал... Кажется бабушке, что вся её остатняя жизнь превратилась в сплошной розыгрыш: то пошутят, что дым в Берёзовку из самого Подмосковья пришёл, то родная внучка, глазом не моргнув, скажет: «Знаешь, баушка, откуда у нас куриные окорочка? Из Америки привезли...»

Покивает бабушка – так-так, внученька! – а про себя подумает: «Враньё! Чистое враньё!»

Вот и сейчас, вытирая заслезившиеся глаза, бабушка пытается понять странний, ускользающий от неё мир:

«И откуда всё-таки этот вонючий дым взялся? Не из Америки же его пригнали. Всякие дымы знавала, а такого дурного ещё не видывала. Да, было дело, по весне сухую траву палили, по осени ботву жгли. Так накадят, что за версту учуешь. Правда, дым какой-то лёгкий был, душистый. А сейчас будто поросёнка палят...»

Идёт Акулина робким стреноженным шагом, то и дело останавливается. Приложит клюшку к груди, словно рабочий заступ, и внимательно, порой с заметным испугом оглядывается по сторонам. Кажется ей избы в дымном полумраке какими-то чужими, незнакомыми. Будто и впрямь оказалась в какой-то неведомой Туртапке. Хорошо, что знакомые по дороге попадают. Это успокаивает...

– Здравствуйте, Акулина Петровна! – говорит Фатей. Он всегда называет бабушку, «вышедшую из годков», по имени-отчеству.

– Здра-асьте, ми-иленькие! – напевно отвечает Акулина. – Ножки решили подразмять?

Какой там подразмять! За день на огороде Фатей и Аннушка так уходились, что впору пластом ложись. Однако им не хочется разубеждать старушку.

Аннушка интересуется здоровьем Акулины.

– Какое в мои годы здоровье! – говорит бабушка. – Хожу еще. Родным не в тягость, и на том Господу спасибо!

Старушка, похоже, намолчалась за день, и теперь ей хочется поговорить. Фатей и Аннушка терпеливо слушают. Поддерживая разговор, задают вопросы, которые можно было бы и не задавать. Облегчив душу, Акулина смолкает.

– Заболтала я вас! – говорит она. Глаза моргают плачуще, виновато.

– Ну что вы! Что вы! – дружно успокаивают Агафоновы и тем же неторопким, прогулочным шагом следуют дальше. И никто не догадывается, что сегодня на их долю выпала особая «миссия»...

Неделю тому назад староста Василиса, опасаясь пожара, решила организовать в Берёзовке ночное дежурство. Начала она со своих, деревенских, а потом решила обратиться к Агафоновым, которые, наезжая в деревню давно, из года в год, уже успели превратиться в коренных жителей.

– Может, подежурите? – вежливо предложила Василиса.

Фатей улыбнулся:

– А как насчёт колотушки?

– Ишь чего вспомнили! – удивилась Василиса. – Ходили когда-то с колотушками. Да и рында была. Пожарку свою имели. Каждый знал, с чем на пожар бежать. Кто с ведрами, а кто с багром... А теперь в город придётся звонить. Пока доедут, полдеревни сгорит!

Взамен колхозной рынды, которая звала не только на пожар, но и отбивала рабочий полдень, Василиса повесила напротив своей избы, на старой ветле, прохудившийся таз – может быть, хоть на него не польстятся местные ханурики, – а тележный шкворень спрятала под лавкой, возле крыльца: бейте, если что!

Гасли окна. Среди ночного безлюдья два пожилых человека, гуляющих из конца в конец деревни, выглядели довольно странно.

– Нужно где-нибудь посидеть! – сказала Аннушка.

Послышалась музыка – словно полузабытая молотилка дробно застучала на хлебном току. В густеющем сумраке обозначилась парочка с магнитолой. Заметив Фатея с Аннушкой, молодые неуверенно поздоровались. В их голосах звучало удивление.

Фатей, улыбнувшись, легонько подтолкнул Аннушку плечом: знай, мол, наших!

И Аннушка, вспомнив, как они, забыв о времени, когда-то бродили до утра, понимаяюще сжала руку Фатея.

Приглядевшись, Фатей обнаружил врытую скамеечку возле нежилой избы.

– Здесь? – на всякий случай спросил Фатей. Он знал, что Аннушка согласится.

– Да, – ответила она. – Спокойное место.

Они присели под мутно отливающими незрячими окнами чужого дома, и сразу же Аннушка потянулась к своей дамской сумочке.

– Наденешь? – Она протянула мужу марлевою повязку.

«Только намордника не хватало!» – подумал Фатей. Однако повязку взял, даже прикрыл ею нос, проверяя, как дышится.

Аннушка нацепила повязку и стала похожа на врача. Она взглянула на безучастного к её заботе Фатея и сказала – словно поддразнила:

– Получше стало...

Фатей хмыкнул и положил повязку на колено. Аннушке показалось, что муж по-детски капризничает. Пожалуй, и сам Фатей не догадывался, что скрывается за его упрямством. А ведь он противился не Аннушке – это было бы слишком просто и обыденно. На самом же деле Фатей не желал покоряться природной стихии, делающей людей слабыми и неестественными. И, сопротивляясь, он невольно чувствовал то, что хотелось чувствовать: ему казалось, что с повязкой было душно, а горечь как была в горле, так и оставалась – легче не становилось...

Они сидели рядом, стараясь не касаться плечами: накопившаяся за день жара медленно исходила из их тел. И словно от хорошо натопленной русской печки, веяло от избяного сруба.

Фатею показалось, что сквозь кислый, ставший привычным дым начал пробиваться сладковатый запах цветущей сирени.

– Чуешь: сиренью пахнет? – шёпотом спросил Фатей.

Аннушка пожалала плечами.

«Без повязки почувяла бы!» – подумал Фатей.

Какие-то существа стали бесшумно вылетать из застрехи избы. Они стремительно появлялись и, покружив, прятались в своём прежнем укрытии. Их полёт был каким-то замысловатым, ломким – так не могли летать обычные птицы. Несколько раз они так близко пронеслись от Фатея, что он ощутил на своём лице чёткий росчерк дуновения.

– Летучие мыши! – спокойно сказала Аннушка. – Играют.

Фатею вспомнилось другое название.

– Нетопыри! – сказал он. Ну, конечно, в такую ночь должны летать только нетопыри.

Серая обложная пелена над спящей Берёзовкой чуть посветлела.

Фатею хотелось, чтобы, как в прежние годы, вовремя появились и ласково обогрели отдохнувшую за ночь землю рассветные лучи и на высоких укосных травах живо заиграли радужные росы. Но не прорывались лучи сквозь небесную завесь, травы были вялыми, понурыми, без влажных искорок, и обычное летнее утро казалось бесконечно затянувшимся, украденным. И вдруг в глубокой обморочной тишине робко, словно весенний росток, проклюнулся голос зорянки. Птичка радостно журчала, смеясь с каждой трелью, и, вторя ей, на разные лады загомонили другие птахи.

– Слышишь? – заволновался Фатей. – Слышишь?

– Слышу! – тихо отозвалась Аннушка. Она сняла с лица марлевую повязку и снова стала обыкновенной, близкой.

С таким жадным вниманием Фатей, наверное, не вслушивался в жемчужный перещёлк майских соловьев.

– Пахнет, – неожиданно сказала Аннушка.

– Чем пахнет? – не понял Фатей.

– Сиренью! – сказала Аннушка. – Махровой сиренью. Помнишь, как мы искали в ней «счастье»?

– Да! – Аннушка улыбнулась. Помолчав, он взглянула на светящийся экран мобильного и, сдержанно зевнув, предложила: – Может, домой?

– Подожди немного! – Фатей умоляюще, как в пору юности, глянул на Аннушку. Она кивнула.

Они, не стовариваясь, поднялись одновременно. Фатей почувствовал, как у него затекли, одеревенели от долгого сидения ноги. Покачиваясь из стороны в сторону, он с наигранной бодростью замахал руками. Сколько ни маши, а на восьмом десятке далеко не улетишь! И

Аннушка тоже, словно квочка после насеста, неуверенно топталась на месте.

– Сделаем кружок? – предложил Фатей.

Аннушка согласилась.

Разминая ноги, они ещё раз прошли деревню из конца в конец. Рассеянным дымком тянуло от Ближнего леса, но дома, слава богу, не горели.

Наконец, с чувством исполненного долга Агафоновы вернулись в свою избу.

И как только открыли внутреннюю дверь, Аннушка сразу же включила свет, задёрнула плотные, спасающие от утренних лучей шторы и включила самовар...

Соблазнительно запахло травяной заваркой – мятой и мелиссой.

Фатей незаметно для себя – словно вдохнул – выпил два бокала, вспотел. Он почти переборол сон, но сейчас его больше всего угнетала усталость. Хотелось вытянуться на постели в полный рост, отдохнуть хорошенько, чтобы выдержать новый день.

Он, то и дело оступаясь, медленно разделся и лёг поверх одеяла. Из полуоткрытого бокового окна, выходящего в сад, тянуло едва заметной утренней свежестью. Было слышно, как похрустывает рассохшимися суставами старая сосновая изба. Матица тоже поскрипывала – казалось, по чердаку продолжает бродить ошалевший от дневной жары домовый. Из потолочных пазов сыпалась на пол древесная труха.

Отгоняя беспокойные мысли, Фатей незаметно уснул. Сон его был неровный, рвущийся. Иногда он проваливался в неизведанную бездну, где обитали покинувшие земной мир родные, близкие сердцу, люди. Они, светлые, бестелесные, стараясь не соприкоснуться с ним, кружили возле Фатея и говорили, как ему казалось, что-то важное и пророческое. Он пытался запомнить сказанное, но почему-то забывал.

Напрягая память, он просыпался и, мучаясь от неопределённости, засыпал. И наконец окончательно проснулся, ощутив, как по его лицу настойчиво ползают какие-то мелкие существа. Морщась, он попытался отмахнуться от них, как обычно отмахивался от комаров и мух, но это не помогло.

Оказывается, по его разгорячённому лицу ползали капли пота.

Наручные часы, лежащие рядом, на журнальном столике, показывали одиннадцать. Так поздно Фатей никогда не вставал....

Аннушка уже хлопотала на кухне, готовила завтрак. Фатей почувствовал знакомый запах яичницы и тяжело вздохнул: есть ему не хотелось. Эх, была бы его воля, перешёл бы он в последнее время полностью на хлеб да квас – довольствуются же другие люди малым, не умирают! – но жена, следуя строгому правилу, продолжала пичкать его по утрам омлетами и кашами, и однажды, когда он, возражая ей, спросил: «А как же живут монахи?», Аннушка, не запнувшись, ответила: «Нам далеко от них. Монаха и молитва питает».

Наскоро перекусив, Фатей вышел в сад-огород. Прошёлся по дернистой, выгоревшей до желтизны, дорожке, разглядывая, как растут после вчерашней вечернего полива овощи, печально покачал головой и вернулся ко двору, под стоками которого стояла железная бочка и выброшенная за ненадобностью большая эмалированная ванна. Воды в бочке было на доньшке. Ванна тоже была вычерпана, и на днище, в зеленоватой лужице, беспомощно барахталась пчела.

Фатей взял длинную жёсткую травинку и помог пчеле выбраться. Он даже посадил её на листок лопуха, чтобы она там, на припёке, немного пообсохла, и заметил, в какую сторону полетела...

«Стёпкина пчела!» – догадался Фатей. Зайдя во двор, он взял самые лёгкие, пластмассовые, вёдра, подтянул брючный ремень потуже, надвинул поглубже белую, с клювом-козырьком, бейсболку и размеренно-неторопливым шагом человека, который решил ходить долго и упорно, направился к воротам.

Ближний колодец, довольно крепкий и ухоженный, находился недалеко от его избы, в каких-то сорока метрах. Экономя время, Фатей ходил туда самым коротким путём, наискосок, мимо молодой липы, посаженной Одноруким, и протоптал перед соседским домом заметную тропку. Однорукий помалкивал, но порой Фатей ловил его недовольный взгляд: мол, чего тут ходишь? нельзя, что ли, в обход?

Опуская прикованное ведро в колодец, Фатей по оставшимся кольцам цепи на барабане без особого труда угадывал уровень воды. Весной, когда дачный сезон только начинался, приходилось недолго крутить захватанный до блеска железный ворот. Грунтовая вода, проникшая в колодец, была мутной, с характерным, снеговым, привкусом.

По мере того как приближалась макушка лета, всё глубже и глубже опускалось «мирское», купленное вскладчину, ведро, и всё чище, радуя глаза небесной голубизной, становилась колодезная вода...

Придерживая свободной рукой убегающую цепь, Фатей, дожидаясь глубинного всплеска, опускал железное ведро. За ночь вода в колодце прибывала, и всё же с каждым днём иссякали родниковые токи.

Сейчас на деревянном барабане оставалось пять перехлестнутых колец. Прошлым утром их было шесть.

Неторопливо, боясь расплескать, Фатей заполнил свои пластмассовые вёдра. Выпрямившись, невольно взглянул на обрывок пришипленного к опорному столбу объявления – сельская администрация запрещала использовать питьевую воду для огородного полива.

Наполнив ёмкости, Фатей не повесил прикованное к цепи ведро на крюк, а поставил рядом со срубом, на приступок. Как бы предупредил других: скоро вернуться!

На этот раз Фатей опередила дачница-пенсионерка Полина Суворова. Не успел он выплеснуть вёдра в бочку, как она появилась возле колодца со своей жалобно повизгивающей самодельной тележкой, уставленной разнокалиберной посудой.

– Здравствуй, Николавна! – по-свойски сказал Фатей.

Она деловито кивнула. Переливая ведро, пожаловалась:

– Ну и сухмень! Сколько ни лей на грядки, а лучше дождя не польёшь!

– Високосный год, – напомнил Фатей.

– Теперь каждый год високосный! – сказала Полина. – Просишь добра, а ждёшь худа.

– Кому как, а нам эдак! – согласился Фатей.

Из проулка выбежала босоногая девчонка. Переводя дух, она донесла:

– Баушк-баушк, а Васька лягуху в баклуше поймал!

– Ну и что? – равнодушно отозвалась Полина.

– Ва... Васька, – заволновалась Алёнка, – хочет лягуху убить. Я его отговаривала... Говорю: а может, это царевна-лягушка? А он не слушает. Говорит: поиграю с ней и убью. Если лягушку прикончить, то дождик пойдёт. Правда, баушк?

– Вот ирод! – возмутилась Полина. – Ремень по нему плачет!

Фатей улыбнулся, но быстро изменил выражение лица. Стараясь выглядеть серьёзным, уверенно, по-учительски, сказал:

– Ошибается Васька. Чтобы дождь пошёл, нужно не лягушку убить, а змею. Гадюку. А лягушку лучше не трогать – короста может по рукам пойти...

– Правда? – просияла Алёнка и, поправив за спиной пшеничную косичку, помчалась к брату Ваське с докладом.

Фатей помог Полине развернуть тяжёлую тележку в нужную сторону и взялся за скользкий, будто смазанный маслом, железный ворот.

К колодцу стали подтягиваться и другие водоносы. Тяжело, по-медвежьи, ступая, подошёл Стёпа Пчельник, от которого, казалось, пахло за версту воском и мёдом. Страхивая с брюк травинки, Стёпа поделился с Фатеем:

– Со взятком, Иваныч, кранты. Луга бедны, да и на липу особой надежды нет. А кормиться пчёлам надо. Вот развёл сахарку в тазике, набросал туда сенца...

– Сено-то зачем? – не понял Фатей.

– Чтобы не утонули.

Занявшая очередь Лиза Стряпуха, сокрушённо охая, стала рассказывать о своём недавнем походе за земляникой:

– Пошла, значит, за Волчий овраг, в луга. Там ягод всегда полно было. Всё выгорело... Я – дальше, в лес. Думаю, хоть там, в тени, что-нибудь найдю. Пустой номер. Посохла ягода, одни пупырики. А за Путилинской дорогой все ягодники кабаны разворотили. Перепахали, как трактора. Смотрю: пласты лежат. И что они там искали? Может, какие сладкие корешки?

– Подожди! – весело сказала бабка Лукерья, пристроившаяся к водоносам просто так, для разговора. – Скоро эти кабаны и к нам, на огород, заберутся. Всё слопают: и корешки, и верхки...

– Не каркай! – рассердилась Лиза.

Фатей наполнил бочку, принялся наливать ванну. В своём терпеливом хождении он чем-то напоминал тягловую лошадь – разве что головой не поматывал в такт неторопким шагам.

Захотелось пить. Тут же, не отходя от колодца, напился из своего ведра. И чем больше пил, тем сильнее хотелось пить.

«Нет! – сказал себе Фатей. – Так дело не пойдёт!» – и, помучившись, отстал от вгоняющего в обильный пот водопоя.

Фатей устал, и ему стало казаться, что ванна прохудилась: льёшь-льёшь, а ёмкость едва заполняется. Он даже пощупал внешнюю сторону запотевшего днища: нет, нигде не протекает!

Он выплеснул последнее ведро, с облегчением подумал: «Ну, всё!» – и, расслабившись, ощутил дрожь в коленях и ноющие от постоянного напряжения плечи.

Ему хотелось поскорее пройти в избу и упасть, не раздеваясь, на выцветший, с поющими пружинами, диван. Но он, подумав, решил отсрочить блаженство отдыха. Нужно было посмотреть, как идут дела у Аннушки, и, если требуется, помочь.

Опустившись на землю, Аннушка пропальывала морковь. Казалось, она истово, коленопреклонённо молится, отдавая низкие поклоны матушке-земле. Ощущение глубокой сосредоточенной молитвы особенно возникало тогда, когда Аннушка подносила руку ко лбу, поправляя свой белый, по-крестьянски завязанный, узелком на затылке, платочек. Ещё чуть-чуть, и она смиренно перекрестится под куполом неба...

Покачиваясь от усталости, Фатей подошёл к Аннушке:

– Как дела?

– Душат! – тихо сказала она.

Живучая травяная дурнина была готова известить худосочную морковь. Ещё на прошлой неделе Аннушка пропалывала редкие, посаженные на лентах, всходы, но, словно в бездонную пропасть, канули её усердные труды: как она ни выдирали руками, как ни подсекала острой мотыжкой разгулявшиеся сорняки, всё же оставались в земле корешки-обрывыши, и вскоре, дождавшись полива, быстро, будто наперегонки, пошли в рост осот и пырей, вьюнок-повилика и даже хрупкие, с пустотелыми стебельками, одуванчики.

Аннушка уже наполнила корзину сорной травой и теперь набивала, приминая, ведра. Фатей подошёл к корзине, взялся обеими руками за скрипучие плетёные ручки и, подтянув ношу к животу, направился к компостной куче.

Хотя и выплёскивали на подвядшую траву помои, куча быстро подсыхала и теперь подрагивала от прикосновения корзины, словно полевой стожок. Фатей знал: не будет обильного дождя – не жди и нужного, как навоз, травяного перегноя, и если есть надежда, то только на обмочливую осень и щедрые снега.

– Может, хватит? – Фатей поставил пустую корзину возле мусорных вёдер. – Вечером допоешь...

– Вечером найдутся другие дела! – сказала Аннушка, вытирая тыльной стороной ладони пот с разгорячённого до малиновости лица. – Ещё немного поработаю. А ты зелени к окрошке набери. Может, огурчиков найдёшь.

Фатей отдышался, отыскал в брючном кармане скомканный целлофановый пакетик и устало пошёл к томящимся грядкам.

В жару, как никогда, размножалась неприхотливая огородная нечисть. Какие-то чёрные прыткие блошки проточили насквозь листья редиса.

«Надо посыпать золой!» – подумал Фатей.

Среди жилистых несъедобных корешков редиса ему всё-таки удалось обнаружить несколько краснобоких репок.

В гуще шероховатых, неестественно колючих, как осот, огуречных листьев Фатей нашёл несколько крупных – в палец величиною – огурцов. Огурцы не давались, пытались выскользнуть из потных рук.

Посаженный на перо лук начал стрелковаться. Еще не успевшие покрыться жёсткой кожурой репки оказались наружи, выдавленные сухой землёй. Фатей наломал пучок сочных стрелок и добавил к ним немного перьев, слабых, поникших, но не потерявших зелёный окрас.

Как ни странно, сложности возникли с укропом. Несколько лет тому назад укроп, что называется, дуром пёр на огороде Агафиных. Его даже не пытались сажать. Укроп, не спрашивая желания хозяев, вырос самосевом. Фатей и Аннушка ели пряную зелень живьём, заготавливали впрок – сушили и солили – и, не испытывая угрызения совести, обращались с укропом, словно с заурядным сорняком, выбрасывая в компостную кучу. И, словно обидевшись на такое обращение, укроп однажды исчез.

Изрядно намозолив себе глаза, Фатей с трудом отыскал несколько вихрастых кустикав.

После укропа ему захотелось набрать огуречной травы. Сейчас, когда худо-бедно стали появляться огурцы, казалось бы, в этой зелени

отпала всякая надобность, но Фатей, считавший, что в каждой травке есть своя, неповторимая польза, не мог удержаться от соблазна сорвать несколько листьев вольно растущей «огурешницы». Вместе с листьями он попутно нащипал и цветущих венчиков, напоминающих своей голубизной майское небо.

Наконец хозяйственный пакет заполнился...

Ах, на славу удалась окрошечка! Не из покупного бочкового кваса, разбавленного хитроvanом-продавцом, а из своего, доморощенного, изготовленного на дрожжах и ржаных сухариках, с добавлением сушёной свёклы. Чудо-квас ударял в нос и, приятно охлаждая тело, растекался по всем внутренним протокам. Фатей медленно, с удовольствием поглощал окрошку, чудесным образом соединившую в себе лёгкую еду и отменное питьё, и, погружаясь в прошлое, вспоминал послевоенную мурцовку и даже дедовскую расписную ложку с вырезанным крестиком на черенке.

После обеда неумолимо повело в дрёму. Но прежде чем устроиться на диване, Фатей по укоренившейся привычке решил полистать свежие газеты, привезённые из города.

Центральную прессу лучше было читать в обед, а не на сон грядущий: в Африке выпал снег, Европу заливало водой, а измученная «реформами» Россия надолго погрузилась в невиданное пекло. То, что делала вышняя российская власть, не укладывалось даже в одурманенную жарой и дымом голову: почему-то ликвидировали единую федеральную пожарную охрану лесов, резко сохранили число лесничих, а заповедные красноствольные уголья отдали на растерзание арендаторам.

Леса, оставленные без государственного призора, должны были рано или поздно вспыхнуть, как порох.

Горели леса. Горела Россия.

Тяжек послеобеденный отдых в такую жару: Фатей то дремал, то полуспал, мучаясь неопределённостью своего состояния, ворочался с боку на бок и наконец вяло и неуверенно, словно собирая себя по частям, поднялся с дивана. Пройдя на кухню, подставил тяжёлую голову под умывальник. Вода была неприятно тёплой...

Огород невелик, а лежать не велит. Фатей занимался поливом поздно вечером, когда ярое солнце скрывалось за размытым горизонтом и влага, испаряясь, всё же могла сохраниться до утра.

Фатей относился к своим овощам, как к детям малым: ведь он отбирал семена, проращивал, поливал их весенней водой-снежницей, радовался, когда они, окрепнув, пускались в быстрый рост. И мог ли он теперь, перечеркнув заботы, бросить их на произвол судьбы?

Каждый овощ требовал особого полива: где-то можно было обойтись лейкой, а где-то требовался ковш, чтобы плеснуть под самый корешок.

Вот и сегодня Фатей, собравшись с силами, занялся делёжкой воды.

Здравствуй, морковь-краса, зелёные волоса, сидишь в темнице, а коса на улице! Я тебе водицы принёс умыться.

Ах, ты, свёкла, румяная Фёкла, что же ты, бесстыдница, из земли вылезла? Что тебе там не сидится? Хлебнуть водицы торопишься?

А вот и огурцы-огольцы, тянутся во все концы, листики завяли — будто их помяли. Сейчас я вас окроплю! Ишь как встрепенулись!..

Ну а что с тобою делать, капуста-водохлёбка? На многое не рассчитывать! Плесну не слишком, под каждую кочерыжку. На том закончу и луком-бедолагой займусь!

Ах, лучок-лучок, что согнулся, как крючок? Ты ещё не старичок. Дам воды напиться, чтобы распрямиться...

Пока Фатей с шутками-прибаутками обихаживал своих выкормышей, Аннушка обрывала на красной смородине большие листья. Какая-то зараза завелась в кустах, окутывая кудряшки ягод липкой паутиной и покрывая листья волдырями.

– Оставь ведра два! – попросила Аннушка.

– Цветики? – не без ехидства спросил Фатей.

– Ну да. Давно гладиолусы не поливала.

– Может, и ведёрка хватит?

Аннушка промолчала.

Фатей поворчал, но уступил жене.

Он завершил полив и решил просто так, без особой цели, побродить по участку. Поправил ослабшую привязь на помидорах, полакомился мелкими ягодами выродившейся малины и, низко пригнувшись под разлапистой антоновкой, выбрался на серединную тропку, ведущую в глубь огорода, – там, за оградой из сосновых жердей, томилась картошка.

Фатей потянул на себя дверцу, не заметную в ограде, и вышел на простор...

Больно было смотреть на восковые поникшие плети с осыпавшимися соцветьями. По жухлым листьям ползали колорадские жуки, откладывая жёлтые россыпи личинок.

Только позавчера бродили по этим бороздам Фатей и Аннушка, собирая в банки с подсоленной водой полосатых жуков и розовых, перемещающихся, словно улитки, прожорливых личинок, и что же? – снова выбралась живучая заморская нечисть из своих затенённых укрытий и грызёт без зазрения совести его любимую «синеглазку».

В печальной задумчивости стоял Фатей возле исходящих сухим теплом картофельных борозд. В глухих бурьянах, на месте бывшего колхозного поля, скрипел коростель – казалось, ехала неведомо куда одинокая телега с несмазанными колёсами.

Багровое солнце, то тускнея, то усиливаясь в своем тревожном цвете, медленно скатывалось за железнодорожную лесополосу. Вот скроется оно, и дымная наволочь, соединившись с серыми ползучими сумерками, прихлынет высокими волнами к Берёзовке, грозя затопить ее со всех сторон. Скворечни на длинных шестах, прибитых к заборам, будут казаться парящими в воздухе, а чёрное воронье напомнит принесённые ветром хлопья пожара.

В такие минуты Фатей, как никогда, ощутит свою человеческую малость и незащищённость в большом беспокойном мире. Кисловатый дым обретёт морскую солоноватость, и волны, набегающие на деревню, создадут ощущение всемирного потопа.

Фатей, не понимая, что происходит, замрёт на травянистой меже. И наконец, какими-то урывками, к нему пробьётся отрезвляющий запах пижмы и ромашки, и он догадается, что ещё не разверзлись хляби небесные, и он продолжает стоять на земной тверди.

И, осознав, что этот день не принёс ему ничего утешного, Фатей будет настраивать себя на новый, изматывающий душу, житейский круг: колодец, прополка, скудный вечерний полив...

2

Верно говорят: не купи двора – купи соседа. Прежде чем обзавестись добрыми соседями, Фатей исходил всю округу, приглядывая избу по сходной цене. Хотелось, чтобы рядом были лес и речка – ну не речка, так озеро, если не озеро, так хотя бы глубокий пруд, возле которого можно посидеть на зорьке с удочкой.

Долго ходил Фатей по окрестным деревням. Он к местным присматривался, а они – к нему. Встречались и такие, кто поглядывал на Фатея с подозрением – бог знает, что у него на уме! – однако со временем деревенские, покрутив Фатея с разных сторон, поняли, что перед ними человек порядочный, и, расположившись, подыскали ему не только сговорчивого продавца, но и добрых соседей: «У других межи и грани – ссоры да брани. А эти по-людски живут...»

Вот так и прикупил Фатей к деревенскому пятистенку надёжных соседей. Слева от него Рожновы – дедушка Аверьян и бабушка Прасковья, а справа – соседи помоложе, Рая и Александр. Рая работала на молочной ферме, а её муж, прихватив с собой обеденный «тормозок» – чёрного хлебушка, сальца и пару сваренных вкрутую яиц, – почти каждое утро отправлялся пригородным поездом в локомотивное депо.

Соседи достались простые, недокучливые, не из тех, кто в чужом глазу соринку видит, а в собственном бревна не замечает. Особенно клонились Агафоновы к Аверьяну и Прасковье. Каждый раз, собираясь в деревню, Фатей и Аннушка прикидывали, чем бы угостить добрых старичков.

– Пожалуй, я пирогов напеку... – размышляла Аннушка. – Может, и колбаски купить? Которая помягче...

– Конечно. Какой разговор! – соглашался Фатей. – Нужно и лекарство захватить. Помнишь, Аверьян Петрович на давление жаловался?

В летнюю пору Аверьяна и Прасковью проще было застать в огороде, чем в избе. Привычные к крестьянскому труду, они возились в земле, словно жуки в навозе. Когда уставали, не уходили домой, а, поохав, потеряв поясницы, садились возле сарая под навесом, в тенёчке, и молча набирались сил для следующего захода.

Сейчас, в непроглядную жару, Фатей всё чаще и чаще вспоминал ушедших в мир иной Аверьяна и Прасковью, и какими-то призрачными – словно это было во сне – ему представлялись былые поездки в деревню после хорошего летнего дождя...

Через пахнувший опилками двор он выходил в залитый ласковым солнцем сад-огород. Словно лёгким пушистым перышком, лучи гладили его загорелое лицо. Отдаваясь небесной ласке, он то и дело закрывал глаза. Радостно разливались певчие птицы, и было слышно, как на ближних грядах, где-то в двух шагах, с шорохом оседающего парного молока впитывалась в землю дождевая влага.

Всё выглядело на редкость чистым, промытым: и деревья, и кусты, и огородная зелень. Даже привычные птицы становились другими: в оперенье серых, недавно казавшихся запылёнными, воробышек проглядывала цветастая пестринка, а скворец с извивающимся лиловым червячком в клюве приятно лоснился и не казался, как прежде, угольно-чёрным.

И бочка, и ванна были наполнены всклень. Лужа возле бочки говорила о том, что дождь выдался на славу.

Тише, чем обычно, скрипел за огородом коростель: наконец-то смазали колёса невидимой телеги деготком, а может, и солидолом. А зануда-перепел не уставал напоминать:

– Подь-полоть! Подь-полоть!

Ну, конечно же, после такого дождя самое время полоть. Хорошо что напомнил! А вот Аверьяну и Прасковье подсказывать не надо: они уже выдёргивают сорную траву из мягкой, податливой земли.

Фатей, то ли щурясь от солнца, то ли непрерывно улыбаясь, подходил к соседскому забору.

Аверьян и Прасковья отрывались от своих взьерошенных грядок, улыбались – после недавнего дождя их глаза делались ещё голубее, – и распевно, словно желая продлить звучание приветных слов, отвечали в один голос:

– Здра-асьти-и! До-оброго здо-оровьи-ичка...

Аверьян, видимо, в знак особого уважения, подносил руку к напыленной на голову белой панамке. Он словно собирался снять головной убор, но в последний момент, спохватившись, опускал вымазанную руку.

Жить в соседах – быть в беседах.

– Ну как дождик? – спрашивал Фатей. – Хороший?

Знал, что хороший, но как не спросить?

– Дождик-то? – откликнулась Прасковья, вытирая руки о замызганный фартук. – Грех жаловаться... Этот дождик два дня тужился, на третий разродился. Вышла я вечером, а он шьёт себе и шьёт...

– Поди, на полтора штыка землю промочил! – подхватывал Аверьян. – Я так и знал: должен пойти. Уж больно ласточки низко летали. А Параша всё сумлевалась...

– Это я сумлевалась? Чего, старый, мелешь? Ты мне про своих ласточек баил, а я тебе про поезда. Уж так кричали они, так кричали...

«Поезда? – удивлялся про себя Фатей. – К дождю?..» О такой примете он и слыхом не слыхивал. Слово «крик» связывалось с живым существом, а тут поезда. Но, поразмыслив, Фатей догадался, в чем дело: воздух, насыщенный парами, усиливал дальние звуки.

– Теперь грибки пойдут! – радовался Фатей.

Но Аверьян не спешил соглашаться:

– Какие пойдут, а какие и не пойдут. Пойдут те, что поглупее. Навроде маслят. Ну а коренной, степенный, гриб, глядишь, призадумается: вылезать ему или нет?

Фатей улыбался:

– Кто же его так напугал?

– А как не напугаться! – Аверьян выглядел серьёзным, даже опечаленным. – Грибники теперь цепью по лесу бродят. Даже собак с собой прихватывают. Иногда думаю: «А что бы я делал на месте гриба?» Наверно, зарылся бы в дернину и сидел тихонько, как партизан.

– Мы и так партизаны! – встревала Прасковья, продолжал оглаживать руки о фартук. – Уж так в землю забились – глуже некуда. Скорей бы Господь прибрал, пока совсем не зачервивели.

– Приберёт! – спокойно говорил Аверьян. – Недолго ждать осталось!

Прасковья согласно кивала. Задумавшись, смотрела на Фатея, обнимающего забор, и вдруг спохватывалась:

– Погодь, Иваныч! Погодь! Я тебе гостинчика принесу.

Шаткой старческой походкой уходила в избу и вскоре приносила миску с удивительно белыми, с прилипшим пушком и пятнышками навоза, куриными яйцами.

– Ешьте-кушайте на доброе здоровье. Только что из-под несушки.

Фатя не смущали ни пух, ни жёлтая налипь – наоборот, они вызывали у него ощущение естественной и здоровой пищи,

– Спасибо! Спасибо! – Он протягивал руки из-за ограды. Фатю нравилось, когда они вот так, не заходя в избы, по-простому, через забор, обменивались гостинцами – в такие минуты казалось, что никакой ограды между соседями не существует, и от ощущения близкого, почти родственного, единения становилось легко и радостно на душе. Беспокойило одно: нередко, протягивая гостинчик, Прасковья оглядывалась и, понизив голос, предупреждала:

– Вы только Лёничке ничего не говорите. Лёничка заругает...

Однорукий Лёня, племянник Прасковьи, жил в городе. Похоронив жену и выдав замуж единственную дочь, Лёня, не мешкая, сдал своё жильё квартирантам, а сам пристроился в качестве опекуна к знакомой бабушке – как говорили в Берёзовке, помогал старушке проедать трудовую пенсию. Как только сходил снег, Лёня перебирался в деревню, к своей матери – она коротала вдовий век неподалёку от одиноких стариков Рожновых.

– Только Лёничке не говорите! – повторяла Прасковья, и в её тихом голосе слышалась материнская нежность.

Лёня! Лёнчик – так называли его в деревне. Он представлялся Фатю довольно молодым, не лишённым мужского обаяния, человеком, но каково же было изумление Фатя, когда он впервые увидел племянника Прасковьи.

Куда девалась магия имени, рисующая в воображении Фатя человека со светлыми, как лён, волосами и по-есенински синими глазами! – на огороде Рожновых, возвышаясь над Аверьяном, стоял бородатый мужик в рваной, словно расплосованной после пьяной драки, рубахе навыпуск. Он казался диким существом времён царя Гороха. Впрочем, впечатлению сермяжности мешала загнутая по-ковбойски соломенная шляпа и крапчатые, в обтяжку, брюки, приобретённые, скорее всего, в магазине бросового зарубежного тряпья.

– А-а, сосед! – писклявым, не вяжущимся с фигурой и ростом, голосом заговорил Ленчик. – Здорово! – И, боднув головой воздух, поинтересовался: – Какие виды на урожай?

– Время покажет! – ответил Фатей.

– Верно! – похвалил Ленчик. – Не говори «гоп», пока не перепрыгнул. Поживём – увидим!

Лёнчик успевал обрабатывать огород матери и помогать старикам Рожновым: запахивал весенний огород фыркающим, словно норовистая лошадь, мотоблоком, обкашивал луговину электрокосилкой, сажал, поливал, окучивал и, конечно, с особым рвением собирал урожай, не забывая о своей доле.

Фатю порой казалось, что неутомимый в своих трудах Лёнчик не только раздваивается, а как бы растраивается: пока один Лёнчик гнул крутую спину возле овощных грядок, другой, как две капли похожий на него, отпиливал сухие яблоневые ветки, ну а третий, не обращая внимания на своих двойников, тащил, роняя, белые поленья к бане, чтобы затопить её под вечер.

Говорил Лёнчик – будто ворковал, бегал – словно ястребком парил.

– Зачем тебе столько лука? – донимал он Аверьяна, планирующего посадки. – Посадил бы побольше чеснока. Он в цене.

Аверьян отмахивался от наступающего ему на пятки помощника, как от надоедливой мухи.

– Надо раннюю картошку сажать! – учил Лёнчик. – Она тоже в цене.
– Распаши за огородом и сажай! – говорил Аверьян. – А мне и этого хватит... – И задумчиво, глядя в сторону, добавлял: – Больше, чем съешь, не проглотить!

Недовольно попыхтев, Лёнчик снова лез с предложениями и советами – уж очень он напоминал свой мотоблок с многочисленными хитроумными присадками: пока не закончится бензин, не остановится.

– Может, за огородом хрен посадим, а? – продолжал Лёнчик. – Можно в Москву отвезти. Знаешь, сколько баночка хрена стоит?

– Не знаю и знать не хочу! – сердился Аверьян. – Хочешь за огородом сажать – сажай на здоровье! Хоть хрен, хоть редьку. Можешь и свой хрен посадить. Какие-нибудь бабы по дураости расхватают!

Лёнчик хохотал, переламываясь в поясице:

– Ну и сказанул!

Слабея год от года, с трудом справлялись со своим огородом старики Рожновы, и всё настырнее и смелее становился опекающий их Лёнчик. Он по своему усмотрению распоряжался урожаем, но и этого ему было мало. Потихоньку-полегоньку, где шажком, а где скачком, подбирался Лёнчик к чужим деньгам: «Ну какой дурак держит деньги в чулке? Обворуют, а то и по горлу полоснут! Хотите, положу в сберкассу, под хорошие проценты?» Поглядывая на отливающие серебром и позолотой иконы в красном углу, говорил: «Ну кто столько икон в избе держит? Обворуют лихие люди, и глазом не моргнут! Оставили бы одну, которая потемнее, а остальные я бы в город отвёз. Есть у меня надёжное место...»

Долбил Лёнчик, как длинноклювый дятел, в одно и то же место, и поддавалась ему мягкосердечная Прасковья. И даже Аверьян, старый окопный солдат, наругавшись с Ленчиком до жуткого сердцебиения, сдавал позиции.

Лёнчик завладел отложенными впрок «смертными» деньгами, стал получать по доверенности чужие пенсии. Он рассчитывал рожновские траты до копейки.

Особенно не давал ему покоя электрический счётчик. Лёнчику казалось, что у Рожновых нагорает гораздо больше, чем у соседей. Он ломал голову: может, счётчик неисправный? Но покупать новый – тратить деньги – Лёнчику не хотелось, и он, почесав затылок, ввернул везде лампы слабого накала.

Аверьян негодовал:

– Живём во мраке! Газету вечером не прочитаешь! Что, мне с газетой днём, на солнышко, выходить?

– Зачем выходить? Лучше вообще не выписывать! – ухмылялся Лёнчик. – Читать – только глаза портить!

Прасковья уже не подходила к забору с куриными яичками. Фатею начало казаться, что и куры Рожновых, в угоду Лёнчику, квохтать перестали. Сидят себе тихо – словно не несутся. Ну а если не несутся, то, следовательно, Фатею и Аннушке на гостинцы и рассчитывать не стоит.

Прасковья теперь не столько руки о фартук вытирала, сколько горячие слёзы. Подойдёт к забору, пугливо оглянется – нет ли Лёнчика? – и тихо пожалуется Фатею через забор:

– Лёня-то наш совсем сдурел. Говорит: телевизор много ест. Мы уже боимся лишний раз включить. Только последние известия слушаем. А вчера пристал, как с ножом к горлу: «Пишите на меня завещание!» И чего он боится? Помрём – всё ему достанется!

Облегчив душу, Прасковья напоминала:

– Только Лёначке не говорите, что я жальюсь! А то совсем с белого света сживёт...

Однажды Фатей заметил на огороде Рожновых, возле сарая ржавое, со следами голубой краски, надгробье.

Из дома на огород вышла Прасковья с помойным ведром. Фатей поздоровался и торопливо спросил:

– Как Аверьян Петрович?

– Скрипит, – ответила Прасковья. – Сердечные таблетки глотает! – и, оглянувшись, пожаловалась: – Лекарства нынче в цене.

Он смотрел на неё в упор, выжидающе, и она, догадавшись, что его волнует, опустила ведро на дорожку и подошла к забору. Положила руки с набухшими венами на верхнюю жердину и потянулась к уху Фатей. Он едва слышал, что она говорит.

– Лёначка... с кладбища... старый памятник припёр. Видать, нас на тот свет торопит...

Фатей покачал головой. Увидев вскоре озабоченного Лёнчика, поинтересовался:

– У вас умер, что ли, кто?

Лёнчик поправил сползающую с головы ковбойскую шляпу и, приосанившись, изрёк:

– Как говорится, готовь сани летом!

– Да ты мудрец! – усмехнулся Фатей.

Лёнчик всё чаще намекал на слабость Аверьяна Петровича, сокрушался, что лекарства пошли не те: не лечат, а калечат – поэтому нет особого смысла их покупать.

Вскоре, после появления памятника, Аверьян Петрович скончался. К радости Лёнчика, старик ушёл из жизни легко: лёг спать и не проснулся.

Прасковья даже обиделась:

– Что же ты, старый, со мной не попрощался?

Лёнчик успокоил:

– Ничего... На том свете наговоритесь!

После смерти мужа Прасковья совсем сникла. Как-то, осенью, спустилась по скользким ступеням во двор, упала и повредила шейку бедра. Лёнчик отправил беспомощную тётку в больницу, а когда она стала немного передвигаться, опираясь на оставленную ей в наследство клюшку Аверьяна, быстренько спровадил в дом престарелых.

Лёнчика осуждали. А он, как ни в чём не бывало, тёр у себя под носом и старался каждому доказать свою правоту:

– Ты только подумай, Иваныч! Ну как я смогу ухаживать за ней с одной рукой? А в доме престарелых тепло, светло и мухи не кусают. Будет с кем поговорить...

К этому времени желанное завещание лежало у Лёнчика в кармане.

Вот так лишились Агафоновы добрых соседей, а через год беда пришла и с другой стороны: заболела неизлечимой болезнью и стала таять, словно свеча, соседка Рая.

За день до кончины, почувствовав неизбежное, Рая сунула ноги в боты, набросила на худые плечи мужской костюм с подвёрнутыми до локтей рукавами и, пошатываясь, отправилась на свою молочную ферму. Минувала обкошенный проулок, обогнула огород Макара Дельнова с провисшими пряслами и, глядя себе под ноги, – словно считая шаги, – направилась к водонапорной башне.

Её постоянная сменщица мыла бидоны. Увидев Раю, похожую на тень, с задумчиво-отрешённым лицом, Зинаида от волнения даже не сказала «здравствуй», а только поспешно кивнула головой и застыла с мокрой мочалкой возле яслей. Раиса медленно шла по дощатому, уже не прогибающемуся под ней настилу, касаясь рукой тёплых лбов потянувшихся к ней коров. Пахло навозом, сосновыми опилками, парным молоком. Она жадно втягивала в себя привычные запахи. Для неё, порусски неприхотливой, изневолившей себя в нелёгкой работе и любившей этот труд, запахи родной фермы были теперь приятнее ароматов июньских лугов. Глаза, готовые затянуться туманной поволокой, прояснились. Рая дышала глубоко и свободно.

Она подошла к Нежданке, самой смиренной, самой любимой коровехолмогорке. Ласково погладила её широкий, с белой звёздочкой, лоб. С ноздревато-тёмных губ Нежданки рвущейся паутиной стекала слюнка. Заботливым движением – так вытирают губы маленького ребёнка – Рая убрала слюну. Вытерла руку об изглоданную жердь изгороди.

Она собралась уходить. Нежданка печально и понимающе смотрела на доярку тёмными, с лиловатым отливом, большими глазами, а когда Рая, не выдержав взгляда, отвернулась, Нежданка порывисто потянулась к ней и утробно замычала. У Раи задрожали губы. Не отдавая себе отчёта, она перекрестила бурёнку и, смежив глаза, – уже ни на что не хотелось смотреть, лишней раз беречь душу – усталым шагом двинулась к выходу, освещённому заходящим солнцем.

– До свиданья! – выдавила Зинаида.

– Прощай! – ответила Рая.

Она вернулась в избу.

– Где бродишь? – удивлённо спросил муж Александр.

– Так... По делам... – ответила Рая.

Она попросила мужа протопить баню. Не спеша помылась из тазика в предбаннике – зайти в душную парную так и не решилась. С удивлением смотрела на свои тонкие руки, на исхудавшее до рёбер тело – казалось, всё это принадлежало не ей, а какой-то другой женщине.

Держась за мужа, чистая, умиротворённая, прошла своим ухоженным огородом в избу, легла в постель. Постель показалась ей холодной – а ведь было в разгаре лето.

Попросила Александра:

– Шура, подойди ко мне!

Он подошёл.

– Слушай, что скажу... Ты не обижайся! Завтра меня не будет...

– Что ты выдумала! – встрепенулся Александр.

– Я знаю, что говорю. А ты слушай... Перестань выпивать! Бывало, месяцами держался. Вот и теперь держись! Ради наших детей, ради внуков.

– Ладно! – нахмурившись, проговорил Александр.

– Да ты не ладься! – тихо сказала Рая. – Твоё «ладно» я сто раз слышала. Нельзя тебе, Шура, выпивать. Начнёшь выпивать – не остановишься. Всё, милый! Дошла гирька до пола. Дальше некуда...

– Я что, не понимаю? – заволновался Александр. – Сказал «завяжу» – значит, завяжу.

– Да ты не только мне говори! – грустно сказала Рая, складывая руки крестом. – Ты Господу Богу пообещай. Подойди к иконе и скажи своё слово.

Александр удивлённо глянул на Раю: ишь, чего выдумала! Была бы она здоровой, наверняка отказался бы, а может, рассердившись, послал бы куда подальше.

– Пообещай! – повторила Рая и закрыла глаза.

Александр потоптался на месте, побряхтел, словно старик от непосильной ноши. Его душа бурлила. Не хотелось слушаться, но как откажешь умирающему человеку?

Он глубоко вздохнул и подневольным шмыгающим шагом приблизился к иконе в красном углу.

Ещё никогда в жизни Александр так пристально, так испытующе не вглядывался в лик Спасителя, обрамлённый тяжёлым окладом. Икона, которой молились предки, всегда ему казалась обыкновенной принадлежностью избы, такой, как русская печка, на которой он не раз отогревал кости, как сосновая матица с железным кольцом для детской зыбки...

Он никогда не молился, но и не мешал молиться набожной Раисе. Икона не вызывала у него отторжения, но и не привлекала,

И вот сейчас ему нужно было что-то сказать Спасителю, может быть, даже оправдаться, как однажды он оправдывался за свою пьянку на местком.

Александр сделал глуповато-вызывающий вид, но, подумав, посерьёзней.

– Прости меня, Господи! – негромко, стесняясь собственных слов, заговорил он. – Покуролесил, и хватит! Да, хватит. ..

Он помолчал, ощущая незавершённость своего стояния перед иконой. И тут в его памяти всплыл обрывок молитвы покойной бабушки Васёны.

– Не введи меня, Отче, во искушение, но избавь от лукавого. Аминь!

Он сказал «аминь», и сразу стало легче на душе. На его глазах выступили слёзы.

– Спасибо! – поблагодарила Рая.

Она помолчала, вслушиваясь в глубокую тишину, а потом тихо попросила:

– Не забудь поросёнку болтушки дать. С отрубями...

Раю похоронили на тесном деревенском кладбище, недалеко от могилы дедушки Аверьяна. Было ей сорок восемь лет от роду. Когда свежая могила просела, устоялась, Александр поставил жене гранитный памятник и посадил рядом с оградкой сладкую невежинскую рябину – принёс по осени отросток из своего сада.

Как и было обещано, Александр, выпив поминальную рюмку, больше не притронулся к лихому зелью. Чтобы забыть себя, не щадя себя, набросился на огородную работу. Частенько, не раздеваясь, только стянув с себя пропылённую обувь, валился, как куль, в холостяцкую нестираную постель. Однако и трезвенника не обошла беда: Александр перетрудился и получил инсульт. Больно было смотреть на него после больницы: левая рука висела, как плеть, а левая нога беспомощно чертила по земле.

И стало теперь у Фатя два одноруких соседа: один – из-за болезни, ну а другой – по своей неосторожности; ещё в молодости Лёнчик, торопясь закончить сдельную работу, отмахнул себе левую руку болгаркой.

Александр помывкался года два и решил перебраться к дочери во Владимир. Избу не продал. Наверное, надеялся, что болезнь отпустит, и он вернётся в свою родную Берёзовку. Не получилось...

И одичала, позаросла дурман-травой когда-то ухоженная усадьба Авдеевых. Сытые дрозды безбоязненно садились на одинокую невежинскую рябину, квохтали, обирая жёлтые гроздья. Спелые ягоды скатывались по багряным листьям, по гладкому ровному стволу – они

были так похожи на бусы дешёвого ожерелья, которое Рая любила надевать на Троицу.

Падали ягоды в прихваченную морозцем жёсткую траву, чтобы, поплёкнув, извянув до черноты, покрыться белым безрадостным саваном.

Иногда поздним летним вечером, почти ночью, приходил Фатей к колодцу, чтобы набрать воды для питья. Он возвращался посеребрённой, лунной дорожкой и всегда смотрел на окна соседей. Мертвенным блеском – будто стоялая вода в лесной баклуше – отливали стёкла Авдеевых, а в другой, жилой, избе горел слабенький, словно от свечи, жёлтый свет, сменяясь на голубоватый, – это означало, что Ленчик, выключив дешёвую лампочку, начинал смотреть телевизор.

Лёнчика распирала хозяйственные планы. Что делать дальше? За что приняться? То ли строить гараж под новенькую «Ниву», то ли возводить просторный парник с металлическим каркасом, а может, продлить забор до самого луга, застолбив дополнительные сотки?..

В своём глубоком раздумье Лёнчик напоминал захмелевшего мужика, стоявшего враскорячку на склизкой, в осенних лужах, полевой дороге – куда же ступить?

И наконец Ленчик сделал выбор: нужно копать колодец на огороде, остальное подождёт...

Когда-то, в стародавние времена, на день Фёдора Стратилата ходили по русским деревням колодезных дел мастера со своим нехитрым снаряжением: топор да лопата, острая пила да пеньковый канат, свернувшийся, словно пастуший кнут, на шее бородатого копателя.

Словно бесценный купальский клад, отыскивали колодезники водяную жилу, и к этой жиле вёл не огненно-красный цветок колдовского папоротника, а высокая зелёная трава, на которую обильно ложились росы. На близость земных вод могли указывать первый пар на зорьке и даже мошкара, «толкующая мак».

Но встречались колодезники, как говорится, милостью Божьей. И таким, как рассказывали деревенские, был дед Макара Дельнова – Еремей. Стянув посконную рубаху, он ложился голой спиной на облюбованное место и терпеливо ждал, как отзовется земля. Потом вставал, выразительно махал рукой – пустое место! – или же, зябко передёрнув плечами, говорил: «Жила здесь!»

И никогда не ошибался Еремей-колодезник.

Лёнчик запасся железобетонными кольцами, брёвнами, щебёнкой, одолжил у знакомого рыболовный костюм... Нужно было выбирать место для копки. Огород – не лужайка: по высокому луку, перегнавшему в росте морковь, не узнаешь о близких жилах.

Лёнчик долго бродил по огорода, но так и ничего не выходил. Кто-то из деревенских, то ли по неведению, а может, шутки ради, посоветовал Лёнчику обратиться к Жучку, работавшему в водоканале.

Довольно помятый, но пахнувший цветочным одеколоном, Жучок вежливо постучал в оконный переплёт: Лёня, я тут, к вашим услугам! В руках Жучка была скрученная медная проволока.

– Показывай объект! – солидно сказал Жучок.

Обрадованный Лёнчик повёл водного специалиста на огород.

Стараясь держаться прямо, с достоинством, Жучок прогулялся вдоль овощных грядок и, чуть не упав, присел на корточках возле огурцов. Прицеливаясь то правым, то левым глазом, он обнаружил в густой

вьющейся зелени несколько пупырчатых корнишонов. Изячно, двумя пальцами, извлёк один из них.

– Хорош свежачок! – сказал Жучок и, улыбнувшись, добавил: – А малосольные, пожалуй, лучше.

Он схрупал огурец, медленно встал и зачем-то подул на медные усики: может, удалял с них пыль, кто знает! Пальцы водного специалиста заметно дрожали, и в такт им покачивались концы проволоки.

– Наверно, не получится! – пожаловался Жучок. – Надо, тип того, хотя бы соточку. Для успокоения души и снятия вибрации!

Лёнчик поморщился, но соточку принёс. Жучок высоко, как пьющая курочка, запрокинул голову и весело крякнул.

– Хороша злодейка! – сказал он и восхищённо повел головой. – И кто её выдумал? Кто изобрёл? Говорят, Менделеев. Умнейший человек!

Лёнчик напряжённо наблюдал за телодвижениями Жучка.

– Так, так... – проговорил специалист и выставил перед собой пальцы. – Играют, подлецы. Жаль, что не стал баянистом. Пожалуй, и соточка не помогла. Не та дозировка... – Он вопросительно посмотрел на Лёнчика.

Однорукий понимающе хмыкнул и отвернулся: хватит с тебя, дорогой, и одной рюмки!

Жучок погрузился:

– Конечно, можно работать и в этом состоянии. Но за точность не ручаюсь! Возможны, тип того, погрешности.

Специалист с таинственным видом побродил возле вишенника, а затем склонился над навозной кучей. Движения его были осторожными, вкрадчивыми – казалось, Жучок, рискуя жизнью, работает с миноискателем.

Проволока ничего не показывала.

Жучок остановился, потрогал бесстрастные усы и разразился негодованием:

– Ну и медь! Разве это медь? Никакого качества.

– Что же делать? – спросил Лёнчик.

– Что делать? Что делать? – передразнил Жучок, деловито оглядываясь по сторонам. – Сейчас бы, тип того, лоза пригодилась! У тебя, случаем, винограда нет?

Винограда, как и предполагал Жучок, на огороде не оказалось.

– Ну вот! – грустно подвёл итоги специалист. – Мероприятие придётся отложить. Эту дрянную проволоку мне один телефонист подсунул. Пожалуй, надо теперь с кабельщиками переговорить... – Стараясь соблюдать достоинство, Жучок, естественно прямой и пахнувший цветочным одеколоном, неторопливо покинул сад-огород...

После его ухода Лёнчик три дня скрёб лысеющий затылок: что же делать? к кому обратиться?

Староста Василиса, пожалев бедолагу, посоветовала:

– Сходи к дяде Макару!

Макар Дельнов был краток:

– Разбросай сковородки!

– Зачем? – Ленчик выкатил на Макара совиные глаза. Ему показалось, что старик разыгрывает...

Усмехаясь в усы, Макар объяснил, в чём дело.

Как только завечерело, Ленчик разбросал на огороде чугунные сковородки. Поутру проверил. Первая сковородка оказалась

сухой, на второй поблёскивало несколько капель, ну а третья влажно лоснилась – казалось, на ней блины пекли, словно на широкую Масленицу.

С жилой стало ясно. Прежде чем найти копальщиков, Ленчик долго выяснял, сколько будет стоить метр копки.

И вот однажды на огороде Ленчика появились два деловитых с виду и трезвых как стёклышко мужика в высоких болотных сапогах: Серёга-Агдам и его закадычный друг Вася Колобок.

Друзья когда-то «раскурили по букварю» в начальной Березовской школе, с горем пополам окончили десятилетку в соседнем селе, а потом с песнями, под гармонику, отправились в армию. Служили вместе, на погранзаставе. После армии их пути-дороги разошлись. Колобок нашёл непыльную работу в районном городе, а Агдам, окончив школу механизаторов, стал передовиком-трактористом.

Когда пустили под откос местный колхоз «Большевик» и выделили крестьянам пай, Агдам прихватил себе колёсный трактор и оказался на «вольных хлебах»: пахал чужие огороды, возил на прицепе навоз и дрова... Потом возникли проблемы с запчастями, и трактор-кормилец превратился в хлам.

Однако Агдам, живучий, как трава-подорожник, не опустил руки. Только пониже – словно собираясь кого-то боднуть – опустил свою чубатую голову, и вместе с дешёвой «Примой» к его сухим обветренным губам приклеилась, прижилась, казалось бы, забытая пословица: «Были бы кости, а уж мясом когда-нибудь обрастём».

И хотя отлучили Агдама от широкого колхозного поля, по-прежнему оставался в его пользовании родной лес с грибами и ягодами. Первые грибы-колосовики и луговая земляника всегда доставались Агдаму. Нужда заставляла торговать, но Агдам, как многие русские мужики, стыдился выезжать на рынок. Пониже надвинув фуражку, чтобы его не узнали, он торопливо, не торгуясь, опорожнял корзину с отборными боровиками и, прихватив с собой пару бутылок ходового портвейна «Агдам», возвращался в Берёзовку.

Когда от него ушла – уехала в город, к родителям – жена, Агдам довольно быстро сошёлся с Верой-Верунькой, молодой разведённой, такой же любительницей грибной охоты, как и он. Торговать стало проще: за прилавком стояла Вера, а Сергей спокойно покуривал в сторонке. Иногда с белыми грибами и лисичками приходилось ездить в Москву. Сергей не любил шумную столицу и презирал изнеженных – так ему казалось – москвичей. Ради озорства он как-то привёз в Москву с десятков грибов-трутовиков, растущих на гиблых берёзах, и без зазрения совести выдал их за целебный гриб чагу. Продавал сам, нахваливая и едва сдерживая смех. Что удивительно, «лошадиные копыта» разошлись довольно быстро. Верунька, торговавшая неподалёку, чуть не сгорела от стыда. А Агдам только посмеивался: «Ничего... От трутовика не умрут, а может быть, и поумнеют!»

Агдам и Верунька, как могли, барахтались в навязанной им жизни. Денег частенько не хватало. И когда Лёнчик предложил рыть колодец, Агдам без особых раздумий согласился: «Копать так копать! Не боги горшки обжигают...» За свою жизнь Агдам выкопал два погреба. За его же дружкой не числилось и вырытой канавы. Колобок, как бывало не раз, решил полностью положиться на разбитного Агдама.

Добра молодца узнаешь по походке, бывалого мастера – по зачину. Прежде чем помчаться, надо раскататься...

Перекурив раз и два, Агдам с Колобком проверили лопаты на остроту и прочность.

– Вроде ничего... – сказал Агдам.

Колобок кивнул: тебе виднее!

С таким же подчёркнутым старанием мастера стали определять диаметр бетонных колец. Агдама не устроил мягкий метр со стёршимися цифрами.

– Принеси твёрдый! – скомандовал Сергей.

Лёнчик покорно отправился в сарай. За ним, словно привязанный, потащился рыжий домашний кот...

Агдам стёр пыль с длинной линейки, приложил её к правому глазу – будто прицеливался, как прошлой осенью, в пёстрога, ещё не вылинявшего, зайца-русака, неторопливо произвёл замер и значительно сказал напарнику:

– Запомни!

– Какой вопрос! – бодро отозвался Колобок.

Мастера, помогая друг другу, измерили лестницу, проверили дубовые столбы – Колобок для верности даже колупнул прокуренным пальцем по срезам: ничего, нормальные, не гнилые!

Деловито, с видимым знанием дела, мастера переговаривались между собой. Лёнчик, затаив дыхание, внимательно прислушивался к их не очень понятной и временами таинственной речи.

– Стык стыку рознь...

– Грунт покажет...

– Может, придётся надставить...

– Как бы не поплыло! Всяко бывает...

Прежде чем основательно взяться за лопаты, мастера смачно поплевали на сухие ладони.

– С богом! – сказал Агдам.

Колобок убрал колышек-метку со середины очерченного круга.

Агдам, усмехнувшись, покосился на Лёнчика:

– Не знаю, хватит ли колец?

У Лёнчика чуть шляпа-американка с головы не свалилась:

– Да что ты? Что ты? Неужто ещё покупать?

Колобок решил подыграть другу:

– Не выйдет колодец – получится погреб. Хороший. Глубокий.

– На хрена мне второй погреб! – возмутился Лёнчик. – Копайте!

Колобок по-молодецки расправил плечи и весело пропел начало солёной частушки:

Две недели не копал!

Где моя копалка?..

Друзья, не щадя себя, трудились несколько дней. Сняли плодородный, гумусный, слой, перешли на пёструю супесь, докопались до чистого, с влажнинкой, песка, а потом пошла красная липучая глина...

Поёживаясь от пробирающего до костей холода, Агдам не просто взбирался по лестнице, а буквально взлетал, как петух на насест, и, клацая зубами, брался за ворот. Сменивший его Колобок едва успевал подавать из ямы переполненные вёдра.

– Эй, командир! – донимал Агдам Лёнчика. – Налил бы по лампадке!
– Перебьётесь! – отвечал Однорукий. – Пока не выкопали, на солнышке отогревайтесь!

Агдам не узнавал самого себя. Признаться, взялся за дело без особой охоты – стоило ли стараться для такого ханыги! – да и сомнения точили душу: а сумею ли? не опозорюсь? Но вскоре работа пошла, покатила как по маслу. Сергей удивлялся и не понимал, в чем дело. Втянулся? Слишком простое объяснение. Казалось, рядом с ним, не испросив его согласия, появился из таинственного далека бывалый колодезник. Этот человек в выгоревшей посконной рубахе ничего не говорил ему, тем более не подталкивал по-учительски в спину. Он просто стоял рядом и внимательно, с какой-то непонятной грустью, поглядывал на Сергея. И Сергей, ощущая его заинтересованное присутствие, делал всё как надо. И то, что им удивительным образом понималось и почти бессознательно делалось, казалось даже не подсказкой мастера, а собственной догадкой, своим, наконец-то обнаруженным, глубинным знанием, которое, подобно заветной сотенке, хранилось до поры до времени в тёмном загашнике – так долго хранилось, что и забыл, когда припрятал – и вот теперь, когда припёрла нужда, всё неожиданно нашлось и пригодилось наилучшим образом.

Уверенность Агдама невольно передалась Колобку – тот даже потешно заголосил, перевирая старые частушки. И Ленчик, поняв, что ему всё-таки роют настоящий колодец, а не погреб, заметно повеселел и даже бросил преследующему его коту кусочек белой булки.

Агдам продолжал приглядываться к глине. В ней посверкивали не только капли – появились тянучие, как паутина, водяные жилки. И на глубине, где он, отбросив неудобную лопату, орудовал железным совком, пахло не только кисловатой глиной, но и зимним, пробивающимся сквозь невидимые оковы, родником. Большая жила – он это чувствовал всем нутром – была где-то рядом, и её не следовало тревожить. Нужно было, взнуздав азарт, вовремя прекратить копку и позволить глубинной воде медленно заполнить бетонную чашу. Но когда остановиться?

Старый колодезник куда-то исчез. Нужно было, не оглядываясь, решать самому. И Агдам не оплошал: ведь он, будучи трактористом, безошибочно выбирал плуг для вспашки, знал разные почвы, и теперь ему предстояло по-настоящему почувствовать пусть и далёкую, но родственную толщу земли.

И он догадался, когда нужно остановиться.

– Всё! Шабаш! – выдохнул Агдам. – Приехали!

Лёнчик недоверчиво хмыкнул: наверное, лень копать!

– Надо поглядеть! – сказал Лёнчик. Бетонные кольца оставались, и ему хотелось, чтобы колодец был глубже.

Ловко орудуя крючком рабочего протеза, Лёнчик напялил на себя рыболовный костюм, взял длинную верёвку и, ворочая головой, стал приделывать петлю возле шеи.

– Ты что, вешаться решил? – засмеялся Колобок. – Сначала расплатись, а поминки успеем справить!

– Хватит трепаться! – нахмурился Лёнчик. Он протянул петлю через голову и укрепил в подмышках, – Если что, тяните!

– Бутылку за дополнительные услуги! – похохатывал Колобок.

Хватаясь здоровой рукой за перекладыны, Лёнчик исчез в глубине. Долго, проверяя, ощупывал стыки колец. Со стыками было всё в порядке: Агдам работал с отвесом. Лёнчику захотелось углубить дно. Но

стоило ему копнуть, как тугая, бьющая, словно из брандспойта, струя отбросила лопату. Вокруг Лёнчика забурлило, запенилось, и он, скользя ногами, испуганно дёрнул верёвку.

– Спасайте! Тону!

Мастера, улыбаясь, без особой спешки извлекли бедолагу из колодца. Лёнчик смачно выругался, и, отряхиваясь, пустился в пляс.

– За спасение – премиальные! – ржал Колобок. – «Спасибо» нам ни к чему!

– У вас одно на уме! – оборонялся Лёнчик. – Вино да водка.

– Да ещё молодка! – уточнил Агдам. – Обижаешь, командир!

Вот так и вырос на огороде Лёнчика бетонный колодец, с крепкими столбами, лёгким послушным барабаном и пологой, как у скворечника, крышей.

Дело сделано – пора и рассчитаться. Лёнчик помрачнел, пнул рыжего кота, путающегося под ногами, и неохотно потянулся к нагрудному карману с пуговичкой. Долго терзал перламутровую пуговичку, высвобождая из прорамки. Пальцы Лёнчика в этот момент казались одеревенелыми.

Наконец он извлёк помятые бумажки, напомнил:

– Всё, как договаривались!..

Колобок тут же пересчитал деньги. А Сергей, не взглянув, сунул свою долю в карман.

Нет, не в натуре русских людей, завершив доброе дело, разбегаться в разные стороны с мятыми бумажками, зажатыми в потный кулак. Хочется перед уходом потрогать бетонное окружье, провести рукой по шероховатой, крытой рубероидом, крыше и, решившись, – пусть она еще не устоялась! – попробовать ключевой воды. И, конечно, посидеть на прощание за общим столом, потолковать о том о сём, наслаждаясь заслуженным отдыхом, и, разумеется, выпить за сработанное, как выпивают за рождение долгожданного сына-наследника.

Мастера, оглядев свой колодец придиричивым сторонним взглядом, умиротворённо присели на лавочку возле круглого, на одной ножке-столбце, стола. Колобок смахнул скрюченные прошлогодние листья с фанерного листа.

– Обожаю выпить на природе! – признался Агдам.

Было слышно, как в заброшенном саду Авдеевых выводит замысловатые рулады одинокий соловей.

Лёнчик ленивым кружным путём направился в избу и, помучив друзей ожиданием, вернулся с плетёной грибной корзиной.

– Чем богаты, тем и рады! – изрёк Однорукий.

В его корзине лежали поллитровка с четвертинкой, стопки, буханка хлеба, кусок варёной колбасы, две банки кильки в томатном соусе, соль в баночке из-под майонеза и похожий на тесак острый нож.

Пока Агдам, забыв обо всём, слушал соловья, а Колобок резал колбасу, Лёнчик успел принести пучок сочного лука-батуна.

– Думаю, не помешает! – сказал Лёнчик.

– Ещё бы!.. – согласился Колобок.

Дружно, в едином пионерском взмахе, Агдам и Колобок подняли стопки за успешное окончание работы. Лёнчик, помедлив, чокнулся с мастерами, тягуче, кривя лицо, выпил и торопливо отошёл – чуть ли не отбежал – в сторонку. Всем своим видом он показывал, что, в отличие от беззаботных друзей, не намерен бражничать.

– Дела! Дела! – объяснил Лёнчик.

Словно демонстрируя пример трудолюбия, Лёнчик принялся за работу. Тут же принёс из сарая моток проволоки, колышки и, низко склонившись, стал опутывать ягодник.

Клубнику Лёнчика одолевали большие птицы. Даже пугало, очень напоминающее самого Лёнчика, не останавливало ни ворон, ни галок. Вот и решил обворованный не единожды хозяин испытать новое средство: а вдруг не сунутся птицы, опасаясь запутаться в сетях?

– Ты ещё красные флажки повесь! – подсказал Колобок.

– Зачем флажки? – усмехнулся Агдам. – Убей ворону и повесь на длинный шест. Остальных как ветром сдует!

Лёнчик слушал, но помалкивал: поди, разберись, то ли серьёзно говорят, то ли ему голову дурят.

Заскрипела дверца возле дома, и в охваченном солнцем проёме показалась со своей неразлучной клюшкой бабушка Акулина.

Лёнчик оглянулся на скрип и насупился. Надоели ему, словно горькая редька, деревенские экскурсанты: шляются почти каждый день, отвлекают мастеров от работы, к тому же могут и грядки ненароком потоптать...

Напрягая слезящиеся, в красных ободках, глаза, Акулина ощупывала своей клюшкой дернистую дорожку. И тянулась лицом туда, где белело бетонное кольцо колодца.

Агдам ещё издали, не надеясь на ответ, поздоровался. И Вася Колобок приветно поднял переливающуюся через край зелёную стопку.

Акулина молча подошла к колодцу, погладила шершавый барабан и, словно отвечая не людям, а колодцу, произнесла ласково:

– Здра-асьте-е...

Она заглянула в ведёрко с водой и, не узнав в отражении своего лица, со вздохом опустилась на приступок. Опёрлась на клюшку изработанными, как будто вылепленными из прочной глубинной глины и перевитыми корневищами жил, руками и, словно примериваясь к безвозвратному уходу, устало закрыла отвыкающие от дневного света глаза.

Глядя на эти руки, не нужно было спрашивать, чем она занималась и как жила. Жила, как жили многие женщины в крестьянстве: вставала на сенокос в четыре утра – была первой косильницей! – навивала стога, жала рожь, ухаживала за домашней птицей и скотиной, обшивала и обстирывала всю большую семью...

Акулина открыла глаза и, словно обращаясь не к Лёнчику, а к какому-то другому человеку, строго спросила:

– Колодец-то освятили?

– Как же, окропили! – усмехнулся Лёнчик и, взглянув на разомлевших дружков, уточнил: – Вспрыснули!

Акулина ничего не поняла:

– Слава богу! Это по-людски...

Подремав, бабушка с трудом поднялась, потёрла занемевшую поясницу и так же тихо, как и пришла, покинула огород.

Копателям развело губу.

– Эй, командир! – крикнул Агдам. – Принёс бы красенького! На загладку...

– На посошок! На ход ноги! – поддержал Колобок и уронил русую голову в чашу расставленных рук.

Лёнчик нехотя подошёл, посмотрел на пустые бутылки и разразился негодованием:

– Сколько можно пить? Пьёте и пьёте. Всю матушку-Россию пропили!..

– Россию? – удивился Агдам. – Это я Россию пропилил? Да сколько же я должен выглохнуть, чтобы её, матушку, пропить? Цистерну? А может, океан? Нет, Лёня, ты не с того бока зашёл! Россию не пропилили, а продали. И не по пьянке, а по трезвянке. А теперь в московской канцелярии две дамы делами заправляют: Сулиха да Проманиха! Такие красавы – глаз не отведёшь...

Агдам завершил тираду и миролюбиво напомнил:

– А на каменку всё же надо плеснуть. Понял?

– Понял, чем старик старуху донял! – окрысился Лёнчик.

– Та-ак! – грозно произнёс Агдам. Желваки заиграли на его острых скулах. – Значит, человеческого языка не понимаешь? Заклинило слух? – Агдам нагнулся и схватил за шиворот рыжего кота. Решительно встал к, прижимая кота к груди, зашагал к колодцу.

Лёнчик заволновался.

– Та-ак! – делая свирепое лицо, сказал Агдам и поднял кота над головой – тот висел врастяжку, словно тряпка. – Арифметику, надеюсь, помнишь. Считаю ровно до трёх. Скажу «три», и Васька окажется в колодце!

Вася Колобок вздрогнул и разлепил глаза:

– Серёг, ты что? Меня? В колодец?

Агдам улыбнулся:

– Вася, спи спокойно! Я друганами не разбрасываюсь!

Но Колобку стало не до сна.

– Всё, Лёня! – продолжал Агдам. – Счёт пошёл. И не надейся на китайские предупреждения! Я человек слова: я его дал, я его взял... – Агдам потрянул кота. – Рр-раз!

– Да бросай! – воскликнул Лёнчик. – Топи! Зачем он мне нужен? Мышей не ловит, а жрёт в три горла!

– Ну что ты несёшь, Лёня? – Агдам покачал головой. – Неужто живой души не жалко?

– А тебе не жалко? – огрызнулся Лёнчик.

– Мне жалко, но ты вынуждаешь! Дд-ва-а...

Лёнчик задумался.

Агдам крыл Лёнчика, не жалея козырей:

– Шевелись, пока не поздно! А то Васька будет ночами сниться! Покоя не даст... Хочешь, чтобы колодец протух?

– Ладно! – сдался Лёнчик, – Принесу!

– То-то! – сказал Агдам и отпустил кота.

Лёнчик, почёсывая затылок, поглядел на опустошённый, с хлебными корками, стол:

– Может, сырку принести? Правда, он твёрдый, давно лежит...

– Неси! Неси! – поощрил Агдам. – Зубы есть – пилы не надо. Как-нибудь справимся.

– Неплохо бы сальца! – сказал Колобок, поглаживая живот. – Чтобы хлеб доесть. Да и колбаса к лучку не помешала бы...

Лёнчик хмыкнул: наши дурака! И, оглядываясь, пошёл к дому. По дороге подвизал помидоры, поправил рогатые подпорки под яблонями, а в завершение сорвал лопух и стал отгонять белых бабочек с завязавшейся капусты...

– Через час вернётся! – сказал Колобок.

– Что ты, что ты... – возразил Агдам, – К первым петухам!

– Ничего! Мимо рта не пронесём!

До петухов дело не дошло. В избе Лёнчик не задержался и вскоре, потирая лоб – ударился о дверную притолоку, – явился с запылённой,

в паутине, бутылкой «Агдама» и с бесформенным куском сыра, похожим на садовый вар.

– Покорно благодарю! – уважительно сказал Агдам. – Влистил, командир. Моё, фирменное.

Открыли тёмную бутылку. Колобок, налегая всем телом, разрезал, а лучше сказать, раскрошил оставшийся от поминок сыр.

– За что пьём? – поинтересовался Вася.

– За хозяина! – улыбнулся Агдам. – Слышь, Лёня! Пьём за твоё здоровье!

«Не обманешь! – подумал Лёнчик. – Больше не принесу...» Друзья неспешно, за разговорами, опорожнили бутылку. Агдама повело на песни: уж так захотелось, не думая о плохом, покачиваясь на хмельных волнах, вспомнить душевные слова, настолько простые, что брало удивление: почему же я, такой же крестьянский сын, не мог додуматься до них и сложить в напевные строчки?

– Не жалеэ-э-ю, не зову, не пла-а-ачу...

И тут, словно чёрт из преисподней, перед ним возник взлохмаченный Лёнчик с лопатой наперевес:

– Хватит, мужики! Погуляли – пора и честь знать. Дома поплачете...

Агдам замолк. С удивлением посмотрел на странного человека и ничего не сказал. Даже не попытался отшутиться. Глубоко вздохнул и медленно, со старческой осторожностью, встал. И так же осторожно – будто ступал не по земляной тропке, а по канату, висящему над пропастью – направился к розовеющему в закатных лучах колодцу.

Наклонился над ведром. Может, хотел напиться, но почему-то передумал. Загрёб в пригоршню колодезной воды и окатил горячую голову. Постоял, прислушиваясь. Соловей не пел. И когда же он смолк, подавился, подобно горюнье-кукушке, житным колосом?

Агдам провёл рукой по слипшимся волосам и вяло, без какой-либо злости, проговорил:

– А зря мы его из колодца вытащили. Зря.

3

Острое волнующее чувство человека, находящегося между Небом и Землёй, Фатей никогда не испытывал в городе, среди мёртвого асфальта и высоких зданий. Это чувство приходило только в деревне, и особенно тогда, когда он, взяв грибную корзину, шагал просторным лугом к Большому лесу.

На месте этого луга когда-то было колхозное поле. Сквозь подошвы резиновых сапог Фатей ощущал неровности-шрамы: видно, поле напоследок вспахали, но не успели проборонить.

От поля не осталось ни синих васильков, ни ползучих вьюнков с их бело-розовыми колокольчиками-граммофончиками, ни сочного молочая... Только пушистые колоски лисохвоста напоминали незрелую, набирающую сок пшеницу.

Весенний бесшабашный ветер гулял как ему вздумается: то протяжно гудел в небесах, разгоняя курчавые облака, то падал вниз и начинал дуть Фатею навстречу с таким рвением, как будто вознамерился сбить его с узкой тропки, оттеснить подальше от Большого леса к берёзовому мелколесью и баклушам, поросшим розовым вербняком.

Над ним было широкое, простиранное до голубизны весеннее небо. Белопенные вздымающиеся над дальним лесом облака словно довершали небесную картину великой пасхальной стирки.

Фатей, оставляя залитую водой тропку, старался идти песочистыми кулижками. Кое-где, близ злаковых трав и тысячелистника, темнели подковы «ведьминых колец», на которых обычно росли луговые опята.

Здесь, между Небом и Землёй, Фатей по-особому ощущал скоротечность человеческой жизни. Отдавшись щемящему чувству, он шёл машинально, почти бездумно. Порой казалось, что его душа, выпорхнув из брэнного тела, вольной птицей парит над ним, а он, странный, похожий на тень, продолжает путь к весеннему лесу.

Душа, смелея, отдалялась от него, стремилась туда, где ласково журчали жаворонки, и Фатей, ощутив неуют, беспокойно замирал на месте. Душа падала к нему прирученным ястребком. Фатей вновь обретал ощущение земной прочности и с неутолимой жадностью продолжал вглядываться в луговое разнотравье.

Он настойчиво шёл на свидание с лесом, а лес, похоже, был не прочь пошутить с ним; тёмная сосновая гряда то маняще приближалась, то неожиданно отступала и даже смещалась в сторону...

– Здравствуй! – наконец говорил Фатей лесу.

Он вытирал заляпанные сапоги о лиственный, потерявший осеннюю яркость, половичок, снимал с потной головы фуражку и медленно проходил мимо двух знакомых сосен, похожих на дверные косяки.

С елей свисали гроздья шишек, напоминающие гирьки старых деревенских часов, и кукушка, подающая хрипловатый голос, довершала картину особенного, изыаного, уюта.

Невдалеке плотничал работяга-дятел – будто заколачивал гвозди в свежие лесины.

Намолчавшиеся в дальних краях птицы встречали Фатея слаженным хором. Пели дрозды, зорянки, щеглы, малиновки... Фатей умел различать голоса птиц, но сейчас, в этом радостном многоголосье, не хотелось выделять какую-то отдельную пичугу и восхищаться ею, подобно тому, как он восхищался неповторимым пеньем соловья.

Весенний лес казался новым, даже неузнаваемым. Приглядываясь, Фатей обходил завалы, лавируя между грудками рыжего, с белой плесенью, валежника, огибал бочажины, заполненные до краёв талой водой.

Сквозь сухие до черноты травы пробивалась яркая зелень, стараясь слиться с куртинками грушанки, брусничника, кислицы, которые благополучно перезимовали под снегом и сохранили живой окрас.

На буграх, прогретых солнцем, росла желтоглазая, с длинными лиловыми ресничками, сон-трава, а в мокрых низинах виднелись букетики медуницы. На фиолетовых и пурпурных колокольчиках медуницы сидели отошавшие шмели и пчёлы.

– Перезимовали, милые! – радовался Фатей.

Он ощущал острый искусный запах рыжиков и сырого можжевела. По привычке заядлого грибника, готового искать добычу хоть под снегом, шарил глазами по лиственному опаду, по-детски надеясь на чудо: а вдруг?... Фатей знал, что в мае на горелых местах и берёзовых вырубках могут появиться сморщенные, как нутро грецкого ореха, сморчки.

Он мог бродить по весеннему лесу часами, не замечая, как солнце обожжёт лицо, набросает в глаза какого-то невидимого сора, который, не боясь промывки, продержится под его покрасневшими веками несколько дней, а потом сам по себе истает, словно недолговечный снег.

Чтобы передохнуть, он садился на чистый берёзовый пенёк и «задумывался». В эти минуты, сливаясь с лесом, он забывал о времени и о себе.

Неохотно вставал и продолжал свой, с виду бесцельный, путь. Корзина беззаботно болталась в его руке. В какой-то момент Фатею становилось неловко за своё бесполезное шатание, и он начинал прикидывать, чем же заполнить пустую плетёнку.

В эту пору Фатей чаще всего собирал щавель и брусничник. В старом березняке искал целебный гриб чагу. Если же чага не попадалась, а собирать мелковатый щавель и обильно растущий брусничник надоедало, то Фатей заполнял корзину берёзовой кожурой, которая, подобно изношенной змеиной коже, сползала с гиблых надломленных берёз – отличное средство для розжига печи и подпечка.

Его всегда манило разнолесье: только что брёл светлым, струящимся куда-то в поднебесье, березняком, а теперь перед глазами островок ельничка, уютный, матово-изумрудный, без больших проходов-пролазов, а за ельничком виднеется осиновая роща с дрожливыми серебристыми листьями, а ещё дальше сосновый бор, где деревья, как петровские гвардейцы, на подбор.

Фатей умел искать грибы. Он не носился по лесу как нахлёстанный, а ходил расчётливо, неторопливо – как выражаются бывалые грибники, «действовал выползком и щупом». Ему были хорошо знакомы грибные хитрости: горькие валуи – видимо, желая, чтобы их сорвали, – предпочитали маскироваться под боровиков, а красноватые волнушки норовили прикинуться рыжиками. Фатей не сердился, не пинал раздражённо обманщиков, а терпеливо продолжал извилистый путь, приглядываясь к мшастой подстилке. И лес, испытав его терпение, одаривал желанными грибами.

Почему-то почти как раз, когда Фатей намеревался покинуть лес, на его пути каким-то чудесным образом возникал белый, прощальный, гриб. Что это было? Награда за труды? Приманка для будущих походов?

Потеснив другие грибы, Фатей клал боровик в корзину. И не мог удержаться от улыбки.

Фатей объяснял свою удачливость обыкновенной наблюдательностью, может быть, таинственным расположением леса. Но настоящим, природным грибником, по его мнению, был Агдам, который мог бродить по родному лесу с закрытыми глазами, чувствуя присыпанную листвой грибницу.

Обычно Фатей возвращался из Большого леса тем же полем-лугом, то и дело перемещая тяжёлую корзину из одной руки в другую. Ноги казались ватными, покалывало под лопаткой, но над физической усталостью преобладало ощущение душевной лёгкости, тихой умиротворённости – подобное Фатей испытывал только после посещения храма.

Однако высокие чувства нередко смазывал Однорукий. Он словно специально поджидал его, и, когда Фатей подходил к своей избе, Лёнчик выныривал откуда-нибудь из-за угла, быстро подбегал и, расплываясь в резиновой улыбке, – «Здорово, сосед!» – тянулся своей жилистой рукой к поскрипывающей от тяжести корзине:

– Ну, давай показывай, что насобирал! Много ль белых пнул?

– Не знаю, – честно отвечал Фатей. – Не считал!

– Зна-аем, зна-аем... – недоверчиво тянул Лёнчик. Он почему-то считал Фатея хитрым человеком.

От дурного соседа и за высоким забором не скроешься. А от стариков Рожновых осталась низкая ограда.

Выходит Фатей на свой огород и всегда, словно соблюдая некий ритуал, поворачивает голову направо. Делается спокойнее, если за огородом нет соседа, а вместо него возвышается на ягодной плантации безобидное пугало с драной шапкой на шесте и изъеденной молью жёлтой кофтой на узких деревянных плечиках.

Настроение портится тогда, когда появляется Лёнчик. Чтоб не видеть и не слышать соседа, Фатей старается побыстрее, не здороваясь, уйти в глубь огорода, скрыться за ягодными кустарниками. Но и там его найдёт назойливый сосед. Обнаружит не только по шороху грабель или скрипу лопаты, но и по учащённому, с одышкой, дыханию.

– Здо-орово, сосед! – ласково пропоёт Лёнчик, наваливаясь грудью на забор. – Как жизнь? Как дела?

Грешным делом – случилось и такое – Фатей делал вид, что он, занятый по горло, не слышит соседа. Особенно это удавалось тогда, когда ветер дул в сторону Лёнчика.

– Здо-орово, Иваныч! Ты что, не слышишь?

Делать нечего, Фатей выпрямлялся и вяло здоровался. Ладно бы если всё заканчивалось взаимным пожеланием здоровья. Лёнчика неизменно тянуло на разговоры.

Вопросы сыпались один за другим:

– Как с картошкой? Всю посадил?

– Морковь у тебя на лентах или россыпью?

– Ты вроде смородину кипятком опрыскивал. И что? Не завелась зараза?

Фатей то шуткой отделается, то скажет серьёзно. А хочется ли отвечать серьёзно, когда твоим словам веры нет? Подозрительному Лёнчику кажется, что его сосед, почитывающий журналы по садоводству, что-то недоговаривает, а порой темнит: видно, не желает делиться своими секретами.

Однажды вышел Лёнчик на зады, за дальнюю ограду, прошёлся по меже и застыл в печальном недоумении:

– Ничего не пойму! На моей картошке жук на жуке, а у Иваныча чисто! Будто пионеры прошли...

Лёнчик не был бы Лёнчиком, если бы не попытался докопаться, почему его обошли.

– Хорошая у тебя картошка! – похвалил Лёнчик Фатея. – Без жуков. Опрыскал, что ли?

– И не думал! – честно признался Фатей.

– Ладно-ладно! – как будто поверил Лёнчик и, покрутившись возле чужих борозд, продолжил расследование: – Значит, руками собирали?

– Нет, Лёня, не собирали!

– Да не может быть такого! – заволновался Однорукий. – У меня что, картошка мёдом помазана? Так и липнут проклятые.

Помолчав, Лёнчик криво усмехнулся:

– Может, господь бог помог?

– Почему бы и не помочь! – ответил Фатей.

Дело обстояло так. Лёнчик, торопя урожай, посадил картошку в конце апреля. Фатей медлил: ждал, когда созреет земля. Он проверял землю так, как это делали его лапотные предки: брал сыроватый, ещё отдающий зимним холодком ком и медленно сжимал. Ком слипался, словно глина: с посадкой стоило повременить! Но вот, прогретый солнцем, ком быстро распадался, просачивался сквозь пальцы с лёгким пороховым дымком: можно сажать!

Наверняка и прибившийся к деревне Лёнчик знал, как проверяют на спелость землю. И всё же ему не терпелось с картофельной посадкой...

Когда у Однорукого вылезла на свет ботва, картошка Фатей ещё сидела в земле, расправляя хрупкие, с синеватым цветом, ростки. Естественно, выползшие из своих зимних укрытий жуки с жадностью набросились на картофельное свежью, стали спариваться и делать на исподней стороне листьев жёлтые зернистые кладки. На участке Фатей жуки расплодились позже...

Пока Лёнчик разгадывал картофельную шараду, к нему заглянул за бутылкой бормотухи Агдам – Лёнчик всегда держал при себе дешёвое зелье и продавал его с наценкой.

Однорукий поделился с Агдамом своими страданиями, и тот, не моргнув, нашёл причину:

– Да ты что? Телевизор не смотришь? Недавно один сибирский мужик вывел особый сорт. «Антиколорадская»! Её и жук не берёт, и проволочник не трогает. У Иваныча шурин работает большим человеком в министерстве сельского хозяйства. Короче, прислал полмешка. Иваныч недавно проговорился. Правда, быстро опомнился и наказал мне: никому ни гугу...

«Мели, Емеля!» – усмехнулся Лёнчик, но сомнения не отпали: а чем чёрт не шутит!

Тем временем Фатей, сам того не желая, преподносил соседу сюрприз за сюрпризом.

Лёнчик обычно выкашивал траву на усадьбе немецкой электрокосилкой. Фатей пользовался литовкой, оставшейся от прежних хозяев. Важно похаживал Лёнчик взад-вперёд со своим жужжащим, словно пчелиный рой, агрегатом – только зелёные клочья летели в разные стороны. Фатей неспешно помахивал острой, со старинным клеймом, косой, частенько останавливался, чтобы протереть влажной травой белое полотно. Лёнчик выкашивал усадьбу под нулёвку. У Фатей такой чистой стрижки не получалось: мешали колдобины, кочковатые места. Но проходила какая-то неделя, и подрастающие травы у соседней выравнились. Лёнчик переживал: ради чего, стараясь, он переводил дорожущее электричество, когда хитрый Иваныч ничего не потратил, кроме собственного пота?

Но больше всего Лёнчика поразила история с градом. Настолько поразила, что он был готов уверовать в высшую силу.

Однажды в летний день на спокойном небе появилась неведомо откуда белёсая тучка с синеватым отливом. Казалось, тучка стоит на месте. Но наблюдательный Лёнчик, соизмеряя положение тучки с кроной соседской липы, догадался, что странная тучка, медленно кружась, приближается к Берёзовке.

Поглядывая на небо, Лёнчик продолжал трудиться на своём просторном огороде.

Туча, скручиваясь в спираль, нависла над Лёнчиком. Суматошно закричали вороны, разлетаясь в разные стороны. Повяло сладковато-острым небесным запахом. Затрепетали листья липы, заходили ходуном высокие ветки, и на землю, в пересверке лучей, посыпались крупные ледышки.

Ухватившись за голову, Лёнчик скрылся в сарае и со слезами на глазах наблюдал, как град косил его зацветшие помидоры.

Град побил лук, свёклу, исполосовал, как ножом, широкие листья капусты.

Лёнчику захотелось соизмерить свои потери с ущербом соседа. И каково же было его изумление, когда он увидел, что градобой миновал огород Фатея...

Острые ледышки, дотаивая, лежали грудкой вдоль забора, на стороне Лёнчика, а помидоры на грядках Фатея держались с вызывающей прямизной.

– Как же так? Как же так? – плакался Лёнчик, обращаясь то ли к медленно уплывающей туче, то ли к своему соседу-хитровану. – Только я один пострадал!

Фатея молчал.

– Как же так? Мы же рядом... – не унимался Однорукий. – Промеж нас словно черту провели. Не понимаю!

Фатея пожимал плечами.

А Лёнчик продолжал докапываться:

– Не понимаю, Иваныч! Честно говорю: не понимаю! Может, заговор какой знаешь, а?

– Знаю! – вырвалось у Фатея.

– Какой? – Лёнчик пожирал соседа глазами. – Ну?

Фатея улыбнулся:

Дождик, дождик, перестань,
Мы поедem на Ердань...

Лёнчик замахал руками:

– Я с тобой серьёзно, а ты шутишь!

– Что поделаешь! Я других заговоров не знаю...

О градобое, поразившем огород Лёнчика, вскоре узнала вся деревня. Люди приходили к нему, расспрашивали. Лёнчик целую неделю хранил срезанную градом помидорную ботву, показывал каждому: «Смотрите, сколько завязей! И все псу под хвост!», подводил любопытствующих к расхристанным, вбитым в землю, перьям лука: «Не знаю, поднимутся ли?» и под конец, вымаргивая из глаз слезу, надолго останавливался возле завивающейся в вилки капусты: «Что он натворил! Одни кочерыжки остались...»

Лёнчику сочувствовали. Как могли, успокаивали: бывает и хуже. Лёнчик удивлялся: куда ещё хуже?

Бабка Лукерья поинтересовалась, не перебежала ли Лёнчику дорогу чёрная, без единой пестринки, кошка? – «Откуда ей взятсья? Только моя рыжая тварь под ногами путалась!» Валя Стряпуха спрашивала, не снились ли Лёнчику перед градобоем особенные, вещие сны? – «Какие ещё сны? За день так ухайдакаешься – спишь без задних ног...» Древняя бабушка Акулина, перекрестившись на чистое небо, как на святую икону, пустила в воспоминания: «А ведь был заговор от града. Точно был. Я от своей прабабушки слышала. Всё позабылось... Только последние слова помню: "Чур, наше место! Чур, наше место!"»

Никанор Комлев, человек серьёзный, набожный, внимательно выслушал словоохотливого Лёнчика и строго спросил:

– Ты когда в последний раз молился?

Лёнчик в замешательстве потрогал на груди медный крестик и пропихал детским голосом:

– О чём спрашиваешь, дядя Никанор? Я с одной рукой так за день измотаюсь, что ширинку порой едва расстегну. Чтобы сходить по малой нужде...

– А ты без руки молись! – посоветовал Никанор. – Душой и словом тянись к Богу. И не ссылайся на горячую пору. Молитва не знает сезона.

Лёнчик помолчал и величественно показал крючковатым протезом на просторный, с ухоженными грядками, огород:

– Видишь, сколько всего посажено? Бог труды любит. Так я говорю?

– Добра соль! – усмехнулся Никанор. – А переложить, и рот воротит.

Бедолагу Лёнчика не просто жалели – ему несли со всех сторон новую рассаду. Повеселел страдалец. Собирает рассаду, но сажать не торопится. Даже проникся ощущением неожиданной выгоды: хорошо, что посадил помидоры и капусту раньше всех; потянул бы волынку и, возможно, остался бы без дармовой рассады.

Лёнчик прикапывал рассаду, опрыскивал холодной водой. И усиленно думал, как разместить такое количество свалившегося на него добра. Даже мелькнула шальная мысль: не продать ли на рынке?

Как-то вечером, когда жара спала, Лёнчик возник с охапкой рассады возле соседского забора:

– Не надо ль капустки? Помидорчиков?

– Спасибо! – сухо отозвался Фатей. – Что хотел, уже посадил!

– Да я бы выкинул её! – признался Лёнчик. – Только вот думаю: грех добром разбрасываться! Грех! – Ощувив свою праведность, Лёнчик даже посветлел лицом.

– Спасибо! – повторил Фатей.

– Как знаешь! Было бы предложено... – Лёнчик поворошил рассаду. – Хорошая капустка! Без килы... – И, развернувшись, накатистыми шагами удалился в глубь своего огорода. Шел и прикидывал на ходу: где же разбить новые грядки?

В это знойное лето Фатей, как никогда, беспокоила картошка. К «земляному яблоку» у него было особое отношение. Фатей, стеснённый обстоятельствами, мог не посадить капусту, помидоры, но никогда не представлял себе настоящего огорода без картошки.

Фатей родился в черноземном краю, в бунинском подстепье, и знал цену картошке, что хлебу присошка. Его дед Василий едва ли не единственный во всей деревне сажал редкую по тем временам картошку «лорх», жёлтую, рассыпчатую, в каком только виде она не подавалась на выскобленный добела деревенский стол: и варёная, и жареная, и мятая, приправленная цельным молоком, и круглая, посыпанная солью-мелюзом или крупной, льдистой, соличкой... Варили её в чёрном чугушке – в мундире и без мундира. В голодные послевоенные годы картошку ели вместе с кожурой, и эта кожура, золотистая, крахмалистая, казалась малолетнему Фатею необычайно вкусной.

Фатей хорошо, во всех подробностях, – как будто это было вчера – помнит, как они с бабушкой Варей ходили по весне на колхозное поле собирать мёрзлую картошку. Из этих поборышей, похожих на серые каменюки, делали крахмал, добавляли в блины и оладьи.

Впереди, положив лопату на плечо, шла бабушка Варя. За ней с пустым ведёрком, которое то и дело ударяло по ноге, тащился Фатей. На нём были большие, не по росту, кирзовые сапоги. Чтобы ноги не выскакивали из сапог, Фатей, собираясь в поход, надел толстые, из овечьей шерсти, носки, замотал их отцовскими фронтowymi портянками.

Земля была чёрной, как грачиное крыло, и липкой, словно столярный клей. Она медленно затягивала ноги и старалась стянуть с Фатея тяжелеющие шаг от шага сапоги. Чтобы не забуксовать, Фатей старался идти по бабушкиным следам, по возможности ступать на зазеленев-

шие клочья дерновины, а когда уставал, выбирался на твёрдую кромку поля, поросшую хвощом. Взбрыкивал, словно озорной стригунок, сбрасывая с сапог липкие ошмётья. Пока бабушка ковырялась в земле, успевал сорвать с десятков розоватых пестиков сочного хвоща и съесть. Искал, чем бы ещё полакомиться, и находил зацветающую сурепку.

Нет, не мог засосать его, подобно болоту, родной, исходящий радужными струйками, чернозём. Поле словно играло с ним, подсказывало, что пора вслед за тёплыми подшитыми валенками снимать и грубые сапоги.

Под золотистым куполом неба заливались невидимые жаворонки. Казалось, от их трепетных крылышек дрожит и переливается чистый, как родниковая струя, воздух. По комковатой осенней вспашке бродили вперевалку угольно чёрные, с синеватым отливом, грачи, выискивая червей в разбросанных по всему полю навозных кучах. Вестники весны настолько сливались с чернозёмом, что их выдавали только длинные желтоватые носы.

Фатей жмурился, подставляя лицо солнцу. Это солнце не могло испепелять и яриться, как дикий зверь. Дневное светило ласкало, нежило, улыбалось и даже играло. Необыкновенные переливы солнца приходились на Пасху и на Петров день.

Многое изменилось с тех давних пор...

Хотя и в канун этого жаркого беспощадного лета, как и тогда, в босоном детстве, солнце казалось ласковым и приветным. Обнадёживая, прошли налётные весенние дожди, поторопили набухающие почки. Казалось, после недавней зимы и колорадских жуков на огороде Фатей стало меньше: может быть, их доконали крепкие, прожигающие землю, морозы, а возможно, помогло и неожиданное открытие...

Копая огород по весне, Фатей обнаружил несколько прошлогодних картофелин. Клубни были крепкие, сочные на срезе. Он отложил находку в сторону и, когда уже собирался уйти с участка, обнаружил на картофелинах присосавшихся, словно к кормящей матке, полосатиков.

«Да это же ловушка!» – догадался Фатей.

Перед посадкой он разбросал на картофельном участке порезанные клубни. Заморская нечисть сразу же набросилась на приманку. Фатею только оставалось отправить жуков в банку с подсоленной водой...

Пробились из земли хрупкие всходы. Их никто не тревожил.

В очередной раз прошёлся по меже Лёнчик:

– Ничего не пойму. Куда у тебя жуки подевались?

Фатей улыбнулся:

– Может, почва другая?

– Посмотрим... – задумчиво сказал Однорукий.

Вскоре пришла жара, и Лёнчик, сравнивая участки, торжествовал победу. Его картошка цвела и зеленела, а Фатей едва успевал собирать размножающихся, как комарьё на болоте, колорадских жуков.

Каждый вечер довольный Лёнчик возникал на своём картофельном участке. С его плеча, подобно прирученной змее, свисал шланг с головкой распылителя.

– Как картошечка? – спрашивал Лёнчик Фатея.

– Сам видишь... Неважнецкая.

– То-то! – улыбался Лёнчик. – Небось, дождя ждёшь?

– А ты не ждёшь?

– А чего его ждать-то? – Лёнчик бросал шланг между бороздами. – Польёт какой-нито химией!

– А ты химией не пользуешься?

– Было дело. Дихлофосил! – признавался Лёнчик.

А как тут не признаешься? Фатей собственными глазами видел, как его сосед вдоль борозд с респиратором бродил. От его вонючки за версту несло.

– Теперь без химии нельзя! – оправдывался Лёнчик. – А вот если ещё химический дождик пройдет, тогда совсем кранты.

– Нет, Лёня, от дождя, как и от солнца, решетом не укроешься! – рассуждал Фатей и, сворачивал разговор, снова брался за мокрый веник – жуков было так много, что их приходилось стряхивать с ботвы в ведёрко.

Лёнчик, напевая под нос, уходил к колодцу, чтобы включить опущенный в воду электронасос. Проходила какая-то минута, и оставленный им шланг начинал фыркать и метаться в картофельном междурядье.

Снова приходил Лёнчик, поднимал с земли свою резиновую змеюку и начинал щедро, не жалея времени, опрыскивать ботву.

Фатей, поглядывая на соседа, не мог избавиться от ощущения, что Лёнчик, прислонивший шланг к бедру, не поливает картошку, а, не ведая стыда, мочится.

Багровое солнце садилось за лесополосу, неясную, пепельно-туманную, и высушенные добела травы, покачиваясь, издавали неживой, стеклянный, шорох.

А Лёнчик все лил и лил колодезную воду.

Словно желая подразнить соседа, он направлял шланг на выгоревшую от солнца межу, разделяющую их огороды. Ветер доносил до лица Фатея свежую россыпь.

«Когда же будет дождь?» – Фатей с надеждой поглядывал на небо.

А Лёнчик продвигался всё дальше и дальше по своим зелёным, обсыпанным дохлыми жуками, бороздам – благо длинный шланг позволял ему уйти очень далеко от дома. Казалось, бородатый человек в ковбойской шляпе мог бы при желании добраться до железнодорожной лесополосы и, подняв шланг над головой, окатить тугой струёй красное закатное солнце. Оно, наверное, зашипело бы, как недогоревшая головня, вытащенная предусмотрительным хозяином из русской печи, и, помигав, изошло бы кислым паром.

Но невозможно было дотянуться рукотворным шлангом до вечного солнца.

4

Грибник грибника видит издалека. И неудивительно, что Фатей, обосновавшийся в Берёзовке, сразу же заинтересовался Сергеем Черкашиным, к которому ещё не приклеилось хмельное прозвище.

Агдам, как многие заядлые грибники, предпочитал ходить в лес в одиночку. В своей пятнистой камуфляжной форме он почти сливался с летней зеленью. Ступал мягко, по-кошачьи, – едва ли сухой сучок треснет под его ногами – и старался не оставлять после себя каких-либо следов грибной охоты. Как догадывался Фатей, Агдам присыпал потревоженную грибницу травой и мхом, причём делал это так умело, что трудно, было догадаться, что он здесь только что брал грибы.

Фатей и Агдам встречались в деревне, разговаривали, но, оказавшись в лесу, они становились как бы незнакомыми. И у того и у другого не появлялось желание подойти, перекинуться парой слов и тем

более заглянуть в чужую корзину. И, что удивительно, в этой лесной отстранённости они не испытывали взаимного недоброжелательства – видимо, в их натурах было что-то родственное.

Но как лесным тропкам ни виться, а близкая встреча должна была случиться. И Фатей всё-таки однажды столкнулся носом к носу с Агдамом в Ближнем лесу, который почти вплотную примыкал к Берёзовке с московской стороны.

Покружив с пустой корзиной по березняку, Фатей решил попытать счастья в красном лесу. Он выбрался из влажноватой низинки, пересёк лесовозную, с рваными колеями, дорогу и направился к сосновому бору.

Вопреки сезонным приметам, куковала кукушка. Сладко пахло сосновой хвоей. Отмахиваясь длинными листьями папоротника от комарья, Фатей прошёл метров сто лесным коридором и неожиданно увидел на мохнатом комле поваленного дерева корзину, наполненную боровиками со светло-коричневыми, ореховыми, шляпками. Фатей сразу же узнал уёмистую корзину из необшкуренного ивняка.

Приглядываясь к земле, Фатей обогнул заросли можжевела, и здесь, среди старых чешуйчатых сосен, он увидел человека с граблями. Агдам!

Сергей сосредоточенно ворошил игольник. Он сразу же почувствовал человека за спиной, быстро оглянулся и, не здороваясь, спросил:

– Ну как грибки? Попадаются?

Фатей улыбнулся и ответил излюбленной фразой Сергея:

– Грибов полно. Только отыскать нужно...

Агдам весело блеснул металлическим зубом:

– Что верно, то верно.

Он подгрёб к ногам рыжеватый валок и осторожно поворошил:

– Небось, всё ножичком пользуешься? А я решил на грабли перейти. Целую корзину боровиков нагрёб!

– Вот как... – сказал Фатей, оглядываясь по сторонам. Он увидел возле куста орешника тележку, заполненную доверху хвоей, и широко улыбнулся: – А стоило ли тебе с деревянными граблями связываться? Не лучше ли сразу на конные перейти?

Агдам тоже заулыбался.

Они поняли друг друга, и, похоже, упоминание Фатеем канувших в прошлое конных грабель по-особому расположило Агдама к новому дачнику: сразу видно, что свой человек, от земли.

Агдам посерьёзней и перестал валять ваньку:

– Вот решил ягоды игольником обложить...

На следующий год Фатей воспользовался подсказкой Агдама. Он обложил землянику сосновой иглой и не разочаровался: хвоя хорошо пропускала дождевую влагу, заглушала сорняки, а ягода вызревала на подстилке сухой и чистой, без какой-либо гнили и плесени.

С той памятной встречи между грибными охотниками завязались тёплые отношения, похожие на дружбу.

Агдам жил на птичьих правах у Веруньки, однако и не забывал родную мать. Он помогал ей как мог: пахал, копал, косил, заготавливал на зиму дрова, но всеми силами сторонился прополки: «Не мужичье это дело...»

Курсируя по деревне от Веруньки к матери и обратно, Агдам, бывая навеселе, не прочь был завернуть для разговора к Фатею.

– Иваныч, где ты? – кричал Агдам, отодвигая плечом калитку. – Кончай посеვნую! На перекур!

Фатей не тяготили посещения Агдама: он был ему интересен. Чего только не было в этом человеке! То покажется сорвиголовой – и чёрт ему не брат! – то удивит природной рассудительностью. То в мальчишеском хвастовстве распушит веером петушиный хвост, а иногда, поддавшись гордыне самоуничижения, наговорит на себя с три короба – и чего только он, такой-сякой, разэдакий, в своей жизни не натворил! – но не дай бог кому-то пожалеть его – только презрительно усмехнётся – или, того хуже, показать превосходство над ним, таким шлопутным и чуть ли не пропащим, – сразу выпустит ежовые колючки...

– И-иду! – откликнулся Фатей.

Он сворачивал огородную работу и, тяжело ступая, подходил к железной бочке с водой. Тщательно ополаскивал руки, протирал висевшей на заборе тряпичной, и только после этого они обменивались довольно крепкими, мужскими, рукопожатиями.

Они садились на переносную лавку. Агдам извлекал из нагрудного кармана с оторванной пуговицей жестяную коробочку с самосадам.

– Ну как дела? – интересовался Фатей. – В лес ходил?

– Набрал кое-что! – отвечал Агдам. – Комарьё заело! – Он облизывал лоскуток газетной бумаги и ловко, по-солдатски, скручивал сигарку.

Фатей не курил, но с удовольствием вдыхал сладковатый аромат домашней, крупно рубленной, махорки, напоминавшей об отце-фронтнике и о своём недолгом баловстве в молодые годы.

– И-эх, жизнь! – вздыхал Агдам. – Дома не сидится, а в гости почему-то не зовут. Так вот и живём: ползком, где низко, шажком, где склизко. То бочком, а то скачком...

Фатей улыбался: складно говорит!

– Я тебя не задымил? – спрашивал Агдам.

– Дыми, дыми... Комары будут меньше кусать!

– Ну и комарьё! – Агдам звучно шлёпал по лбу. – Совсем обнаглели! Нет, Иваныч, раньше комар другой был.

– Что же изменилось? – спрашивал Фатей.

– Как что? – удивлялся Агдам. – Раньше комар зудит возле тебя, местечко выбирает. А потом сядет тихонько, выпустит хоботок и сделает... как её?... ане... язык сломаешь!.. ане...

– Анестезию! – подсказывал Фатей.

– Вот-вот! Заморозку, проще говоря. Чтобы не больно было. А теперешний комар бьёт с налёта, как пчела, и никакой тебе заморозки. В чём дело?

– Дорогая пошла заморозка! – усмехался Фатей. – Возможно, экономят.

– Вот-вот! – охотно подхватывал Агдам. – Дорогушая! Ты знаешь, во что мне обошлась заморозка одного зуба? Сто сорок рубликов!

– Лихо! – сочувствовал Фатей.

– Вот и я про то. Кругом обираловка. Я ему говорю: «Зуб совсем раскачался. Можно и так вырвать!» А этот пузан в белом халате свое долдонит: «Нужна анастасия! А вдруг заражение?...» Нет, Иваныч, в следующий раз я Ваську-другана позову. Он запросто выдернет. Пасатижами. А сто сорок рублей на другое дело пойдут. Правильно я мыслю?

– Правильнее не бывает! – поддерживал Фатей.

Агдам умолкал, гасил окурочок о подмётку ботинка и аккуратным щелчком отправлял в крапиву.

– Вот и крапива другой стала! – продолжал Агдам. – Бывало, берёшь её по весне, а она, как шёлковая, не жжёт. А теперь кусает, словно осенняя муха.

– Похоже, озлились на нас и комары, и крапива! – заключал Фатей.

– А как не озлиться? – соглашался Агдам. – Человек хуже любого паразита. Вонзил шприцы в матушку-землю и сосёт, сосёт из неё. Говорят: нефть, а я, по простоте своей, другое думаю. Это кровь. Земная кровь. Комары из нас кровь пьют, а мы – из Земли. Как говорится, два сапога – пара. На комаров обижаемся, а у самих рыльце в пушку. Так я мыслю?

– Вполне здраво!

Поощрённый Агдам улыбался:

– Вот-вот. Как маленько заложу, меня на умственный разговор тянет. Верунька злится: «Кончай лясы точить!» А я что с собой поделаю? Каков родился, таков и есть. Дурака учить – что мёртвого лечить! Вчера по телевизору слышу: от нашей Земли какой-то гуд идёт! Сам себе думаю: «Что за гуд? Да не гуд это, а самый натуральный стон!» Неужто эти учёные мужики не додумались, что Земля – живая? Её, матушку, как сивку-бурку, холить надо, добрым овсом кормить, а мы одно усвоили: «но» да «тпру». И не только ее длинным кнутом по кострецам стегаем, а норовим ударить где больней – по животу...

Агдам пускал тугой дым на вьющихся комаров и продолжал:

– Ты слышал, Иваныч, как один цыган своего коня к голоду приучал? Со всем табором о заклад бился. Говорит: «Добьюсь своего! Приучу! Без еды вороной обойдётся!..»

Фатей знал эту байку, но ему хотелось послушать Агдама:

– Рассказывай!

– Ну слушай. Значит, поспорил цыган. Решил своему коню корм урезать. Всё меньше и меньше овса задаёт. Неделя прошла. Конь отощал, но ещё ничего, хвостом оводов отгоняет. Другая неделя прошла. Цыгана спрашивают, стало быть, интересуются: «Ну как твой конь? Приучил?» Цыган отвечает: «Потерпите маленько. Сами увидите...» Ещё два дня прошло, цыгана спрашивают: «Ну как?» А цыган вздохнул и отвечает: «Почти приучил. Вот только вчера он копыта отбросил...» – Агдам попытался рассмеяться, но смех обернулся кашлем.

Смахнув непрошенные слёзы, Агдам заключал:

– Я думаю: взбрыкнёт скоро наша сивка-бурка. Сколько терпеть? Так взбрыкнёт, что мы с её шеи кубарем покатымся! И костей не соберём. Правильно я мыслю?

– А может, все-таки удержимся? – говорил Фатей.

– Нет уж! – возражал Агдам, – Коль за гриву не удержались, за хвост не удержишься.

Покурив раз и два, Агдам, загадочно улыбаясь, подходил к забору и звал жалостливым бабьим голосом:

– Лёо-онид, а, Лёо-онид! Кончай работу, а то пупок надорвёшь!

Лёнчик вглядывался в покачивающегося за оградой человека – Агдам, ради куража, разыгрывал из себя сильно пьяного, – недовольно морщился: от Агдама он не ожидал ничего хорошего. Но делать нечего – надо было как-то откликаться.

– Здо-орово! – отвечал Лёнчик густым басом. И куда вдруг подевался его писклявый, птичий, голос.

– Лё-ончик? – удивлялся Агдам. – Ты вроде мужиком стал? Что с голосом-то?

– Да водицы холодной попил!
 Агдам хитровато прищурился:
 – Из своего колодца брал? Иль из общего?
 – Зачем мне общий, коли свой рядом?
 – Та-ак! – задумчиво тянул Агдам. – Из своего, значит. А понос ещё не прошиб?

– Чего несёшь? Какой понос?
 – Эх, Лёня-Лёня! – вздыхал Агдам, приваливаясь к забору. – Токуешь, как тетерев, и не соображаешь, с какой стороны пулынут.

Лёнчик настораживался.

А Агдама несло на всех парусах:

– Живёшь и не знаешь, что у тебя за огородом был когда-то скотомогильник. Вот и прикинь: может ли какая бактерия в колодец попасть? В грунтовые воды, а потом и в колодец? Тут, Лёня, даже не поносом пахнет, а натуральной сибирской язвой.

Лёнчик приоткрывал от удивления рот.

– Попьёшь, Лёня, и всё! – пугал Агдам. – Кранты. Как поётся в народной песне, «закрылись карие очи...» Я бы на твоём месте анализы сдал!

– Какие ещё анализы?

– Да не твои! Не торопись... Анализ воды. В эпидстанцию

– Чего плетёшь? – сердился Однорукий. – Пил бы поменьше – ерунду бы не городил!

– Это я пью? Я? – Агдам таращил глаза и вызывающе постукивал кулаком в грудь: неужто о нём речь? – Ты подумай хорошенько: когда мне пить? Родился – не пил, а помру – тем более. Я и сейчас редко выпиваю: только с воскресенья до поднесенья. Абросим не просит, а поднесут – не бросит...

– Известное дело: не бросишь! – На лице Лёнчика появлялась ехидная улыбка. – Только наливай! Мимо рта не пронесёшь! И как в такую жару люди пьют?

Агдам пожимал плечами:

– По мне что жара, что пар. Жар костей не ломит, зато бражка хорошо бродит. Водка не про нас. Мы любим квас, а увидим пиво – не пройдем мимо. И пьем мы не в одиночку, как некоторые, а в приличной компании...

– Это в какой компании?

– Компания что надо! – бойко отвечал Агдам. – Вчера выпил с тыном, а позавчера – с дрыном!

– Оно и видно! – радовался Лёнчик. – Синяк ещё под глазом не прошёл!

– Асфальтовая болезнь! – пояснял Агдам. – Не всем же молоко пить. – Он смолкал и, продолжая приглядываться, к Лёнчику, спрашивал: – Ну как, праведник, на крестный ход собираешься?

Лёнчик хмыкал:

– Какой ещё ход?

– Василиса на крестный ход созывает. Будут всем миром у бога дождя просить. Не веришь?

– Верю ежу, а тебе погожу.

– Ну сколько мне врать? – обижался Агдам. – Я иногда и правду говорю. Не веришь? Могу перекреститься. – Агдам размашисто осенял себя крестом. – Ну что? Теперь поверил?

– Как сказать... – отвечал Однорукий.

– Пойдёшь с иконой? – допытывался Агдам.
– Посмотрим... – упирался Однорукий. – У меня свой дождь на огороде. Как говорится, на бога надейся, а сам не плошай! – Он насмешливо глянул на пьяненького Агдama. – А ты-то пойдёшь?
– Я-то? – Агдам напускал на себя дурашливо-беззаботный вид. – Конечно. С полным удовольствием. Если хорошенько причастят...

В это беспощадное лето Агдам редко заглядывал на огород к Фатей. Да и о каком перекуре могла идти речь, когда едкая гарь обволакивала всю Берёзовку: наглотаешься такого курева, и на самосад не потянет.

Рассказывали, что Сергей приспособился бить кабанчиков на водопое да ловить полудохлую рыбу в прогретых до самого дна озёрах – она всплывала сама, только успевай подгрести сачком...

Фатей думал об Агдаме, и всё чаще и чаще его охватывало необъяснимое чувство тревоги – казалось, грозовая туча сгущалась над головой Сергея и могла в любое мгновение разразиться смертельной молнией, Фатей пытался найти разгадку нарастающего беспокойства в своих обрывочных, забывающихся под утро, снах. Но почему-то не откликались высокие небеса желанным вещим сном, и Фатей осторожно, так, чтобы в нём не заподозрили человека, способного накликать беду, продолжал спрашивать деревенских об Агдаме: где он и что с ним?

Всё прояснилось в последний день июля-страдника, когда Фатей, вставший пораньше, решил обкосить приствольные круги яблонь...

Ах, как празднично, вселяя надежду, цвёл в этом роковом году его яблоневоый сад! Казалось, каждая яблоня была окутана бело-розовым душистым облаком. Облетали нежные лепестки, заматая разрыхлённую еще по осени землю, и на ветках, в молодой глянцевоитой листве, появились завязи с серебристым пушком и едва заметным окрасом.

Одни завязи набирали силу, другие, уступая им, тихо отмирали. В этом не было ничего удивительного. Таковую картину Фатей наблюдал из года в год. Но в это засушливое лето стали опадать завязи, которым в другую погоду следовало ещё жить да жить. А потом, не дождаввшись срока, стали срывать с веток и незрелые яблоки.

Фатей и Аннушка едва успевали собирать опавшие плоды – они быстро покрывались коричневыми пятнами, гнили, привлекая расплодившихся, как никогда, мух – и уносить за огород, в заранее приготовленную яму. Яму, чтобы отвадить мух, присыпали землёй.

Трава в приствольных кругах мешала собирать опадь. Потому-то и взялся Фатей за острую косу. Он старался размахивать литовкой повыше, нажимая на пятку, но дело толком не шло: мешали комковатая земля и бугристые прошвы, проделанные кротами. Помучившись, Фатей решил перейти на серп, доставшийся ему от прежних хозяев, – как предполагал Фатей, этим серпом могли убирать рожь, полёгшую после дождей. Фатей не выбросил казавшийся ненужным серп, и вот теперь он ему пригодился.

Он брал за вихры длинную спутанную траву и аккуратно подрезал. Орудие с мелкими зубчиками работало на славу. Увлёкшись необычной сечкой, Фатей не сразу обнаружил появление Агдama. Только успел заметить, как у дальней грушовки мелькнула чья-то фигура...

Держась правой рукой за яблоневоый ствол, стоял Агдам. Был он в лёгкой тельняшечке, в зелёных камуфляжных брюках с множеством карманов и карманчиков. На голове его возвышалась горшком травянистая панамка.

– Фф-атей Ив-ваныч, здорово! – одеревенелым языком проговорил Агдам. – Можно тебя на минутку... Извини... Я не форме! – Он прижмуривал глаз, разглядывая свисающий сук с яблоками. Пошарив рукой в листве, Агдам схватил ускользящий от него плод и небрежно сунул в карман.

Фатей нахмурился: в таком непотребном виде Агдам никогда не приходил. Держа серп, он подошёл к Сергею и молча пожал протянутую руку.

Рука Агдама была непривычно слабой, потной, жаркой – казалось, она горела в невидимом огне. И сам Сергей был какой-то взъерошенный, необычный. Он то и дело беспокойно оглядывался по сторонам.

– Жнёшь? – попытался шутить Агдам.

Фатей бросил серп на горку срезанной травы и показал рукой на скамейку: что ж, пойдём поговорим! Он шёл и думал: какая же нужда привела Агдама в столь ранний час? может, решил стрельнуть деньжонок на опохмелку? – Однажды было и такое...

Агдам сел на край скамейки к едва не грохнулся вместе с ней – хорошо, что Фатей, наблюдавший за ним, вовремя подсел.

– Садись поближе! – подсказал Фатей. Продолжая хмуриться, поинтересовался: – Что отмечаем? День пограничника?

Агдам усмехнулся:

– Скорей дивер... диверсанта! Иваныч, извини...

Агдам скособочился, забираясь в карман. Фатей подумал, что тот, как обычно, полез за куревом, однако на этот раз Сергей извлёк плоскую фляжку, отвинтил дрожащими пальцами крышечку и приложился жадно, словно голодный телёнок к материнскому соску.

– Ф-фу, зараза! – тяжело выдохнул Агдам. – Неужто на табаке? До кишок продирает! – Кривя лицо, он надкусил яблоко. Жевал медленно – словно беззубый.

– Вата! – сказал Агдам и бросил огрызок к забору. – У меня где-то вобла была! – оживился он и стал проверять карманы. Ничего не нашёл. Удивлённо развёл руками и проговорил: – Уплыла золотая рыбка... Иваныч, извини!

Фатей терпеливо ждал, что будет дальше. Должен же он в конце концов объяснить, зачем пришёл-пожаловал? Но Агдам тягостно молчал – только крутил головой по сторонам да вытирал губы. Фатея так и подмывало сказать просто, по-отечески: «Шёл бы ты, Серёжа, домой! Перекурим в следующий раз...»

Фатею надоело играть в молчанку.

– Что случилось? – спросил он.

– Мм... матушка умерла, – выдавил Агдам. Помедлив, добавил: – Сегодня...

– Умерла? – переспросил Фатей.

– Тсс! – Агдам испуганно приложил палец ко рту. – Тише, Иваныч! Между нами...

– Как это случилось? – негромко, приглядываясь к Сергею, спросил Фатей. – Болела?

– Думаю, жара доконала.

– Н-да... – задумался Фатей. – Такая жара кого хочешь доконает... – Он пытливо глянул на Сергея.. – Врача ещё не вызывал? Не успел?

Агдам усмехнулся:

– Зачем врача?

– Как зачем? Зафиксировать смерть.

– А, может, не стоит её фиг... фиксировать? – Агдам отвернулся.

– Как это не стоит? – удивился Фатей.

И снова Агдам приложил указательный палец к губам:

– Тсс, Иваныч! Я же просил. Между нами...

Фатей пожал плечами.

– Да ты не беспокойся... – сказал Агдам и замолчал. С отвращением на лице пососал из плоской фляжки, вытер ладонью ало загоревшиеся губы и заговорил медленно и как-то отстраненно – казалось, он так и не поверил до конца в случившееся. – Я к матушке... перед этим... на прошлой неделе заходил. Нужно было бредешок взять. Хороший бредешок. Своими руками вязал. Порыбачить решил на Свято... – Голос Сергея потеплел. – Отличная вода на Свято! Остальные озёра прогрелись, протухли, а Свято, слава богу, ничего... Его родники спасают. Да-а, родники... – Он помолчал и стал медленно продвигаться к самому тяжёлому и неприятному. – Ну ладно! Проснулся сегодня рано. Попили с Верунькой чайку. Она говорит: «Поправь забор возле старой груши!» Ладно! Пошёл я на огород. Только укрепил столб, и вдруг голос: «Серёжа!» Такой жалостливый, аж душу пробирает. Мать! Бросил я лопату и к себе домой. Толкнулся в дверь – заперта. Постучал в окно, подождал. Никто не открывает. Решил двором пройти... Вхожу: а матушка под простынкой лежит и руки на груди сложила. Я ей: «Мам-мам!» А она молчит, не слышит. Потрогал руку – ещё тёплая. Не остыла, стало быть. В такую жару нескоро остынешь! – Агдам вздохнул и пристально поглядел на Фатея. Словно убедиться хотел: верит тот ему или нет? – Вот такие дела, Иваныч! У меня голова кругом пошла. Что делать? Полез за божницу. Там мать деньги обычно хранила. Смотрю: а в конверте всего три сотенки, три бумажки. Ко-ошмар! На что хоронить? Сегодня тридцать первое. Лиза Почтальонка пенсию третьего принесёт. Принесёт-то принесёт, да что толку! – Он озабоченно глянул на Фатея. – Я у тебя поинтересоваться хочу: положена ей пенсия за август или нет?

– Нет... – вздохнул Фатей. – Не положена.

– Вот и я подумал: не положена. Эх, матушка-матушка! – Агдам взволнованно закурил, роняя на ладони искры. – Не дожидка до августа, не дотянула...

– Неужели гробовых не накопила? – спросил Фатей.

– Как же не накопила? – возразил Агдам, – Конечно, накопила. И бельишко на тот свет собрала. – Только вот... – Он глубоко затанулся. – ... деньжонки эти несчастные у неё в городе, на сберкнижке. А доверенности... доверенности у меня нет. И-эх! – Он замотал головой так, что зелёная панамка слетела. Нагнулся за ней, но не надел. Положил рядышком, на скамейку. – «Берия! Берия! Вышел из доверия...» – припомнил он частушку хрущёвских лет. С горечью признался: – Я одно время стал крепко поддавать. Что было, то было. Вот матушка и подумала: пропью её гробовые! Господи! Неужто я мог до такого докатиться? Гробовые пропить? Да никогда!.. – Сергей помолчал и подозрительно глянул на Фатея. – Ты, может, думаешь, что я сейчас её деньги, ну те, из конверта, пропиваю? Нет, Иваныч! На свои выпил. Завернул с горя к Галчихе. Она всегда самогон держит. Грохнул стакан, заправил фляжку. Ты думаешь, я для вина эту фляжку таскаю? Нет, Иваныч! Там зелёный чаёк был... – Насупившись, Сергей потянулся к нагрудному карману. – Подожди, Иваныч! Я тебе три бумажки покажу. Ну те, из конверта...

– Не надо! – сказал Фатей. – Верю!

Агдам успокоился, покосился на свою панамку. Она лежала донцем книзу – словно шапка на паперти. Он перевернул её и тихо заговорил:

– Ты не думай, Иваныч... Я не за деньгами к тебе пришел. Занять – дело нехитрое. Мой дедушка Пётр говорил: «Заниматься, что побираться...»

– И что же ты решил? – спросил Фатей.

– А что тут решать? За меня нужда решила. Полежит матушка до третьего числа. Пока пенсию не принесут... – Агдам старался говорить уверенно – будто убеждал себя в правильности решения. – Ничего... Полежит... Она у меня сухонькая. Не испортится! – Он задумался и стал перебирать числа.

– Значит, так. Умерла тридцать первого. Послезавтра крестный ход... – Он встрепенулся. – Матушка на крестный ход собиралась. И меня уговаривала: «Сходи, Сережа, не ленись! Авось ноги не отсохнут...» Эх, матушка-матушка, не дождалась ни пенсии, ни крестного хода! – Агдам скривил лицо. Казалось, вот-вот заплачет. Но как-то сумел удержаться, переморгал свою боль. – Ничего, матушка... Потерпи до третьего числа. Свою пенсию ты горбом заработала. И с какой стати я её подарю?

– А отдаст ли Лиза тебе пенсию? – засомневался Фатей.

– Отдаст. Куда она денется? Я её на крыльчке подожду...

– А после и врача вызовешь?

– Не беспокойся, Иваныч! Всё будет чин чинарём!

Но Фатей не успокаивался:

– И врач поверит, что она третьего умерла?

– Поверит. Какая ему разница, когда умерла? А если вдруг ноздрей завозит, брошу денежку в лапу. Думаешь, не возьмёт?

Фатей покачал головой:

– Ну, не знаю. Не знаю... Меня другое беспокоит: как она пролежит до третьего числа? В такую-то жару?..

– Что-нибудь придумаю! – продолжал хорохориться Агдам. – За формалин не ручаюсь, но льдом запросто могу обложить.

– Каким льдом? – удивился Фатей.

– Самым обыкновенным. У меня есть друган, охотник. Так он на лето свой погреб льдом набивает.

– Ну ты даёшь! – поразился Фатей. – А что с похоронами будешь делать? Ещё два дня будешь ждать, чтобы похоронить по-христиански?

– Похороню четвертого. Сошлюсь на жару. Жара всё спишет.

– Как война? – усмехнулся Фатей.

– Ну вроде этого...

– Обычно монашек на второй день хоронят! – сказал Фатей.

– Она и жила, как монашка! – обрадовался Агдам. – В бога верила, на чужое не зарилась.

– А когда родню будешь собирать? Успеешь с поминками?

– Какая теперь родня! – поморщился Агдам. – Рассыпали муку по разным сусекам...

Агдам чуть-чуть привстал и натужно закрутился, проверяя карманы. Набухли вены на шее. Казалось, он пытается выбраться из собственной кожи.

– Нашлась золотая рыбка! – удивлённо выдавил Агдам и показал Фатею небольшую, с палец величиной, краснопёрку. – Плыви, родимая! – грустно сказал он и бросил вяленую рыбёшку в крапиву.

Растяжисто зевнула дверь на соседнем огороде. Послышался сдержанный кашель. И в открывшемся проёме двора появился пригнув-

шийся под притолокой Лёнчик. Его жилистую шею неплотно обвивали водяной шланг, электропровод и тонкий металлический трос-держатель. В сочетании с соломенной ковбойской шляпой поливальное снаряжение Лёнчика очень походило на лассо.

– Физкульт-привет! – весело крикнул Лёнчик.

Фатей что-то пробормотал в ответ.

– Привет фермеру! – откликнулся Агдам и опёрся обеими руками на скамейку. Видимо, хотел встать и подойти, как обычно, к забору, чтобы пособачиться, но не смог. – Ну как хомут? Ещё не натёр холку?

– Своя ноша не тянет! – сказал Лёнчик и поправил на плече ребра-стную, обёрнутую изолентой, бобину насоса.

– Ну смотри!.. – медленно, с той долей таинственности, которая всегда гипнотизировала Лёнчика, проговорил Агдам. – Смотри, Лёня!.. – Он прищурил красноватые, казавшиеся большими, глаза, – Тебе, случаем, селитра не нужна?

– Какая ещё селитра! – обиделся Лёнчик. – Я что, террорист? Налил глаза с утра и людям мозги канифолишь!

– А ты не шевель чужой шавель! – ошетинился Агдам. – Сперва на себе репы обери.

– Чем по чужим дворам шляться, лучше бы матери помог! – учил Лёнчик. – Она небось замучилась ведра таскать!

– Не волнуйся. Помогу! – глухо сказал Агдам и замолчал, ушёл в себя.

Лёнчик потоптался на месте и бросил напоследок:

– Ну какой дурак пьёт с утра? В такую-то жару...

Агдам ничего не ответил – это было так не похоже на него. Покусал припухшие, как после удара, губы, и тихо проговорил:

– Ничего не понял, дурак. Селитру всегда в почву закладывали.

– Аммиак? – догадался Фатей.

– Ну да! – подтвердил Агдам и, усмехнувшись, передразнил Лёнчика. – Какая ещё селитра? – И, покачав головой, добавил: – Ещё в милицию стукнет! Фермер долбаный.

Он понурился, опустил плечи. Потом встряхнулся, поднял голову и, понукая себя, несколько раз повторил: «Ну, всё! Я пойду...» Но почему-то не уходил, а только дёргался, словно тягловая лошадь, угодившая в трясины. «Надо идти, Иваныч! Надо, Ты не беспокойся...» Он смотрел на Фатея остро, осмысленно – будто и не прикасался к зелью. Только карбидный душок изо рта выдавал его.

Наконец Агдам отлип от скамейки, нахлобучил на голову панамку и, прежде чем уйти своим бесшумным лесным шагом, бросил вместо прощального «до увида» напоминающее:

– Между нами, Иваныч...

Открывая калитку, обернулся:

– Нагрузил я тебя... Извини!

Он исчез, а Фатей, сгорбившись, продолжал сидеть на неустойчивой, готовой опрокинуться в любую минуту скамейке. Он ставил себя на место Сергея и старался, не избегая деталей, представить, что тот будет делать в ближайшее время. Пожалуй, как и обещал, к Галчихе не завернёт, а направится к своей Веруньке и постарается заняться забором. Хорошо, если Вера не заметила его отсутствие. А если обнаружила, что мужик внезапно исчез? Куда ушёл? Зачем? Агдам завертится, как щука в мотне, начнёт что-то сочинять. Про смерть матери, конечно, не проговорится. А что дальше? Будет тянуть до третьего, до пенсии? Может,

передумает? Едва ли... Хорошо, если последние полгода Евдокия Ивановна наблюдалась в больнице. Проще будет со справкой. А вдруг у Сергея были проблемы с милицией? Тогда и врачом не обойдёшься...

Фатей размышлял. Его рассеянный взгляд то и дело скользил по рыбёшке, повисшей на крапиве. Краснопёрка напоминала о Сергее, будоражила мысли о нём. Невольно, присматриваясь к рыбёшке, Фатей вспомнил свою давнюю рыбалку.

Тогда, в жаркое время, он обкладывал свежую рыбу крапивой. Чтобы не испортилась. Он представил свой улов, уснувший в крапиве, и не сразу понял, почему его потянуло на рыбацкие воспоминания. Проще всего это можно было объяснить краснопёркой, брошенной Сергеем в крапиву. Но вслед за рыбой в спасительной крапиве на него вдруг повеяло-потянуло острым холодком льда, которым Агдам собирался обложить мать-покойницу, и Фатей устыдился за нелепый, даже в чём-то кощунственный, ход мыслей.

Он потёр глаза и, когда их открыл, обнаружил, что смутившая его краснопёрка исчезла. Раскачавшись, Фатей с усилием встал. Потёр занемевшие колени и медленно подошёл к крапиве. Поворошил зубчатые листья ботинком, а потом, взяв подвернувшийся под руку сучок, раздвинул травяные заросли в глубине...

Краснопёрка пропала, словно и впрямь уплыла по велению Сергея. Фатей пожал плечами. Ему сейчас не хотелось думать об этом удивительном, необъяснимом исчезновении: нет – значит, нет, и не стоит ломать напрасно голову.

С исчезновением краснопёрки Фатей стал понемногу успокаиваться. Осваиваясь в привычном для него житие-бытье, он начинал видеть и слышать то, что на время закрылось от него глухой пеленой.

В саду по-прежнему опадали яблоки. Срываясь с мёртвых черенков, они шуршали в суховатых, с изогнутыми краями, листьях, постукивали о мшастые, в трещинах, сучья и выбивали дробь в тех местах, где Фатей только что покосил-пожал траву. Эта дробь походила на звуки крупного града, который когда-то поразил огород Ленчика и каким-то чудом обошёл участок Фатея.

За стуком падающих яблок Фатей так и не расслышал тихое похрустывание за забором – это изголодавшийся кот Васька догрызал краснопёрку...

Нужно было отвлечься от тяжёлых мыслей, найти какое-то успокоение в работе. Потоптавшись, Фатей снова взялся за горбатый серпок. Он смахнул траву под яблонями, а потом, неожиданно для себя, принялся за починку лестницы, которая могла ему пригодиться при ремонте дворовой крыши. Старое рубероидное покрытие кое-где прохудилось и во время дождей давало течь. Фатей давно беспокоила крыша: – Пора чинить! Уже стропила крошатся из-за влаги! – но, отвлекаясь на другие дела, он откладывал кровельную работу на неопределённый срок. И вот теперь, когда дождя не было и как будто не предвиделось, Фатей вспомнил о худой крыше. Ещё предстояло запастись рубероидом и битумом, а он затеял работу, которая могла сейчас показаться не просто странной, но и нелепой: стоило ли в такую жару опасаться дождя? да пусть себе льёт изо всех щелей!

Он починил лестницу, забрался по ней на крышу и довольно долго изучал места протечки – самые коварные из них оказались на стыке железных листов и рубероида. Чуть отдохнув, Фатей принялся заделывать садовым варом трещины на коре старых груш...

Подходило время обеда. Аннушка несколько раз выходила на огород, звала его: пора! А он продолжал твердить своё: подожди! И с особым усердием, словно подстёгнутый, работал шпателем.

Аннушка, отчаявшись оторвать мужа от работы, демонстративно задерживалась у него за спиной.

– Сейчас! Сейчас! – говорил он. – Не стой над душой!

Тревога за Сергея почему-то вспыхнула с новой силой.

Фатей даже был готов рассердиться на пристающую Аннушку. Рассердиться с единственной целью – скрыть за этим раздражением не покидающее его беспокойство.

– Подожди немного. Я сейчас...

Придя домой, он долго, почти не пользуясь водой, звенел стерженьком умывальника. Скорее не умывался, а тщательно разглаживал своё невесёлое лицо.

Разливая крошку по тарелкам, Аннушка мельком взглянула на мужа:

– Что с тобой?

Он удивлённо посмотрел на жену и ответил с подчеркнутым безразличием:

– Устал. Обычное дело.

Аннушка помолчала. И вдруг спросила:

– Как там тётя Дуся?

И без того влажноватый лоб Фатей покрылся горячей испариной. Теряясь, переспросил:

– Евдокия Ивановна?

– Ну да! – ответила Аннушка.

Он впился в неё острым непонимающим взглядом: что за вопрос?

– Я слышала: ты с Сергеем разговаривал... – пояснила Аннушка.

– А-а, Сергей, – приходя в себя, проговорил Фатей. – Да, заглядывал... – И тут же, помешивал крошку, нашёлся: – Приболела Евдокия Ивановна. Что тут поделаешь? И возраст, и жара...

– Да, жара! – согласилась Аннушка.

Фатей почувствовал, как запершило в горле. И так мучительно захотелось холодной колодезной воды.

В этот вечер Фатей собирался принести из колодца десять вёдер воды. Восемь – для огородного полива, два – для мелких постирушек, которые затеяла Аннушка. Эти два дополнительных ведра ставили Фатей в неловкое положение.

Бичом для всех водоносов стала Лукерья Сидорова. Старушка жила одиноко в своей небольшой избёнке как раз напротив колодца. Ходила на редкость плохо – жаловалась на отложение солей в суставах, – однако зоркостью бог её не обидел. Забросила бабушка свой огород, и если брала воду из колодца, то прежде всего на свой любимый зверобойный чаёк. Принесет старушка одно ведёрко в свою затенённую от солнца избу и снова займёт насиженное местечко возле распахнутого окна – за другими ведра считает. Мерещится бабушке Лукерье, что даже по ночам натужно поскрипывает ворот и тихо, по-воровски, позванивает колодезная цепь.

Каждый раз, появляясь у колодца, находит «бабушка в окошке» какой-нибудь огрех:

– Ишь как цепь перекрутили! Не распутать...

– Воды-то сколько расплескали! И куда торопятся?

– Черпают и черпают! Всю воду замутили.

Фатею непонятно, из-за чего весь сыр-бор: перекрученную кем-то цепь легко поправить, помутневшая вода отстоится, ну а если и расплескали воду, то, как говорится, всего ничего – только воробью напиться. И всё же, выслушивая старую Лукерью чуть ли не каждый день, и Фатей начинает проникаться ненужными подозрениями. Такое чувство, что какая-то тёмная сила, пользуясь бездождем, пытается смутить и его душу...

На этот раз вышел Фатей с вёдрами прямо из дома, а не со стороны огорода с полураспахнутой калиткой. Это означало, что он будет брать воду для домашних нужд, а не для очередного полива. Глянул Фатей напротив: застыла Лукерья в своём открытом окошке, среди душистых гераней, ждёт – не дожждётся вечернего водоноса.

«Может, заснула? – с надеждой подумал Фатей – Жара сморила?»

Нет, не заснула на своем боевом песту «бабушка в окошке» Беспкойно шевельнулась и даже свои зоркие глаза, уставшие от постоянного напряжения, протёрла ладонью.

Сопровождая свободной рукой убегающую цепь, Фатей с нетерпением дожидался далёкого всплеска. Долго раскручивалась цепь – казалось, она уходит в бездну. Когда ведро булькнуло, на барабане осталось только три кольца.

Осторожно, боясь расплескать воду, Фатей потянул ручку на себя. Заметил, как привстал «бабушка в окошке», наблюдавшая за ним.

Отнёс Фатей воду прямо в избу, спустился по ступенькам во двор и уже появился возле колодца с другими, хозяйственными, вёдрами. Ещё четыре раза придёт он к колодцу, восемь вёдер принесёт на свой заморённый огород, не мало это, но и не много, во всяком случае есть надежда, что бабушка Лукерья не отнесёт его к самым злостным расхитителям общественной воды.

Незаметно образовалась очередь из трёх человек. И, что удивительно, почти одновременно с Фатеем к колодцу подошёл Однорукий с двумя большими вёдрами – лицо недовольное, пыхтит, словно засорившийся тракторный движок. Фатей ответил кивком на его приветствие и пропустил вперёд: пусть наливает поскорее, лишь бы не отсвечивал!

Но не успел Фатей убрать вёдра с приступка, как у него за спиной снова замаячил Лёнчик.

– Баню, что ли, надумал топить? – спросил Фатей.

– Какая на хрен баня! – воскликнул Лёнчик. – Теперь и без бани напаришься! – И, не удержавшись, признался: – Вода из колодца ушла!

– Ну и дела! – посочувствовал Фатей.

– Хужей, чем у прокурора! – вздохнул Лёнчик. Он помолчал и с натянутой улыбкой добавил – будто похвалился: – И насос вдобавок накрылся! Перегорел!

Лёнчик пригнулся, отправляя ведро в колодец. И показалось Фатею, что его сосед словно уменьшился в росте, стал вровень с другими людьми, приходящими к старому колодцу.

Как только староста Василиса заговорила о крестном ходе, старожилы сразу же поддержали её: да, надо! вот только народ собрать непросто... Стали прикидывать, загибая пальцы, кто наверняка пойдёт, а кто, пусть и под благовидным предлогом, откажется,

Фатей раздумывал. В сравнении с городскими шествиями будущий обряд представлялся ему каким-то доморощенным действием и даже напоминал древнее волхованье. Смущало его и то, что обряд будет совершать не священник, а простой деревенский мужик Никанор Комлев. Говорили, что дед Никанора был до революции известным в округе дьячком-причётником и многое по части веры сумел передать своему внуку.

Василиса не спрашивала Фатей и Аннушку, присоединятся ли они к процессии. Однако по тому, с каким теплом и уважением она рассказывала им об определившихся участниках хода – «Даже дядя Макарь собирается. Нога осколком покалечена, а он ничего, хорохорится: «Пехоте не привыкать! Одолею и этот марш-бросок!»» – можно было догадаться, куда клонит староста.

Время подпирало. Фатей волновался, нервничал. И больше всего досадовал на самого себя: «Ну сколько можно сомневаться!»

Похоже, и Аннушка испытывала противоречивые чувства. Она терпеливо помалкивала и не торопила мужа с решением. Однако по его настроению, отдельным словам, сказанным как бы между прочим, вскользь, догадывалась о том, что творится в душе Фатей, и за два дня до крестного хода спросила спокойно, словно речь шла о давно решённом:

– Возьмём икону Спасителя?

Фатей внимательно посмотрел на жену и согласился:

– Конечно, Спасителя.

И даже посоветовал:

– Поищи старые сапожки. По паханому придётся идти.

В ночь перед крестным ходом Фатей и Аннушка дольше обычного не ложились спать. Аннушка решила затеплить свечу перед ликом Спасителя. Но, как на грех, стеариновая свеча в божнице подтаяла и изогнулась. Фатей очистил чёрный фитилёк, попытался выправить свечу, но она продолжала клониться. И тогда он решил спрятать мягкую свечу в морозильное отделение холодильника – пусть полежит там некоторое время, затвердеет.

– Голь на выдумку хитра! – улыбнулась Аннушка.

Она убрала паутинную кисею в красном углу, протёрла древнюю икону подсолнечным маслом. В её домовитых движениях проглядывало что-то праздничное, пасхальное.

Фатей взял переполненное ведро из-под умывальника и вышел в сад, чтобы выплеснуть воду под смородину.

В траве стрекотали сверчки. Монотонно постукивали яблоки.

Он долго смотрел на подкрашенное закатными лучами мутное небо, пытался найти хотя бы одну лучистую звёздочку, которая могла бы снять тяжесть с души от этой гнетущей беспросветности. И, не найдя в небесах путеводного огонька, он перевёл усталый взгляд на верхушку высокого вяза.

Ветки вяза облюбовали скворцы. Как обычно, в предосенье, готовясь к долговому перелёту, они сбивались в стаи. Разминали старые крылья, учили неопытных слётков. Вот и теперь, вдоволь налетавшись, они отдыхали близ своих скворечен. Но и сейчас, отдыхая, скворцы вели себя беспокойно, суетливо: слётки, стараясь найти опору понадежнее, то и дело перебирали крючковатыми ногами – казалось, они, потеряв равновесие, вот-вот упадут на землю, а матёрые птицы, опасаясь за молодых, махали крыльями и перепрыгивали с ветку на ветку.

Фатей, наблюдавший за своими скворцами из года в год, не мог не заметить, как оскудели этим летом птичьи стаи. Большие птицы отощали, утратили здоровый блеск чёрных крыльев, а их заморённые, чудом выжившие птенцы летали вяло и норовили задержаться на первом попавшемся дереве.

Постоянно перемещаясь, скворцы так раскачали верхние ветки вяза, что Фатей, как ни старался, как ни приглядывался, не мог угадать направление ветра...

Только вернувшись с улицы, можно было понять, насколько сильно нагрелась за день сосновая изба. Фатею показалось, что из предбанника он угодил в самую настоящую баню.

Аннушка легла спать. Фатей полистал отрывной календарь, посмотрел на часы и решил проверить вылепленную им свечу.

Свеча затвердела, покрылась матовым инеистым налётом. Фатей поправил пристывший фитилёк и осторожно поставил свечу у божницы.

Свеча загорелась ровно, спокойно, осветив живые, поблёскивающие на тёмно-коричневом фоне, глаза Спасителя. Фатей задумчиво смотрел на икону, слушая разлившуюся вокруг него глубокую скорбную тишину, и вдруг ему зримо представилась, настолько зримо, что он вздрогнул от неожиданности, женщина под белой простыней со скрещенными на груди руками.

Евдокия Ивановна! Тётя Дуся... Лежит, бедная, одна-одинёшенька в своей тихой избе, и перед ней тускло светится большое зеркало, вставленное в дверцу шифоньера – Сергей наверняка не догадался завесить.

Что ощущает в минуту расставания со своим бранным телом человеческая душа? Удивление? Страх? Наверное, и то и другое. Потому-то близкие люди, провожая в иной мир освободившуюся от земных пут душу, стараются не оставлять умершего одного ни днём ни ночью.

Фатею стало не по себе. Он вдруг почувствовал себя виноватым перед Евдокией Ивановной и вместе с тем не мог понять, в чём заключается его вина.

Неуклюжей, будто сведённой судорогой, рукой он тяжело перекрестился и произнес:

– Господи!

Он не знал, что будет делать, но ему мучительно хотелось помочь усопшей.

– Господи! – прошептал Фатей. – Упокой душу рабы Твоей, Евдокии! Прости ей прегрешения, вольные и невольные...

Он не знал зауспокойных молитв, однако ему доводилось присутствовать при отпевании. И теперь вспомнившиеся канонические выражения, смешанные со своими словами, зазвучали в его устах.

– Боже, милостивый, прими усопшую в Царство Твоё Небесное! Обогрей её душу...

Фатей заметил, как испуганно заметалось пламя свечи. Красноватые, как отблески пожара, блики заскользили по древней иконе, и живые глаза Спасителя глянули на Фатея с укоризной.

И Фатей пристыженно замолчал. Только выдохнул:

– Прости, Господи!

Он не мог понять, почему его искренние слова вдруг оказались негодными Богу.

И, как только он сомкнул свои уста, свеча обрела ровное горение.

Стараясь не скрипеть половицами, Фатей прошёл в комнату-опочивальню. Аннушка лежала на спине, положив на грудь скрещенные

руки. Фатей замер. Ему показалось, что Аннушка не дышит. Он подошёл ближе...

– Ты спишь? – не выдержал Фатей.

Аннушка зашевелилась, что-то пробормотала.

– Спи! Спи! – тихо сказал Фатей.

Казалось, он успокаивает жену. А на деле успокаивал себя.

Вот и наступил Ильин день, день крестного хода. К восьми утра к деревенскому колодцу, месту сбора, потянулись просто одетые люди с иконами и без икон. Первой, как и ожидалось, пришла староста Василиса с мужем Гаврилой. Василиса держала на вышитом красным и чёрным крестиком рушнике икону Богородицы, а Гаврила, стараясь не наступать величаво шагающей жене на пятки, нёс ведёрко с берёзовым веником – казалось, он настроился не на крестный ход, а на обычную помывку в бане.

Пробежал по деревенскому порядку подросток Митя Блаженный с медным колокольчиком. Радостно улыбаясь, Митя названивал во все концы и кричал:

– Перемена! Перемена!

Митя созывал людей на крестный ход. Огибая затянутый ряской пруд, Митя натолкнулся на идущего к колодцу Стёпу Пчельника. Стёпа, недолго думая, схватил своей медвежьей хваткой горлана за шиворот и, устрашающе вращая глазами, прогудел:

– Чё орёшь, чудик? Чай, не в школе.

Но Митя, сын школьной уборщицы Домны, – начальную школу в Берёзовке закрыли вскоре после разгона колхоза – продолжал упираться и кричать:

– Перемена! Перемена!

Дружнее всех к колодцу сходились местные, деревенские. К удивлению многих, пришли две москвички, Лада и Алина, в светлых брючных костюмах, с картонными иконками, которые висели у них на груди. В руках молодых женщин были цветастые рулончики зонтиков. Всё это – и картонные квадратики на груди, и рулончики, похожие на эстафетные палочки, – наводило на странную мысль, что женщины приготовились к спортивному забегу.

Старый Макар, приглядевшись к москвичкам, многозначительно хмыкнул, но ничего не сказал.

Зато Василиса не смолчала:

– Зря вы туфельки надели. Только пыль черпать...

Из ближнего прогона вынырнул Лёнчик Однорукий. Без иконы, с длинной суковатой палкой. С этой палкой Лёнчик не только хаживал в лес по грибы, но и бродил по деревне: возможно, остерегался неравнодушных к нему собак, а может, следовал давней привычке.

Лёнчик задумчиво покружил возле мшастого колодезного сруба, пошевеливая сизоватыми, как нездоровшая слива, губами, – казалось, он просто так, на всякий случай, пересчитывает собравшихся, – а затем подошёл к Стёпе Пчельнику. И сразу же негромко, так, чтобы не слышали другие, повёл деловой разговор:

– Скоро медовый Спас. Мне бы литрик свежачка. По сходной цене.

Стёпа отнекивался.

Дачница Полина Суворова поставила икону на приступок колодца и занялась волосами внучки. Она заплетала пшеничную, почти до пояса, косичку и терпеливо уговаривала:

- Иди домой. С нами нельзя.
- Почему нельзя? – хныкала Алёнка.
- Устанешь! Да и ноги собьёшь!
- Да не устану. По деревне бегаю – не устаю.
- Там дикое поле – не деревня. Что я с тобой буду делать, если устанешь? На закорках понесу? Мне дай бог, самой ноги дотащить...
- Ну возьми. Я дойду.

Фатей внимательно присматривался к собравшимся. Он старался увидеть в них что-то особенное, значительное – всё же на крестный ход пришли, а не на собрание по поводу вывоза домашнего мусора, но люди держались на редкость просто и буднично. Судя по разговорам, их больше всего занимал ветер, налетевший ночью на деревню и натворивший немало дурных дел: у кого-то завалил забор, у других погнул антенны... У Вали Стряпухи ветер бесстыдно, до голызы, задрал край железной крыши, а Нюра Кочнева с трудом обнаружила парниковую плёнку, оказавшуюся на самой верхушке липы.

Но, разочаровываясь, Фатей замечал и другое: люди, собравшиеся у колодца, с каким-то особым вниманием, даже теплом, приглядывались друг к другу – казалось, крестный ход, ещё не начавшись, исподволь объединял их, ставил по одну сторону, как солдат при обороне.

Фатей заглянул в ведёрко Гаврилы. Заметил, что там вода.

– Крещенская! – пояснил Гаврила. – Трёхлитровую банку перелил.

Василиса присматривалась к задумчивому Фатею и неожиданно спросила:

– Дуся-то пойдёт? Вроде собиралась...

У Фатея перехватило дыхание: с какой стати она спрашивает именно его? Не отрывая от Василисы удивлённых глаз, он с трудом подбирал слова.

– Приболела. Скорее всего, не пойдёт! – прозвучал негромкий голос.

Но это сказал не Фатей, а Сергей, оказавшийся у него за спиной. Фатей даже не заметил, как тот подошёл со своей Верунькой.

Фатей торопливо кивнул Сергею, и этот кивок больше походил не на приветствие, а на выражение благодарности: ведь Сергей избавил его от вынужденного вранья.

Ещё раз пробежал по порядку Митя Блаженный, названивая школьным колокольчиком:

– Перемена! Перемена!

Все ждали главного человека – Никанора Комлева.

И вот на свороте дороги показалась семейная тройца: Никанор, его жена и старший внук-студент, гостивший в Берёзовке. Никанор, невысокий, кряжистый, держал в правой руке крест-распятие, рядом с ним шла дородная Марья, прижимая к груди застеклённую, в окладе, икону Богородицы, и, чуть поотстав, неторопливо шагал внук Тихон, высокий, погружённый в себя, похожий бледностью лица на монаха-затворника.

У Фатея было такое ощущение, что эти люди явились из какого-то другого мира, но их внезапное появление не тревожило его, а, наоборот, вызывало душевное умирение.

Похоже, при виде степенной четы Комлевых и их иконописного внука смягчилось сердце Полины Суворовой.

– Ладно! Иди! – сказала она вытирающей слёзы Алёнке и убрала икону с колодезного приступка.

Никанор, не говоря ни слова, поклонился собравшимся низким старомодным поклоном, подошёл к хлопотливой, как наседка, старосте

Василисе. Они о чём-то тихо переговорили. Гаврила, улучив момент, извлёк из ведра зелёный, с крепким черенком, веник и для убедительности потряс им, забрызгав не только свои резиновые сапоги, но и подол Вали Стряпухи.

– Чего веником трясешь? – упрекнула Валя.

– А чем еще прикажешь трясти? – ухмыльнулся Гаврила.

Валя едва не расхохоталась.

Подождали ещё немного: а вдруг кто-то придёт?..

– Пора! – взглянув на очистившееся после ночного ветра небо, проговорил Макар Дельнов, и все согласились со старым солдатом-фронтовиком.

Участники хода потоптались, покружили возле колодца и как-то легко, будто договорились заранее, разбились на пары, чтобы идти по левой, безопасной, стороне дороги. Однорукий хотел прилепиться к Стёпе Пчельнику, но тот ушёл к Макару Дельнову – «Надо поддержать старика!». Тогда Лёнчик заговорил ласковым голосом с Леной Сорокиной, которая так же, как и он, пришла одна, но и Лена не составила ему пары. Надеясь, что всё же в конце концов получится чётное число и кто-нибудь волей-неволей останется с ним, Лёнчик решил подождать. Но, как на грех, оказался двадцать первым и лениво побрёл в конце процессии, словно бык, отставший от стада.

Подчиняясь шагам Никанора и Марьи, которые были впереди, участники хода степенно шли вдоль деревни по сморщенному, с обнажившейся щёбёнкой, асфальту, а у колодца продолжали стоять две старухи с заплаканными глазами, две вдовы, Лукерья и Акулина – они словно во второй раз провожали своих мужей на беспощадную войну.

После ночного ветра небо было слегка припорошено тополиным пухом ещё не народившихся облаков. Поднимающееся солнце уже потихоньку пробирало Фатея сквозь холщовую рубаху.

«Жаркий будет денёк!» – подумал Фатей, сочувственно поглядывая на прихрамывающего Макара.

Когда поравнялись с избой Черкашиных, Сергей быстро посмотрел на своё родовое гнездо и опустил голову. А его Верунька прошла спокойно мимо голубых наличников.

«Ничего не знает!» – догадался Фатей.

Миновали покосившийся крайний дом на левой стороне порядка. Никанор, прикидывая, где ему остановиться, всё чаще и чаще поглядывал на обочину дороги. Обочина была пыльной, узкой, граничила с длинной сточной канавой, поросшей ольхой. И тогда Никанор решил, обойдя канаву, пройти в низину, оказавшуюся за огородом последней избы.

Осторожно, по едва заметной тропке с белёсой свалывшейся травой, Никанор сошёл в низину и остановился в тени высокой берёзы с подрезанной корой. Стал дожидаться, когда подойдут остальные.

Процессия медленно, как вытекающая из-под ещё прочного наста поляя вода, стала сосредотачиваться возле берёзы.

Светлолицый Тихон достал из холщовой сумки большую тетрадь в синей коленкоровой обложке, очень похожую на скучную амбарную книгу, извлёк из неё сухой цветок-закладку и неторопливо протянул деду.

В свою очередь Никанор отдал внуку серебряный крест-распятие, потом достал из нагрудного кармашка очки, подул на них и тщательно протёр о рукав рубахи.

Фатей с любопытством поглядывал на моложавого, не по возрасту, Никанора, и ему почему-то представлялся колхозный председатель, которому предстояло прочитать дежурную и, возможно, не им написанную речь. Сейчас он сделает паузу, внушительно кашляет, подчёркивая значимость момента, а затем лихо – как из ружья – выпалит:

«Товарищи!..»

– Перемена? – робко спросил Митя Блаженный.

– Кончилась перемена! – тихо ответила Домна. – Урок начался... – И отобрала у сына медный колокольчик.

Никанор широко перекрестился – пальцы у него были сложены шепоткой, как у сеятеля, – и, возвышая голос, заговорил на церковном языке.

– Владыко Господи Боже наш, послушавый Илию Фесвитянина ревности ради к Тебе, и во время посылаемому земли дождю удержишься повелевый, таже паки молитвою его дождь плодоносный ей даровывай...

Щуря глаза, Никанор то и дело отстранял от себя коленкоровую тетрадку. Казалось, он читает по памяти, а тетрадка ему понадобилась просто так, для уверенности.

Он читал негромко, самозабвенно, не обращая внимания на окружающих: слушают ли? понимают ли? Да и знал ли смысл каждого слова сам Никанор? Наверное, знал, но больше – чувствовал...

Фатей оказался во власти волнующего звучания. Он почти не вникал в смысл произносимых слов. Удивительная музыка овладела им, уносила в такие заповедные дали, что становилось одновременно и страшно, и сладко – словно он падал во сне в глубокую пропасть и, находясь на грани яви и сна, всё же осознавал, что не разобьётся...

– Приими моление всех людей Твоих, и не отрини воздыхания убогих...

Прислонившись к берёзе, деревенский мужик Никанор Комлев читал бессмертное творение Каллиаста, патриарха Константинопольского. Как долго длилась эта молитва – одна из четырёх, которые предстояло прочитать во время кружного пути за огородами – Фатей не смог бы сказать: земное время превратилось в одно мгновение.

Он пришёл в себя тогда, когда по его лицу прокатилась свежая волна...

– Во имя Отца и Сына и Святаго духа!..

Помахивая веником, Никанор кропил обращенные к нему лица, полёгшие травы, свисающие гирлянды жёлтых берёзовых листьев... Митя Блаженный подпрыгивал, стараясь поймать летящие капли. И Алёнка, улыбаясь, подставляла ладони: ещё! ещё!

А Сергей Черкашин стоял в стороне, сосредоточенно покусывая травинку.

Покропив, Никанор передал ведёрко Гавриле и взял крест у внука. Посмотрел из-под руки на прихлынувшие к огородам бурьяны, раздумывая, как лучше обогнуть деревню...

Когда-то за огородами пролежала земляная дорога. По ней ездили телеги, машины, колёсные трактора. Теперь рабочая дорога стёрлась, запыла и поросла травяной дурниной.

Никанор решил не связываться с полчищем чертополохов и репейников, а повернуть правее, к берёзовому самосеву-мелятнику, окружённому лёгкой продувной травой-овсяницей, а затем ступить на паханую

противопожарную полосу, которая могла стать единственной дорогой в бурьянном бездорожье.

Наклонившись вперёд, как при встречном ветре, Никанор повёл теряющую стройность колонну. Люди спотыкались, путались в траве, останавливались, чтобы успокоить дыхание, и снова устремлялись за человеком с сияющим на солнце крестом...

Тракторист из центральной усадьбы, похоже, не расстарался: проехал разок, в одну сторону, оставив после себя завалы дёрна и длинной мочалистой травы, а назад не вернулся, чтобы сравнять или хотя бы растащить эти кучи посреди гусеничных полос.

Участники крестного хода заняли узкие колеи, проделанные трактором, и медленно, заступая ногой за ногу, направились к лесной окраине деревни. Прежний порядок расстроился. Мужчины в сапогах оказались впереди: им нужно было протаптывать дорогу для остальных. Лёнчик быстро сообразил, с какой стороны тянет ветер, и, чтобы не глотать пыль, выбрал безопасную колею.

Те, кто помоложе, балансировали без особого труда, а вот старый Макар, опирающийся на клюшку, то и дело терял равновесие. Стёпа Пчельник поддерживал Макара.

Пожалуй, только Митя Блаженный чувствовал себя в тракторной колее как рыба в воде. Босой, с непокрытой, давно не стриженной головой, он, словно заведённый, бегал по комковатой, отдающей земляным жаром, полосе и даже успевал, нырнув в глухие бурьяны, шугануть воробьев, облепивших репейники, и сорвать несколько кустиков сухой, теряющей позолоту, пижмы.

Митя собирал букет.

Гуляющий в небесах ветер разогнал белые барашки, и солнце, поднимаясь, палило так, как будто желало расквитаться за неумолимо наступающую осень. Птицы молчали. Даже коростель не подавал занудливый голос. Но было хорошо слышно, как в перезревших бурьянах постреливают стручки мышиного горошка.

Москвички, закрываясь от горячих лучей, развернули цветастые зонтики.

Фатей вяло, в каком-то полусне, шагал за Стёпой Пчельником и так же, как и он, останавливался, чтобы порушить ногами пороховые комья. Ни о чём не думалось. Фатей находился во власти общего, затягивающего, как воронка, движения. И с каждым новым шагом ему начало казаться, что всё происходящее сейчас уже было в какой-то другой, незапамятной, жизни...

Вот так же шёл впереди невысокий человек с крестом. И всё остальное, что открывалось сейчас взору Фатей, тоже было по-особому узнаваемым: те же скворечни на длинных шестах, тёмные, словно закопчённые, баньки, жёлтые кроны садовых деревьев...

Он смотрел направо и тоже видел знакомую картину: объятая пёстрым листовенным пожаром лесополоса, а на месте бывшего колхозного поля, о котором напоминал лишь тракторный след, белёсое море одичалых высоких трав: лисохвоста, овсяницы, мятлика... В этом шевелящемся море виднелись разлапистые сосенки, напоминающие заблудившихся людей с растопыренными руками.

И так же, как было когда-то, летели игольчатые пушинки чертополоха, прилипающая к потным лицам.

И так же, высматривая добычу, множил плавные круги вечный коршун-перепелятник.

Переживая прошлое заново, Фатей силился узнать то, что случилось после изнурительного крестного хода, но память не пускала его дальше положенных земному человеку пределов. ..

Он продолжал слушать, как лопаются серебристые стручки мышиного горошка и сухо шуршат бесчисленные кузнечики, создавая ощущение тихого грибного дождя, и среди этих простых, приземлённых звуков так неожиданно зазвучал далёкий колокол – казалось, неведомый звонарь, спохватившись, всё же решил напомнить о крестном ходе.

Два заезжих плотника, орудуя топорами, сидели на верхнем венце сосновой клетки. Они как будто выполняли не обычную работу, а играли в звоны, обрабатывая сухое, выстоявшееся в жаре, дерево. Топор в руках пожилого плотника звучал глуховато-торжественно, а его напарник, белобрысый, обнажённый по пояс, паренёк, самозабвенно извлекал сладко ноющие звуки – особенно это получалось тогда, когда он неторопливо, с выверенной оттяжкой, крушил крепкие сучки.

Заметив процессию, бредущую среди бурьянов, плотники переглянулись и отложили топоры.

– Чё там? – удивлённо спросил молодой.

Пожилой, сдвинув кепку, почесал в затылке:

– Не пойму. Может, кого хоронят?

– Хоронят, а гроба нет. Что-то, Василич, не то... – усомнился молодой.

– Да хрен их теперь разберёт! – Пожилой потянулся за кисетом. – Наверно, какие-нибудь сектанты...

А необычная процессия медленно, но верно приближалась к Ближнему лесу, на окрайке которого, среди гиблого рыжего сосняка, смутно проглядывало небесной голубизной своих оград старое деревенское кладбище. Люди балансировали, напоминая неумелых канатоходцев, оступались в завалах, останавливались, чтобы отдохнуть и дожидаться отстающих, И всё чаще, тревожа воспалённые от жары глаза, вглядывались в лесную грядку, которая казалась далёкой и даже недостижимой.

И паханая полоса, похожая на первую весеннюю борозду, как будто не имела конца.

Вблизи от леса полоса неожиданно вздыбилась. Возникший вал напоминал окопы военных лет, и только деревенские знали, что на этом месте когда-то были колхозные бурты, хранившие добротный кукурузный силос.

Судя по всему, тракторист решил не объезжать заваленные ямы. Его трактор, словно боевой, рвущийся навстречу врагу, танк, махнул напрямки к проезжей дороге, и теперь участникам хода с большим трудом, чуть ли не на четвереньках, пришлось одолевать подъём. Помогая друг другу, люди протягивали руки, образуя цепочки.

Никанор поднимался самостоятельно. Когда нагибался, то казалось, что он чертит крестом по вздыбленной земле.

Однорукый, порывисто дыша, выставил вперёд обломившуюся палку: помогите! И Сергей, который недавно собачился с ним, без раздумий протянул руку и помог забраться на верх.

Старый Макар, выбравшийся с помощью Стёпы Пчельника на поросшую скудной травой обочину, неторопливо стянул с головы фуражку, помахал ею, словно веером, и устало сказал: «Привал!» Осмотревшись, Макар присел на оставленный кем-то винный ящик в тени придорожного дубка.

Москвички, расставшись с бороздой, принялись вытряхивать из туфель густую пыль.

А Сергей, выбравшись на свободу, сразу же торопливо отошёл в сторону и закурил. Вдыхал глубоко, жмурил глаза от сладкого дурмана, а потом бросил иссосанный до основания окурков под ноги и затоптал.

С Лёнчиком происходило что-то странное: он побледнел так, что, казалось, напрочь лишился загара.

– Что с тобой? – спросил Фатей.

– Сс... сам не знаю! – выдавил Лёнчик. – Какие-то круги перед глазами. Мутит. Может, лергия на пух? – Он провёл протезом по небритой щеке – будто убирал белёсые иголочки чертополоха.

Если бы Фатей услышал про аллергию раньше, когда без особого желания общался с Лёнчиком через забор, то, наверное, улыбнулся бы и, возможно, пошутил, но сейчас, во время хода, ему было не до шуток.

– Есть у кого-то вода? – спросил Фатей.

Все молчали, и это было удивительным: отправились жарким днём в дорогу, а водой не запаслись.

– Может, таблетку дать? – предложила Валя Стряпуха. – У меня есть одна. Сердечная.

– Не надо! – поморщился Лёнчик. – Мне бы водицы. Глоточек.

Гаврила, проверяя, качнул ведёрко, и все, перехватив его взгляд, уставились на Гаврилу.

– Может, крещёной? – неуверенно спросила Валя Стряпуха.

– А кропить чем? – возразил Гаврила.

– Мне бы глоточек! – жалобно попросил Лёнчик.

– Дай ему воды! – приказал Никанор.

– Глоточек... – повторил Лёнчик.

– Можно и три! – улыбнулся Никанор. – Бог Троицу любит.

Гаврила убрал из ведра веник и нехотя подошёл к Лёнчику:

– Ну бери!

Лёнчик ухватился за дужку здоровой рукой, подпер ведро протезом.

– Перекрестись! – шепнула Валя Стряпуха. – Святую воду пьёшь.

Лёнчик переместил ведро к локтю ущербной руки и торопливо перекрестился.

Фатей отвернулся: было неловко смотреть на пьющего Лёнчика, считать его жадные глотки. Но даже если бы он наблюдал за ним, подобно другим, то едва ли что-либо понял: Лёнчик не глотал воду, а медленно щедил, словно запалённая рабочая лошадь.

Однорукий с усилием оторвался от ведра, тихо сказал:

– Спасибо!

Гаврила взял ведро и по-детски удивился, увидев в нём, вместо воды, далёкое небо.

А Никанор уже открывал разлинованную в клетку тетрадь...

– И Тебе благодетеля заповеди презрехом, и житие порочно, и мысль скверну и нечисту стяжахом: и не точию любовь отвергохом, но и яко же зверие друг на друга носимся, и плоти друг друга снедаем... Ты любиши, мы враждуем. Ты благоутробен, мы неблагоутробни. Ты благодетель, мы хищницы...

Фатею начало казаться, что он уже слышал эту молитву. Слова были понятны, отзывались в душе согласным эхом. И он, внимая молитве, готов был не замечать других людей, сгрудившихся возле Никанора, не слышать тиканья одинокой птицы в багряных кустах бересклета и не ощущать вяжущий запах дубовых листьев, отрезвляющий, как нашатырь. Но что-то мешало молитвенному уединению, и Фатей догадался, что виной этому Верунька.

Молодая женщина осторожно, таясь от других, лузгала семечки. Слушая молитву, она умудрялась сохранять не просто пристойное, но даже несколько скорбное, как на похоронах, лицо. Да и Сергей, отвлекаясь, то и дело оглядывался по сторонам, крестился небрежно и невпопад.

Фатей заметил, как Сергей сунул руку в брючный карман и что-то достал...

Сергей тихонько, по-воровски, протянул скучающему Мите Блаженному карамельку. Митя просиял и, не стесняясь, стал разворачивать липкую обёртку.

Коричневый дубовый лист, покачавшись в воздухе лодочкой, упал на раскрытую тетрадку Никанора. Никанор, не глядя, поймал ускользающий лист и держал его в руке до тех пор, пока не закончилась молитва. Потом вложил лист в тетрадь и приступил к очередному окроплению.

Он кропил щедро, размашисто. Бледное лицо Лёнчика снова обрело здоровый цвет...

Завершая обряд, Никанор подошёл к старому Макару, который слушал молитву сидя, и трижды обмахнул его душистым венником.

Никанор не торопил усталых людей. Он взял у жены платочек и стал тщательно протирать запылившийся крест.

Москвички принялись ломать серебристую полынь, чтобы отбиться от «серых мух», которые кусали больно, до крови. А Митя Блаженный, почувствовав свободу, понёсся во все лопатки к зарослям пижмы и иван-чая. Его коричневые, словно вылепленные из глины, пятки замелькали в сухой траве.

– Смотри! – шёпотом сказала Алина Ладе. – Носится, как угорелый! Колбочек не боится, да и жара его не берёт. Дикий человек!

– Божий человек! – улыбнулась Лада.

Митя, охорашивая лохматый букет, подбежал к матери и жалобно, словно ученик, спрашивающийся с последнего урока, попросил:

– Мам-мам, я на кладбище сбегаю!

– Зачем? – спросила Домна.

– Я букет на могилку положу. Тётеньке.

Стоящие рядом стали прислушиваться к их разговору. Сергей раздражённо пнул ботинком песчаный, с прожилками пырея, ком...

– Какой ещё тётеньке? – удивилась Домна.

– Бедной тётеньке. Ей даже веночек не положили. Её вчера закопали. Вечером.

– Ну что ты мелешь? – грустно сказала Домна.

И Стёпа Пчельник её поддержал:

– Бред какой-то. Там уже десять лет не хоронят.

Стёпа знал, что говорил. Когда развалили колхоз и люди, брошенные на произвол судьбы, стали отчаянно спиваться и умирать, довольно просторное деревенское кладбище словно сжалось в овчинку. Стараясь упокоить близких в родной земле, мужики сужали до предела проходы между могилами, клали умерших в одну яму, гроб на гроб, пытались отодвинуть общую ограду и, отвоёвывая новые метры, корчевали комлястые сосны, а некоторые, не утруждая себя, хоронили умерших за общей оградой, словно провинившихся перед людьми и Богом самоубийц. Федюня Луньков, копальщик заправский, безотказный, однажды посетовал: «Сколько можно с этим кладбищем возиться? Вырыли бы одну братскую могилу на месте буртов, и дело с концом! Зем-

ля там мягкая...» Однако осваивать брошенные силосные ямы никто не решился, и вслед за почившим колхозным вожаком – бессменным председателем Иваном Лукичом Королёвым берёзовские гробы стали отвозить на центральную усадьбу.

Фатей, думая о своём, почти не прислушивался к чужим разговорам – они как будто не касались его, – но в какой-то момент слова Мити и Домны стали настораживать...

Он, ещё ничего не подозревая, глянул на Сергея – тот заметно нервничал и искоса поглядывал в сторону кладбища, – и тут поведение Сергея и странные слова Мити соединились в жутковатой догадке:

«Боже! Он что, с ума сошёл?»

Фатей покачнулся и чуть не наступил на сапог Лёнчика. Однорукий удивлённо посмотрел на него и на всякий случай отодвинулся.

– Что с тобой? – заволновалась Аннушка.

– Да так... Пройдёт! – Фатей хотел беззаботно улыбнуться, но предательски закололо сердце, и он, досадуя на себя, негромко попросил: – Возьми таблетку у Вали...

Он попытался проглотить таблетку, но она прилипла к нёбу – в пору крещенской воды проси!

Помучившись, Фатей разгрыз таблетку и почувствовал, как в горле разлилась полынная горечь.

А Домна продолжала разговаривать со своим сыном.

– Ну что с тобой поделаешь! Иди! Только не отставай!

– И отстанет – беды не будет! – усмехнулся Стёпа.

Но Митя не торопился бежать к кладбищу.

– Мамк, дай мне колокольчик!

– Ишь чего выдумал! Ну подумай своей башкой: зачем тебе колокольчик?

– Я тётеньке позвоню.

– Перемена? – поддразнил Стёпа.

– А то что? Перемена! – согласился Митя.

– Ну хватит! Беги! – Домна подтолкнула сына.

Митя взбрыкнул и, подражая лихому скакуну, понёсся галопом к кладбищу.

Никанор, приглашая, поднял крест над головой и сразу же занял своё место во главе процессии. И тут же, напоминая о ходе, звякнул медный колокольчик – это Домна, торопясь, не удержала гаечку.

Растекаясь по песчаной дороге, процессия двинулась к деревне. От Ближнего леса веяло банной духотой, увядающей листвой и сомлевшими травами, и всё же среди пестроты запахов заметно выделялся сладкий аромат смолистых сосен.

Люди с надеждой поглядывали на небо. Они старались почувствовать дыхание природы, обещающее дождь, но ощущалась ставшая привычной безотрадная сухость, да и в небе висело одно-разъединственное кучевое облачко. Оставалось надеяться на чудо и верить предкам, считавшим, что дождь об ину пору льёт не из темени, а из ясени.

Фатей и Аннушка незаметно оказались в конце процессии.

Когда миновали ближний прогон и стали пересекать деревенскую улицу, Аннушка спросила:

– Как себя чувствуешь? Может, домой?

Фатей мотнул головой: нет, ни в коем случае!

Никанор вёл народ к огородам, туда, где с возвышенья просёлочной дороги были видны бурьянное поле и бетонный скелет бывшей молочной

фермы, окружённый высокими, в человеческий рост, зарослями сухого, в жёлтых лохмотьях листьев, борщевика.

Выбирая место для очередной остановки, Никанор замедлил и без того неторопливый, как на похоронах, ход, и тут Фатей услышал drobный топот...

Довольный Митя догонял процессию. Он успел не только положить на свежую могилу свой букет, но и выложил на бугорке крест из еловых веток. Митю всегда интересовали похороны, но прошлым днём, под вечер, ему не повезло. Когда Митя катил мимо кладбища на своём стареньком, оставшемся после отца, велосипеде, незнакомые мужики-копальщики уже собирались отъезжать от кладбищенских ворот. Митя поинтересовался: «Дяденьки, кого схоронили?» – «Тётеньку! – весело ответил ему шофёр грязной полуторки и, включив газ, посоветовал: – А ты кати, пацанчик, отсюда! Нечего тут ошиваться...» Но Митя не послушался. Как только полуторка отъехала, он бросил свой велосипед на обочину и побежал к «тётеньке» – уж так ему хотелось поживиться поминальной конфеткой. Но желанного гостинца на могиле не оказалось. «Наверно, птицы утащили!» – подумал Митя и, рассердившись, прогнал с ограды чёрного ворона...

Идущие посторонились, пропуская Митю вперёд, к матери. В меняющемся людском просвете Фатей заметил ныряющую, словно поплавок, зелёную панамку Сергея, и тревожные мысли овладели им с новой силой.

И вдруг сухим нарастающим треском разразилось безоблачное небо. Этот всхрипывающий звук рождал одновременно радостное изумление и страх: неужели гром?

И так хотелось поверить в долгожданное чудо...

Люди, как по команде, подняли тяжёлые, опущенные к земле, головы и разочарованно вздохнули: реактивный самолёт быстро удалялся, оставляя за собой перистый след...

Никанор сделал несколько шагов и застыл на ровно прокошенной дорожной обочине. Травяная щетина, оставшаяся после роторной косилки, отдалённо напоминала пшеничную стерню.

В горле Никанора пересохло. Он делал давящиеся напряжённые движения, пытаясь проглотить тягучую слюну, и наконец это удалось. Он облегчённо кашлянул и почти шёпотом начал третью молитву.

– ...вонми неможению естества нашего, яко Ты сотворил еси нас, виждь птиц стенание, скотов вопиение, младенческий плач, юнош вопль, старых окоянств, сирот лишение, вдовиц уединение...

Фатей рассеянно слушал молитву. Его занимало другое.

«Хоронить, конечно, нужно было. Не ждть же третьего числа. В такую жару и святую засмердит. Вызывал ли он врача? Без справки о смерти в любом случае не обойтись... Если и вызывал, то, скорее всего, вчера. Первого. И хоронил, выходит, тоже первого. За один день управился. Сложно, но можно. Дружков-приятелей, особенно среди шоферни, у Сергея хватает. Лихие ребята. Такие за литровку не только мёртвого, но и живого закопают. Был ли он сам на кладбище? Как сказать... Может, всё дружкам поручил, а сам в деревне отсиделся...»

– ...помяни уповающыя на Тя люди... Помяни и птицы, помяни и скоты, и дух росы наведи...

«Зачем я об этом думаю? – сердился Фатей. – Чем я ему теперь помогу? Он что, советовался со мной?..»

Но мысли прорывались сами собой:

«А что дальше? На что рассчитывает? На авось? Авось пенсию принесут, как обычно, третьего числа, и он её получит. А как он потом объяснит людям исчезновение матери?..»

В какой-то момент Фатей почувствовал, что строгие слова молитвы совсем не противоречат его житейским и как будто неуместным сейчас мыслям – наоборот, молитва о даровании дождя звучит одновременно и молитвой за всех грешных людей, в том числе и за Сергея Черкашина, едва не потерявшего в земной жизни своё крестное имя.

Никанор завершил молитву и приступил к очередному окроплению. Кропил по-прежнему размашисто, щедро – казалось, в его ведре была неиссякаемая манна небесная. Он посмотрел в усталые, устремлённые в себя, глаза Фатей и обмахнул его тёплым веником. Фатей очнулся и, смутившись, чуть не сказал «спасибо».

Люди подошли к краю обочины и, помогая друг другу, стали спускаться по откосу. Деревенские передвигались умело: бочком, приставным шажком и немного вкось, так, чтобы одна нога не мешала другой. Алина и Лада вихлялись на каблуках, хватались за прочные, словно канаты, репейники. Алина даже пыталась потянуться к толстому стеблю борщевика, но Валя Стряпуха вовремя задержала её: нельзя! можно обжечься!

Наконец участники хода оказались в ложбинке. Миновав заросли злющей крапивы, люди направились к огородам, туда, где желтела травяная полоса, проделанная колёсами какой-то громадной военной машины.

Идти по такой противопожарной полосе было непросто. Раздавленные травы, оживая, уже подняли кое-где свои изуродованные стебли. Чтобы идти по примятым взъерошенным травам, нужно было достаточно высоко, чуть ли не по-журавлиному, поднимать ноги. Не желая мучиться, люди покидали полосу и шли в обход.

По правую руку от идущих виднелась бирюзовая гряда Большого леса, охваченная снизу огнём увядающего березняка. Бросались в глаза куртины чёрного, словно обугленного, клевера. Обожжёнными казались столбцы конского щавеля. И кудлатые репейники, стоявшие в обнимку с чертополохами, выглядели как прошлогодняя трава после весеннего пала.

Выискивая проходы в бывшем колхозном поле, люди разбредались, обходили дремучий травостой и снова сближались, чтобы не терять друг друга из виду. На беглый взгляд могло показаться, что это колхозники возвращаются с косовицы: ведь наступила пора уборки отавы, второго сена. Но не было в руках бредущих ни кос, ни грабель, и только белые платочки на головах деревенских женщин напоминали о канувшей в прошлое страде.

Фатей почти машинально выбирал дорогу. По его лбу, попадая в глаза, струился солёный пот. Он иногда останавливался и промокал лицо влажноватым платком. Икона словно потяжелела в несколько раз, и Фатей приходилось часто переключать образ из одной руки в другую. Боясь споткнуться о кочку или угодить в кротовую нору, он чаще всего смотрел под ноги, но иногда вскидывал глаза к небу.

Под раскалённым небом продолжало роиться кучевое облачко да пятнистый коршун-стервятник, не уставая, делал свои бесконечные петли. Поначалу Фатей казалось, что это тот же самый коршун, который сопровождал их раньше, у лесополосы, но, приглядевшись, он догадался, что над ними кружит другая, более крупная, птица.

Было самое время жиреть уткам, откармливаться тетеревам и рябчикам на брусничных полянах, но когда-то кормный лес оскудел, а озёрца и баклуши высохли до илистого дна. Даже полевая мышь, спасаясь от жары, занорилась глубоко и перестала давать потомство. Хищные птицы – ястреба, совы, пустельги – томились в бескормице. И было непонятно, на какую добычу рассчитывал этот коршун.

Хищная птица то плавно снижалась, то, суматошно замахав крыльями, взмывала высоко вверх, и тогда казалось, что ей нет никакого дела до мелкой дичи, и она зорко приглядывается к усталым людям, бредущим по бездорожью.

Приторно-сладковатый запах перезревших бурьянов навевал на Фатея дрёму. Ориентируясь в пространстве, он иногда поглядывал налево – там виднелись огороды с невысокими заборами из горбыля и жердей, с провисающими, словно нитки, старыми пряслами. Темнели бревенчатые баньки, и невдалеке от них, ближе к полю, возвышались поросшие кустарником мусорные кучи. Своей ершистой округлостью эти кучи напоминали наспех смётанные травяные стожки. Было очень тихо – до ноющего звона в ушах, и потому так сильно резанул по слуху заливиственный лай собаки...

За высоким железным забором гремела цепью сторожевая собака. Учув людей, она лаяла с непонятным остервенением, совсем не так, как деревенские собаки, и Фатея, приходя в себя, начал с удивлением вглядываться в двухэтажное сооружение, возведённое по прихоти богатого дачника: дом не дом, изба не изба, а какое-то броское сооружение с гранёными башенками, черепичной кровлей и просторной мансардой на месте чердака.

Москвички, идущие позади Фатея, наострили глаза...

Через проулок от дома-новодела стояла уютная в своей первозданности сосновая изба путевого обходчика Петюни Веселова. Обычная изба с садом-огородом, но в глаза бросался не багрянец вишнёвой листвы, а густая высоченная пшеница в конце огорода. Казалось, золотой клочок бывшего колхозного поля чудесным образом переместился на огород Петюни и теперь маялся в тесноте, за дощатой оградой, пытаясь выплеснуться на волю.

Москвички остановились.

– Смотри, Лада! Рожь...

– А может, пшеница?

– Какая разница! Натюрэль...

– Думаешь, сыреды? – улынулась Лада.

– Почему бы и нет? – сказала Алина.

Однако выросший на молоке и мясе деревенский богатырь Петюня Веселов и слыхом не слыхивал о модных вегетарианских веяниях, а если бы и узнал, то наверняка скорчил бы кислую мину и выразительно постучал бы по выгнутой, как колесо, груди – «Я кто вам? Воробей?» Петюня хотел одного: чтобы вскормившая его земля дышала и рожала. Когда загубили ферму и коровьего навоза не стало, Петюня решил использовать вместо привычного удобрения хлебные злаки: густо посеянная пшеница не только улучшала почву, но и выживала худую траву.

До четвёртой молитвенной остановки за огородом Гордеевых осталось не больше полукилометра, но ощущение было такое, что идущие одолевали не поле, а вязкое, с потайными топиями, болото. Никодим видел всех и хотел довести свою нестройную паству до деревенской окраины в целостности и сохранности. Он верил в старого Макара и в Гру-

шу Хлебнову, которая натёрла ногу и заметно хромала. Но две женщины под цветастыми зонтиками вызывали у него беспокойство. Он видел, как Алина и Лада вязнут в чёрных сплетениях клеверов, часто останавливаются и, судя по дрожанию зонтиков, тщательно обирают с одежды липучие «собачки» и репы.

Показывая, где он находится, Никодим то и дело поднимал над собой сверкающий крест, но в какой-то момент путеводное сияние исчезло, и Фатей остановился в замешательстве: а где же Никодим?

Фатей и Аннушка поднялись на взлобок, поросший невысокой травой. Фатей огляделся, и многое для него прояснилось: теперь крест-распятие держал в опущенной руке Тихон, а Никодим, помогая жене Марье, нёс икону Богородицы.

«А где же Сергей?» – подумал Фатей.

И то, что он увидел, повергло его в лёгкое изумление. В ковыльных волнах лисохвоста и овсяницы показался Сергей в золотых воинских латах. Он шёл накатистой уверенной поступью, и его панамка с короткими полями очень напоминала богатырский шлем.

Поддаваясь игре воображения, Фатей попытался рассмотреть в правой руке Сергея меч или копьё, но не было видно ни разящего оружия, ни самих рук. Плечи Сергея обрывались круто, ущербно – словно у безрукого человека.

Сергей прижимал обеими руками икону в серебряной ризе, только что взятую у Груши Хлебновой...

И всё же Никодиму не удалось довести всех до околицы. Как только миновали усадьбу Петюни Веселова, у Алины отвалился каблук. Женщина замерла на месте, разглядывая полонку. Заметив неладное, к Алине направились Стёпа Пчельник и Валя Стряпуха.

– Ну что у тебя? – грубовато спросил Степан.

– Да вот... – Алина показала подмётку. – Может, прибьёте? Камушком.

– Камушком? – усмехнулся Степан. – Нет, тут камушек не поможет.

– Как же быть? – Алина пританцовывала, стараясь найти для босой ноги местечко поудобнее. И всё же наступила на колючку бессмертника. – Ой!

– Проще второй каблук оторвать! – сказал Степан.

– Были туфли – станут тапочки! – бодро подхватила Валя, и по её лицу было трудно понять, шутит ли она или говорит серьёзно. – Идти будет легче, да и другой каблук не отвалится.

Алина по-детски шмыгнула носом: нет уж! Подошёл старый Макар, опираясь одновременно на свою клюшку и обломок палки, который ему отдал Лёнчик.

– Та-ак! – задумчиво протянул Макар. – Так. Хочешь не хочешь, а придётся тебе, милушка, сворачивать в деревню. Вон туда!..

Лада и Алина посмотрели туда, куда указывал клюшкой Макар, и удивлённо пожалы плечами. Пространство между противопожарной полосой и огородами занимали высокие, казавшиеся непролазными, травы.

Лет десять тому назад, когда ещё держали коров и коз, за этими огородами косили – каждый житель выкашивал делянку напротив своей усадьбы, – но потом, когда вслед за колхозным свели и домашнее стадо, на задах, заглушив добрые укосные травы, расплодилось дурнина: колющая, жалиющая, занозистая...

– До проулка рукой подать! – успокоил Степан. – Главное теперь – до мусорной кучи добраться!

Алина удивлённо глянула на Степана: что он говорит! А потом перевела взгляд на большую кучу, поросшую ивняком и бузиной.

И тут к задумчивым москвичкам подошла нарядно одетая – в кисейной кофточке, ситцевой цветастой юбке – Вера-Верунька. За её спиной маячил обыкновенный, без золотых иконных лат, Сергей Черкашин.

– Что стряслось, девушки? – насмешливо спросила Вера. – Забуксовали? Могу помочь... Проводить? – Она оглянулась на Сергея – тот красноречиво повёл плечами: делай как знаешь!

– Ладно! – сказала Вера. – Следуйте за мной!

Лада и Алина переглянулись: что ж, придётся идти!

Уверенно, по-хозяйски, Вера взяла раскрытый зонт из рук Алины, скрутила его в рулончик и бесстрашно ступила в глухие бурьяны.

Вера знала, что делать. Она раздвигала зонтиком высокие травы и неторопливо продвигалась вперёд, обламывая своими полусапожками поросль прямо у основания так, чтобы она больше не поднималась. Вера не связывалась с жилистыми репейниками и чертополохами, она обходила стороной острую осоку и, безбоязненно круша податливый трубчатый сухостой, терпеливо шла к мусорной куче. В эти минуты Вера походила на дикую утку, пытающуюся вывести своих детёнышей-несмышлёнышей из густых камышей на водную гладь.

Алина, ковыляя следом, недоумевала:

«При чём здесь мусорная куча?»

Но, когда дошли до кучи, Алина поняла необходимость странного, на её взгляд, ориентира: от мусорной кучи до ближайшего проулка вела нахоженная тропка.

Вера отдала распутившийся парашютом зонтик Алине и высоко помахала рукой. Возвращаться назад она почему-то не захотела.

И сразу, как только три женщины выбрались из травяных дебрей на дорожку, замершие до поры участники хода пришли в движение и продолжили крестный путь. Фатей оглянулся на женщин, которые гуськом, Вера – во главе, уходили к проулку, и грустно стало на душе: жаль, что не дошли! такой путь проделали, и вдруг подвёл каблук!..

Фатей посмотрел на оставшегося в одиночестве Сергея, и неожиданные мысли полезли в голову:

«А ведь ему повезло, что Вера ушла. Очень повезло. Ведь скоро пойдёт мимо своего дома. Ну как, для отвода глаз, не заглянуть к якобы большой матери? Пришлось бы зайти. А тут Вера... Тоже пошла бы. И что бы она увидела? Пустую избу?..»

Фатею начало казаться, что внезапный уход Веры был далеко не случайным: будто сам Господь укоротил ей путь, чтобы облегчить участь и без того запутавшегося Сергея.

А солнце становилось всё лютее. Казалось, дневное светило выжгло без остатка утреннюю синь, и неумная желтизна заполонила все небесные пределы. Кучевое облачко куда-то исчезло – то ли, спасаясь от солнца, закатилось за Большой лес, то ли распалось на пенные барашки. И даже коршун, словно оплавившись, превратился в мелкую птаху.

Алёнка, подставив небу ладошки, спрашивала:

– Баушк, когда будет дождь?

– Подожди. Скоро пойдёт! – устало отвечала Полина.

– Как же он пойдёт? Тучка спряталась.

– Подожди! – повторяла бабушка. – Господь даст новых тучек...

За бабушкой и внучкой, опираясь на палку и клюшку, ковылял Макар Дельнов. Шёл и дивился своим неслухам-ногам: неужели вконец

износились? Когда-то был подпаском, посыльным, потом выучился на агронома – все окрестные поля вдоль и поперёк исходил. И на фронте его резвые ногигодились. Не раз, посмеиваясь, рассказывал: «Я всю войну в пехоте пробегал. Отступаем – бежим, наступаем – тоже бежим...» А теперь брёл старый Макар по заброшенному колхозному полю и вслух рассуждал:

– Что же это такое? С войны на костылях вернулся. И теперь на двух подпорках ковыляю. Полвека прошло, а Великая Отечественная будто и не кончалась!..

Наконец и к усадьбе Гордеевых, что на самой окраине, подошли. Усадьба как усадьба: с тына терновником и сливой позаросла, на задах банька, крытая слежавшейся щепой, а поодаль от баньки торчит межевой меткой пустой газовый баллон, выкрашенный в белый цвет.

Никодим снова принял сияющий крест, выдвинулся вперёд, и остальные люди, путающиеся в траве, словно в сетях, тоже подались к огородам, и Никодим, нагнувшись, чуть ли не падая, словно волжский бурлак, потащил тяжкий невод наизволок, к огибающей окраину просёлочной дороге.

Фатей держал в правой руке икону Спасителя, а левой рукой помогал выбившейся из сил Аннушке. И в голове была одна мысль: лишь бы дойти, не упасть! Летящие пряди паутины липли к одежде, попадали в глаза, и последние метры бездорожья Фатей преодолевал почти вслепую.

Поддерживая друг друга, люди выбрались из бурьянного плена и облегчённо заулыбались: наконец-то!

Никодим, щуря глаза, посмотрел на безоблачное небо, трижды перекрестился и занудливо, как пономарь, произнёс первые слова последней молитвы:

– Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, глаголом своим всё от небытия преведый, перстенъ вземый от земли и создавый человека, и душею словесною...

Люди замерли. Всем казалось, что четвёртая молитва, произнесённая в бездожде, будет решающей каплей на чаше Божьих весов. Наступившая тишина была глубокой, молитвенной, такой, какая бывает только в храме, и Фатей неожиданно ощутил среди грубых запахов увядающих трав и листьев тонкий аромат церковного благовония. Чем пахло? Миррой? Ладаном? Что это было? Чудо? А может, наваждение?

Дивный аромат источали потревоженные солнцем иконы.

– Ты бо Владыко человеколюбче, един еси Отец всех нас, и к Тебе единому очи возводим, яко отдоеное на матеръ свою... Твоё есть слово преблагий Владыко... Просите и дастся вам, ищите и обрящете...

Фатей смотрел только на Никодима, но каким-то непривычно широко, всеохватным, зрением видел всех молящихся, и его поражала глубинная похожесть лиц – казалось, здесь, возле осиротелой избы, по неведомому приглашению собралась вся кровная родня Гордеевых.

На глазах Сергея поблёскивали слёзы...

Дождавшись окончания молитвы, Гаврила как-то неловко, бочком, придвинулся к Никодиму и тихо заговорил:

– Чем кропить-то будешь? Кончилась святая вода.

– Давай! – спокойно сказал Никодим и взял в руки распаренный веник.

Он уверенно опускал веник в ведро, помахивал широко, неторопливо. Окропляя, Никодим нечаянно хлестнул веником по лицу Сергея,

и тот почему-то не отстранился – принял эти молитвенные розги как должное.

Крестный ход завершился, и сморённые жарой люди направились к дороге, разделяющей деревню. Митя Блаженный заулыбался ещё шире: наконец-то мать вернула ему колокольчик.

Когда ступили на разогретый до вязкости асфальт, Сергей стал отставать от идущих. Фатей тоже замедлил шаг. Его мучил вопрос: зайдёт ли Сергей для отвода глаз к себе или нет?

Сергей покосился на идущего позади Фатей и неторопливо, словно подневольный, стал сворачивать к своей избе. И тут случилось невероятное...

На крыльцо, покачиваясь, вышла в белой нижней сорочке Евдокия Ивановна.

– М... мам! – натужно промычал Сергей. Он остановился, вглядываясь в родное лицо с чувством радости и страха. Но страх быстро проходил...

И горячие слёзы хлынули из глаз Сергея.

Потрясённый Фатей тоже остановился.

– Что с тобой? – забеспокоилась Аннушка.

– Ни... ничего! – выдавил Фатей и, приходя в себя, добавил: – Всё хорошо!

Он почувствовал, как с души свалился гнёт, мучивший последние дни, и его душа – как бывало в минуты особого умиротворения и радости – смело рванулась в широкое небо и, соприкоснувшись на мгновение с вечностью, ощутила, что беспощадное солнце, терзающее человеческую плоть, не властно над ней...

А вдоль деревенского порядка бежал, названивая в колокольчик, счастливый Митя Блаженный:

– Перемена! Перемена!

Роман СЕНЧИН

Родился в 1971 году в Кызыле, Тувинская АССР. Работал монтажником, дворником, грузчиком. По окончании Литературного института вел в нем семинар прозы (2001–2003).

Регулярно публикуется в журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Новый мир», «Знамя», «Урал». Автор ряда романов и сборников рассказов. Роман «Ёлтышевы» в 2011 году вошёл в шорт-лист премии «Русский Букер десятилетия».

Заместитель главного редактора газеты «Литературная Россия». Живет в Москве.

НИЧЕГО ЛИЧНОГО

Из книги «Зона затопления»

Остатки села Большакова – дома Марины Журавлевой и Масляковых, лесопильный заводик – держались до июля две тысячи двенадцатого года. Первыми сдались Масляковы – жена Александра Георгиевича, не представляя, как переживет здесь еще одну зиму, собрала самое необходимое и уехала к старшему сыну в Лесосибирск. Тайком уехала – муж и Дмитрий в это время были в Колпинске на очередном судебном заседании. Вернулись, на столе записка: «Больше не могу. Буду пока у Олега».

Александр Георгиевич, и так за последние два года заметно сдавший – еще бы, каждый день в таком напряжении жить, – после отъезда жены совсем расклеился, как-то весь рухнул. Целыми днями сидел за большим столом на кухне, о чем-то всё думал, думал. На вопросы Дмитрия поднимал растерянное лицо, взглядом просил повторить. И даже если сын спрашивал о чем-нибудь пустяковым вроде: «Есть будешь?» – отвечал с горьким выдохом: «Не знаю, брат, не знаю».

Дмитрий стал бояться оставлять его одного. А как не оставлять? Надо наблюдать за лесопилкой, за продуктами ездить в магазин возле колонии. Глаза бы не видели эту колонию, поселенцев, но куда денешься – остальное кругом всё разрушено, сожжено... Мчался туда и обратно как угорелый, а в голове стучало: «Только бы не сделал чего с собой!»

Через полмесяца Дмитрий решил: отказаться от избы, получить квартиру. Повесил на воротах фанеру с надписью: «Не сжигайте! Уехали получать ордер»; повез отца в город, стали оформлять документы. Созванивались с матерью.

– Не хочу я в Колпинске этом проклятом! – кричала она. – Предлагали же Сосновоборск, вот пусть там и дают!

Дмитрий, смягчая, повторял слова матери сотрудникам дирекции по затоплению. Те с усмешкой пожимали плечами:

– Жилищный фонд в Сосновоборске исчерпан. Остался Колпинск, или вот в Богучанах еще полдома в резерве.

– Зачем нам Богучаны... Они тоже скоро под воду пойдут.

– Ну, это еще не решено.

– С нами тоже сколько лет не решено было...

Дмитрия перебивали:

– Так, давайте без прений. Мы не проектировщики. Берете двухкомнатную здесь? Комнаты большие, изолированные. Лоджии под стеклом. Новая планировка.

Дмитрий снова набирал мать, уговаривал согласиться на Колпинск:

– Родные места все-таки, мам...

– Тем более не хочу! Всё напоминает... И все эти тут же – будут смотреть как на дураков.

– Да почему?

– А что – столько ерепенились, а в итоге к тому же знаменателю.

– Но что делать-то? Отец... – Дмитрий отошел в угол кабинета, – отец совсем... неживой совсем стал.

– Ну вот – довел себя! И меня чуть не довел. Разве бы я сбежала так... Поняла, что еще маленько – и всё...

– Это да. Но делать что теперь? И надо скорей решать – там дом без присмотра, лесопилка...

– Да гори она, эта лесопилка! – заплакала мать.

– Мам, успокойся... Двадцать лет нормально прожили благодаря ей...

– Нормально? В чужих углах теперь...

Дмитрий слушал задыхающийся плач, смотрел на скрючившегося на стуле отца, и его трясло от страха... Да, страшно, когда родители одновременно теряют не только силы, но и разум. Тем более в самый трудный момент. В тот момент, когда нужно объединиться и вместе решить...

– Мам, позови Олега.

– Олег на работе. Он – работает.

«В отличие от меня», – мысленно досказал Дмитрий.

Олег после школы поступил в речное училище, отслужил в армии, а после нее устроился в Лесосибирский порт. В тридцать восемь лет стал старшим сменным диспетчером; и сначала его жена, чуть что, просила: «Олега не трогайте. У него очень ответственная работа», а потом и остальная родня стала бояться отвлекать. Действительно, занервничает, что-нибудь напугает, и – под суд...

В тот день решения принято не было; Дмитрий отвез отца к Юрию, двоюродному дяде, который жил с давным-давно разведенной женой в одной квартире. Долго они сопротивлялись, судились, требуя каждый по отдельной хотя бы однушке, но в конце концов, боясь вовсе остаться без жилья, согласились поселиться вместе.

– Дядь Юр, можно батя у вас переночует? – попросил Дмитрий.

– Ну дак, конечно... Проходите. – Был дядя тоже какой-то словно крепко ушибленный. – Проходите... Только у меня кровать-то одна. Но ничего, как-нибудь... Саш, – рассмотрел братана, – ты чего такой? – Глянул на Дмитрия: – Инсульт?

– Да нет вроде... Не знаю. – Про себя добавил: «Вполне реально. Так за дни перемениться...»

Стал сбивчиво рассказывать, что мать не выдержала, уехала к старшему, с лесопилкой всё по-прежнему непонятно. Вряд ли удастся отстоять или получить компенсацию.

– Значит, переезжаете? – покивал дядя Юра.

– Что ж делать... Приходится. Видите как...

– А я не хочу, может! – вдруг вздернулся отец. – С какой стати?! Кто меня спросил? – И пошел из квартиры.

Как Дмитрий и, не совсем настойчиво, дядя Юра, его ни удерживали, рвался на улицу. Повторял:

– Домой надо! Домой!

Пришлось ехать с ним.

Дмитрий гнал «Ниву» по разбитой, местами уходящей в болото, давно не подновляемой насыпухе и молил, чтоб дом был целый... На лесопилку уже плюнул – главным было теперь, чтобы дали эту несчастную двушку в Колпинске, чтобы родители снова оказались вместе. Перевезти необходимое, а дальше – как-нибудь. Как-нибудь. Теперь – как-нибудь.

Дом был цел, лесопилка – тоже.

Ночью Дмитрий спал вполглаза, слушал отца за стенкой. Тот ворочался, скрипел сеткой кровати, садился, курил... Раньше курил или на крыльце, или – в холода – у печки, теперь же стал в комнатах. Что уж...

Рано утром позвонил брату Олегу – на территории села оставалось две-три точки, где телефон ловил, – стал уговаривать, чтоб убедил мать согласиться на квартиру в Колпинске.

– Да, мы едем уже, – перебил Олег, – вместе. К Енисейску подъезжаем. Я как вчера узнал, сразу решил лететь. Надо решать.

– Надо-надо, конечно!..

– Если всё нормально, часам к четырем будем.

По прямой между Лесосибирском и Колпинском километров пятьсот. Но на автомобиле по прямой не доберешься – Енисей, тайга и болота преграждают путь. Прямых авиарейсов нет. Чаще всего добираются так: едут из Лесосибирска в Енисейск (это километров тридцать), где аэропорт, летят в Красноярск, а уже из Красноярска – в Колпинск. Такая получается дуга в тысячу с лишним километров.

– Тогда в городе встретимся. В дирекции этой, по затоплению. Мать знает, где она.

– Добро.

Теперь нужно было уговорить отца снова одеваться в выходной костюм, садиться в машину... Позавтракали, Дмитрий побродил по двору, попытался чем-нибудь заняться. Не получалось. Вернулся в избу, сказал, что пора ехать...

– Зачем? – отец слабо, но, кажется, искренне удивился. – Мы ведь дома.

– Сожгут нас здесь. Или утопят. Вода каждый день ползет... Надо ехать. Все уже уехали.

Усадил отца в «Ниву». Закрыл ворота. Рванул.

В течение дня почти всё оформили по квартире. Попытались настоять на трехкомнатной, которую им когда-то обещали. Но обещавшие давно уволились, а нынешние заявили, что действуют строго по нормативам.

На следующий день прибыл КамАЗ. Стали загружать мебель, мешки с одеждой, коробки с посудой... Много было упаковано уже давно.

– А с делом-то нашим как? – почти не принимая участия в скорбной работе, спрашивал отец. – Бросаем, получается?

– Сейчас с этим разберемся, потом с лесопилкой будем решать.

– Так же? – отец кривился в усмешке. – Ну-ну...

– Бать, ты устал, действительно, – мягко говорил Олег. – Отдохнуть надо, отлежаться... Кстати, лесопилка-то на кого оформлена?

– Ну, на батю, ясно, – сказал Дмитрий.

– Может, на тебя доверенность выписать? Чтоб ты был в правах. А, бать, ты как?

– Я, конечно... что ж... Димка со мной всю дорогу. Надо если, я – за.

Уже под конец погрузки пришла Марина Журавлева. Похудевшая, постаревшая, в серой одежде напоминающая старуху.

– Всё, значит, съезжаете?

Масляковы виновато закивали.

– Я тоже, скорей всего. Нет сил уже никаких. Как стена, не пробить... Вдобавок муж бывший очнулся – Павлика стал искать. Забрать хочет... Главный по опеке грозился материнских прав лишить, как бомжиху. В общем, не мытьем, так катаньем...

– Они хоть кого укатают, – поддержала мать. – Мы-то люди, а они – механизм!

Дмитрию понравилось это сравнение. Представился огромный стальной мутант с сотнями шестеренок, пил, наждаков, поршней, отверток, кувалд... Пыхтит, скрежещет и лезет, лезет на людей, не желающих сойти с дороги. Кувалды, наждаки, пилы бьют, долбят, скребнут, режут...

Родители переселились в квартиру, а Дмитрий еще с полмесяца прожил в родном доме...

Изба стояла пустая, огромная, уже неживая. Вот стоило вынести несколько важных предметов (многое осталось), и жизнь из нее ушла... Дмитрий пытался понять, почему так, и вспомнил один случай из детства.

Когда ему было лет пять-шесть, они всей семьей приехали в Красноярск. Отец решил показать сыновьям и дочерям столицу края.

Отправились, конечно, в музей. «Там скелет мамонта!» – восторженно говорил отец.

Скелет мамонта – скрепленные проволочками кости – на Дмитрия никакого впечатления не произвел, а вот стоявший рядом лохматый носорог перепугал так, что он с визгом бросился отцу за спину.

«Ты чего? Он ведь неживой! Гляди, – и отец подвел его к носорогу, – глаза – это ж стекляшки. У живого бы так горели! И шерсть тусклая... Не бойся, это чучело просто».

И теперь, глядя на родной дом, Дмитрий видел, что он как чучело. Макет дома уже, а не дом. И окружающее его – тоже.

Наверное, чтобы хоть на какое-то время вернуть сюда жизнь, Дмитрий решил устроить банный день.

Давно как следует не топили баню – зимой ездили мыться к родне в город, в теплое время года подтапливали слегка, чтоб сполоснуться... Не до настоящей бани без электричества и когда с водой напряженка. Колодцы завалили, загадили после того, как большая часть жителей переселилась; мотор, который качал воду из реки для летнего водопровода, сняли еще раньше. Всё возможное сделали, чтобы оставшимся недовольным расселением жизнь здесь стала невыносимой...

Снял заднее сиденье «Нивы», поставил туда две фляги. В багажник сложил чистые канистры. Захватил ведра, поехал к реке.

Канистры наполнил быстро, а чтобы залить фляги, пришлось помотаться с ведрами туда-сюда – от машины к реке, от реки к машине...

Привез, вылил во вмазанный в печь бак. Опять же постепенно вылил – черпал из фляг в ведра ковшиком... Затопил печь. Еще раз отправился к реке.

«Куда столько? – сам себе удивился, и сразу объяснил: – Лишним не будет».

Хорошенько помыл тазы, полок; дверь в предбанник держал открытой для света – жар еще наберется.

Набил топку сухими березовыми поленьями, вышел во двор... Стайки были нараспашку, будто проветривались, сушились для новой животины. За стайками – огромный, но почти заросший сорняком огород. Лишь соток пять засадили весной картошкой; две грядочки под чесноком, одна – под морковкой. Батун, укроп, петрушка росли дикарями... Серьезное в этом году садить не решились – какой смысл, если в любой момент могут раздавить бульдозером...

Конечно, если бы мать настояла, был бы огород, как в прошлые годы. Но в марте она не посеяла в ящиках семена помидоров, перцев, капусты, и этого вроде не заметили. В апреле не заговорили, что надо вспахать землю... В мае, когда чистили подполье, достали картошку и лишнюю по-быстрому, молча раскидали по лункам, присыпали землей. Не тяпали потом, не окучивали. Но сейчас она так радушно-надежно темнела густой зеленью в окружении бледно-зеленых сорняков, что казалось, всегда, вопреки всему здесь будет расти пропитание людям...

– Что хотел-то? – спохватился Дмитрий, заозирался, как теряющий память старик. – А, блин, точно!..

Забрался по лестнице на вышку. Там под плахами крыши висели березовые веники. Старые, три года им. Но если аккуратно распарить, может, и сгодятся.

В ожидании, пока вода станет горячей, заправил две керосинки. Еще побродил по двору, убрал под навес ящик с трехлитровыми банками, которые родители хотели взять с собой, но в последний момент бросили: «Куда?»

Вышел за ворота. Первым делом по привычке глянул в сторону лесопилки. Дыма нет. Хорошо... Постоянно, каждую минуту ждал поджога и уже удивлялся, что не жгут.

В балке на лесопилке живет бомжующий мужичок по прозвищу Опанька. Дмитрий подкидывал ему картошки, хлеба, и мужичок исполнял обязанности сторожа. Хотя какой он сторож? Так, видимость – подъедут, велят стоять на месте, и будет стоять и смотреть, как обливают лесопилку бензином, бросают спички...

Повернул голову в другую сторону. Там на соседней улице стоял дом Марины Журавлевой. Изба, защищенная забором с лицевой стороны, окруженная стайками, гаражом... А сзади жидкие прясла, кое-где повалившиеся.

Между этими двумя жилищами – Дмитрия и Марины – изжеванная гусеницами земля, местами заросшая крапивой, лебедой; изредка зеленели недоломанные ветки черемухи, кусты малины, смородины... Горы мусора уже не так резали глаза, как после пожаров, – железо в основном вывезли, обгорелые бревна затянулись травой...

Неожиданно для себя Дмитрий направился к дому Марины. Решил позвать ее на баню.

Сначала она вроде как испугалась такому предложению.

– Да нет... я тут... у меня... – залепетала.

Она была старше Дмитрия лет на пять; он плохо ее помнил до всех этих событий – уехала, когда он еще учился в школе. Время от времени коротко приезжала к родителям... Так, здоровались, как здороваются с любимым в деревне, кроме врагов или откровенно подозрительных незнакомых... И в последние три года, когда оставались в числе немногих жителей, а потом и последними, не сблизили. Дмитрий завозил Марине продукты, которые передавали ее мать с отцом; несколько раз, когда дом Журавлевых пытались взять приступом зэки из санбригады, вступался, требовал документы, постановление на уничтожение построек. Марина тоже прибегала к лесопилке, увидев возле нее движение, тоже кричала, угрожала непонятно чем.

А в основном жили порознь, за своими воротами. Иногда и по неделе не виделись. Заметив Марину, несущую от реки ведра на коромысле, Дмитрий порывался было помочь, но останавливался – не принято было здесь помогать в каждой мелочи даже родным. В семье обычно каждый занимался своим делом, поодиночке, объединяясь только для такой работы, с которой одному уж точно не справиться. То же и с соседями. Излишнее внимание друг к другу могло оскорбить, вызвать не слова благодарности, а брань...

– А чего? – улыбнулся сейчас Дмитрий, тоже смущаясь. – Я воды навозил – полные баки. И постирать можешь.

– Тебе постирать надо?

– Нет-нет, мне не надо. Я сам по мелочи... Решил протопить как следует, похлестаться напоследок. Наверно, последние дни остались и мне, и тебе...

– Я послезавтра уезжаю, – сказала Марина. – Мой бывший опять приезжает насчет Павлика.

– Забрать всё хочет?

– Ну да... Но, думаю, не так уж хочет... Его подкупили, что ли, чтоб меня отсюда выкурить...

Дмитрий со вздохом покивал, не очень веря в такой хитроумный план. Хотя всё может быть.

– Прижали нас к стене, прижали... Так что, – постарался придать голосу жизни, – придешь париться? Я не настаиваю, – спохватился, чтоб не подумала, что и у него тоже какой-нибудь план, – просто решил предложить... Ну, так сказать, прощанье с деревенской нашей жизнью.

И Марина неожиданно уверенно сказала:

– Да, приду.

В парилке было пекло – сухой воздух входил в грудь мелкими, короткими хапками, обжигал легкие. Сквозь жар чувствовался вкусный запах березы – веники в тазу с водой ожили, листья свежо зеленели.

Держа над головой керосинку, Дмитрий заглянул в бак. Вода двигалась, пузырилась.

Больше топить не надо. Достаточно.

Поставил лампу на лавку возле двери – там не так горячо. Не должна взорваться.

Вышел на воздух, и как раз вовремя – в приоткрытую калитку заглядывала Марина.

– Можно?

– Входи-входи! – Дмитрий почувствовал волнение; заволновался не из-за того, что она пришла, а потому, что пришла так быстро.

В одной руке Марина держала сверток с бельем, в другой – банку с чем-то розовым.

– Остатки брусники вот намешала.

Дмитрий принял банку, повел гостью.

– Ух ты-ы! – отпрянула, когда он открыл дверь в парилку. – Даже волосы затрещали!

– Где-то шапки были... Не должны забрать...

Поднял крышку короба-лавки, где хранился разный шурум-бурум – старый ковшик, созревшие вехотки, использованные веники для голиков... Нашел несколько войлочных шапок; достал две, вынес во двор, поколотил о столб, выбивая пыль.

– Вот, держи, – подал Марине и решил спросить: – По очереди будем или как?

Она глянула на него, и Дмитрий угадал, что выбирает ответ. Секунду, но не решалась выбрать.

Выбрала:

– По очереди.

– Тогда – прошу. Разберешься, что как. Воду не жалеи.

– На дом мой посматривай. Подойдут, плеснут...

– Ладно. – Дмитрий вышел из предбанника.

Снова послонялся по двору. Поднялся в избу. В кастрюле была приготовленная вчера тушеная говядина с картошкой, в ведре с холодной водой утоплена бутылка водки... Пригласить Марину поужинать? Или это уж будет слишком?... Домогательство...

Растопил кухонную печку, поставил греть еду. В голове рисовалась хлещущая себя веником по бокам, спине, ляжкам женщина. Вот сползает с полка, окатывается... Грудь поднимается и опускается от тяжелого дыхания... Почти два года он один: была подруга, но уехала с родителями далеко, в Шарыпово. Это на юге края. Последние недели перед отъездом она явно ждала от Дмитрия каких-то слов – может, что скажет решительно: «Оставайся со мной!» Или замуж позовет, или с нею отправится... Но Дмитрий отмолчался, и она уехала. Потом спохватился, стал звонить ей – не отвечала. Длинные гудки или – «абонент временно недоступен». Ругал себя, клял, что так тогда поступил, то есть никак не поступил. Был во время ее сборов и отъезда как в каком-то тумане озлобления из-за гибели родного села, их с отцом дела. Злился и на тех, кто сдавался, уезжал; это, наверное, распространялось и на подругу. Тем более что она, наоборот, воспряла: вот-вот будет жить в благоустроенной квартире, ее отцу предложили хорошую работу, до крайцентра часа три на машине...

«Ну и катись», – мысленно бросал ей Дмитрий; старался избегать встреч. И вдруг не стало нужды избегать – исчезла.

Теперь тосковал, скучал. И чем явней становилось то, что и он тоже вот-вот исчезнет отсюда, тем тоска становилась острее. Всё было напрасно – злость, борьба за дом, за лесопилку. Два года прожиты напрасно, неправильно...

Проверил дом Марины. Ни дыма, ни людей... Подошел к бане. Крикнул:

– Как дела? Нормально?

– Всё хорошо, – ответила Марина из-за двери. – Заходи.

Она сидела в предбаннике, завернувшись в голубоватую простыню. Сладковато улыбалась, и от этой улыбки обычно напоминающее старушечье лицо стало почти девчоночьим.

– Отличная баня, – сказала. – Спасибо, что позвал.

Дмитрий смотрел на ее розовые, без веснушек и родинок плечи. Кругловатые, крепкие. Знобящими волнами накатывало возбуждение...

– Да не за что, – ответил механически; присел рядом с женщиной, отвернулся.

– Жалко баню такую. – Теперь голос Марины был как обычно – скорбным, утомленным. – И всё жалко... У меня в гараже «Иж» стоит. Дедушкин еще... Так-то вроде старье, чермет, а как подумаю, что погибнет... Мы с дедушкой так гоняли!..

– Это с такой люлькой остроносой?

– Угу...

– А, да, помню! – И Дмитрий действительно вспомнил тот мотоцикл. За рулем бородатый дядька вечно в одном и том же спортивном петушке, а в похожей на ракету люльке, за мутным стеклом, надменно улыбающаяся девчонка. – Мы с пацанами тебе завидовали страшно. Сколько раз собирались колесо у люльки проколоть.

– Да? – смешок.

– Ну так – даже в магазин на мотике!

– Мы в такие чашобы на нем забирались! И на «уазике» не проедешь. Раз чуть не опрокинулись, после этого деда меня ссаживал – следом бежала, а из выхлопушки столбы черного дыма... Я и спала иногда в коляске. Днем заберусь в гараже и сплю, будто в путешествии... Что ж, – спохватилась, – собираться буду. Заболтаемся, а жар спадет, тебе не хватит.

– Да ладно, если что – подтоплю... – Дмитрию хотелось еще поговорить; нашел повод: – Картошку выкопать надо, со дня на день заявятся ликвидаторы.

– А вы, что ли, садили?

– Да немного... Слушай, может, посидим после баньки? У меня мясо с картошкой... выпьем по капле...

Посмотрел на Марину, и снова увидел ее такую волнующую нерешительность. Эта секунда показалась ему длиннющей, как прыжок с чего-то высокого...

– Не надо, Дим, – мягко попросила. – Не надо... Сейчас вот хорошо, и пусть так... Спасибо тебе.

– Хм, ты уже благодарила.

– Я не за баню сейчас...

Она ушла другой, чем была последние месяцы. Распрямилась, посветлела. Слово разбила и смыла с себя шершавую корку горя, убивающего напряжения, иссушающего ожидания худшего.

Легко шагала по бывшей улице, и Дмитрию казалось, что сейчас подскочит и побежит вприпрыжку, как в детстве девчонки любят...

Долго, в несколько заходов, стегал себя веником. Листья летели в разные стороны... Когда силы кончались, выбирался в предбанник, хватал свежий воздух, прокашливался, сплевывая в поганое ведро скопившуюся в легких сероватую слизь. Отпивал брусничную воду и снова заходил в парилку. Бросал на камни кипятка, лупцевал спину, бока, грудь, ноги.

В последний заход помыл шампунем голову, ополоснулся. Поставил таз на полок дном вверх, на него – ковшик. Вынес лампу, затушил.

– Ну, всё.

Решил полежать с полчаса, но уснул и без ужина, не выпив ни рюмки, проспал до позднего утра.

Проснулся легким, невесомым, долго, не шевелясь, лежал на спине, медленно и подробно, как в чужом доме, оглядывая комнату.

Сквозь прикрытые ставни пробивался яркий свет летнего солнца, и сумрак разрезали сочно-белые, будто свежая краска, полосы.

В сумраке прятались наваленные по углам горки домашнего хлама, который скапливался годами, вроде и не мешал, находясь под комодом, в шкафу, под кроватью. Но началась сортировка – что брать с собой, что оставить, – и он тут же заполонил пространство. Растолкали, и пусть остается.

Стены голые. Бледные пятна на тех местах, где стояла мебель, висел ковер. Лишь карта мира уцелела. Старая, на которой СССР, ГДР, Югославия. По ней старший брат и сестры учили географию, потом и Дмитрий, но уже зная, что не всё там так, как стало... Хотели поменять на новую. Так и не поменяли... Мать иногда протирала влажной тряпкой покрывающую континенты и океаны пленку.

С карты взгляд переполз на потолок. Неровный, шишковатый, с выпирающей балкой-матицей. Она казалась надежной, как хребет... Дмитрий пытался представить, какое дерево пошло на эту балку. Огромное, старое, но здоровое. Скорее всего, сосна, а может, и лиственницу такую нашли. Кто-то из предков нашел, выбрал в тайге, долго спиливал с кем-нибудь в паре. Наверняка ручной пилой джиркали... Срубили сучья, вытягивали на веревках к дороге, потом как-то доставили в деревню. Наверное, лошадь тащила, или грузовик, но всё равно дело нелегкое... Ошкурили, отесали, отпилили по размеру, дали высохнуть. Подняли на сруб, уложили, настелили плахи, сверху засыпали глиной. Возвели крышу. И вот много десятилетий эта балка держала потолок, окаменела под штукатуркой, известкой. Оберегай ее от влаги, и, скорее всего, будет такой же крепкой и надежной вечно.

В балку ввинчен крюк, за который зацеплен провод. Еще недавно здесь висела люстра с тремя лампочками, окруженными стеклянными чешуйками. Когда лампочки горели, чешуйки переливались красноватым, голубоватым, и вся комната расцветивалась бледной радугой. А сейчас чернеет страшный, не отпускающий крюк.

«Так, вставать, вставать!» И Дмитрий вскочил, сделал несколько упражнений – подобие зарядки, – быстро оделся. Убеждал себя, что впереди полно срочных и важных дел.

Когда и на чем уехала Марина, он пропустил. Может, на лесопилке был, или за продуктами отскакивал, или картошку копал, увлекся, или просто в избе сидел. Понял, что ее больше нет, услышав деловитые, безбоязненные крики мужиков, взрэвы бульдозера.

Вышел за ворота. Возле Маринино дома сновали человечки в серых куртках, забрасывали в кузов грузовика какие-то предметы – отсюда не разглядеть. Громыхнуло железо. Может, сейчас и «ижак» выкатят...

Вернулся во двор, заложил калитку. Стал собирать еще остающееся важное, грузил в «Ниву». Скатал белье, перину... С минуты на минуту явятся и сюда. Их дом тоже формально не существует – в паспорте и родителей, и Дмитрия новая прописка.

– Есть кто? – сипловатое. И следом удары черенком то ли лопаты, то ли топора в калитку. – Хозяева-а!

На моментом ослабевших ногах Дмитрий подошел, открыл.

Этих мужиков он знал – поселенцы с колонии. Два года воевал с ними, и вот они победили. Стояли и держали на губах усмешки. Казалось, сейчас сплунут ему на ботинки и спросят: «Ну чё, чмырина, приплыл?»

– Пора, – сказал явно бригадир, здоровенный, пожилой уже, но крепкий; за какую-нибудь драку с увечьем сел, отбыл на зоне сколько-то лет, а потом оказался на поселении, сделался начальничком. – Готов, нет?

В этом «нет» слышалось нетерпение и заведомая досада, что сейчас этот паренек опять начнет сопротивляться, утверждать: еще ничего наворачья не решено, где документы?..

– Готов, – сказал Дмитрий. – Машину выгоню...

Снял жердь, раздвинул ворота. Сел в «Ниву», завел. В зеркале заднего вида торчали поселенцы-ликвидаторы. Медленно стал выезжать; они расступились и неспешно направились во двор. Дмитрий выскочил:

– Э, мужики! Я сам!

– Что – сам?

– Сам подожгу.

– До «подожгу» долго еще. Надо проверить.

– Чего здесь проверять? Всё, освободил.

– Ну, – бригадир нахмурился, – вдруг баллон какой газовый, бочка из-под бензина...

– Нет тут бочек никаких. Всё в порядке.

– Рамы снять надо, – искал бригадир новые доводы, – металл убираем. Негорючее всё. Тут система целая...

Дмитрий устал. Готов был позволить им хозяйничать. Но глянул на дом Марины, который ворошила оставшаяся часть бригады, представил чужих под родной крышей и стал закрывать ворота.

– Нет, я сам. Давайте бензин.

– Слушай, ты свои порядки не наводи. У нас – санобработка территории, а не просто – подошел, спичку кинул... Едь, парень. Тем боле тебя тут как бы и нет уже...

– Были дома, которые со всеми вещами жгли!.. Ничего...

Поняв, что бензина ему не дадут, да его и не было у мужиков с собой, Дмитрий достал из багажника «Нивы» канистру.

Теперь бригадир встал на пути. Сказал сухо, с угрозой:

– Нам велено негорючее вынести, стекла снять...

– Мужики, – Дмитрий неожиданно для себя заговорил жалобно, умоляюще, – дайте мне самому... Это мой дом, я здесь всю жизнь... Не могу я, чтоб вы... – Запнулся, но досказал: – Курочили.

Бригадир обернулся к своим. Те равнодушно ждали. Один буркнул:

– Я хрен его знает.

– Чё – хрен его знает?! Ты ж потом будешь в золе этой рыться – стекляшки выгребать, железки. Шифер вон...

– Да шифер сторит, – по-прежнему просительно заметил Дмитрий.

– Его снять положено, вывезти. Это яд... – Бригадиру надоело, махнул рукой. – Всё, в общем, грузись и едь. И – забудь. Всё аккуратно сделаем.

И Дмитрий отступил. Сунул канистру обратно.

– Ладно. Только побуду в избе минуту. – Он не курил, но сейчас захотелось. – Сигарета есть у кого?

Бригадир неуверенно, опасаясь какой-нибудь хитрости, достал пачку «Явы». Дмитрий вытянул за фильтр сигарету.

– А спички...

– Хм... Как ты поджигать-то собирался?

– Да есть где-то... сейчас не соображу...

Бригадир щелкнул зажигалкой. Дмитрий затаился, с трудом протолкнул дым в грудь.

– Погодите, я сейчас. Быстро...

Сел на лавку у порога. Поплывшим от табака взглядом обвел кухню. Два закрытых ставнями окна походили на глаза, которые выпучились там, под слипшимися веками, хотят и не могут разорвать их... Огромный стол напоминает скелет какого-то безголового животного, – неприлично пустой, голый без клеенки... Печка казалась уменьшившейся, кривоватой, жалкой.

Дмитрий попытался вспомнить, какой кухня была тогда, когда здесь жили, не думая о переезде. Почему-то вспомнилась бабушка, мнушая тесто на пельмени. Дед чинит подошву унтов; Дмитрий, маленький, ничего еще не умеющий, следит за их работой, учится... В горле булькнуло рыданье.

Бросил окурочек в черную пасть печки, вышел.

Обосновался в подсобке на лесопилке; сторожку занимал Опанька – не выгонять же... Пока поживет здесь, до холодов еще далеко. Тем более что печка есть – маленькая, железная. Ею не обогреешься, но хоть картошку сварить...

То и дело смотрел в сторону своего дома, который был не виден за бугром. Ждал дыма. Дым не появлялся, и становилось всё тревожнее... Небо чистое, ярко-голубое. Но солнце не печет, греет сдержанно, бережно, воздух влажноватый – лучшая погода для огородных посадок. В такую погоду огурцы, помидоры, остальное прямо прёт, наливаются...

Устроившись в подсобке, расстелив на нарах постель, направился в цех.

Ходил вдоль полотна, по которому гнали кругляк к пиле. Постоял возле накрытой мешковиной циркулярки, вспомнилось, как она чуть не отхватила ему палец. Обрезал доску, и она зацепилась за борт полотна неровно срубленным сучком. Дмитрий толкнул ее сильнее, рука сорвалась. Он до сих пор чувствовал холодный ветерок вращающегося диска и коготок стального зуба, царапнувшего кожу. Царапнул еле-еле, даже кровь не пошла, лишь осталась белая полоска... Дмитрий выключил циркулярку, сел на штабель досок. Трясло. Впервые оказался на той грани, что отделяет здорового человека от калеки. Представил, как бежит с окровавленной рукой домой, разрушает своей бедой непростую, но размеренную, крепкую жизнь семьи...

Это воспоминание потянуло следом другое. Лет в десять Дмитрий поехал с отцом в Колпинск, и там отец встретил знакомого. Вместо трех пальцев на его правой руке были багровые пенёчки.

«Ты куда пальцы дел?!» – воскликнул отец.

Знакомый прямо расплылся в улыбке и с этой улыбкой сказал: «Да Ельцину отправил. Ему нужней – страной руководить».

Эта улыбка и шутливый тон потрясли Дмитрия. И уже когда ехали обратно в деревню, решился спросить: «А что, он рад, что ли, что без пальцев остался?» – «Да как рад? – не понял отец. – С чего ты взял?» –

«Ну, улыбается, шутит». Отец покачал головой: «А что ему остается? Про себя-то рыдает – в сорок лет инвалидом остаться. Потому и шутит, чтоб себя не добить».

Тогда Дмитрий не поверил такому объяснению, а точнее – не понял. Ему хотелось еще спрашивать, но боялся узнать что-то по-настоящему страшное, от чего представление о жизни перевернется.

Да, не стал спрашивать, а потом постепенно забыл о том беспалом. И вот вспомнилось, обдало мертвящим ветерком, какой кружится возле зубьев-крючков циркулярки, и Дмитрий, здоровый, целый, ощутил себя увечным – без рук, с изрезанными внутренностями. Бессильный, ни на что не способный, бесполезный. Осталось лишь зло шутить, чтобы не полезть в петлю. Но и шутить не получается – мозг размяк, растрясся...

Сдернуть мешковину с пилы, включить двигатель, закатить на полотно бревно... Даже потянулся к щитку и замер, и захохотал – света-то нет. Электричества нет. Там, в тридцати километрах, вот-вот загудит ГЭС, погонит куда-то киловатты по толстым проводам, и ради этого их лесопилка – то, что делало их семью неинвалидами, некалеками, – должна исчезнуть. Сгореть, погрузиться под воду.

– Оп-па, эт ты!.. – изумленный и обрадованный голос. – Я думал, чужой кто, дрын вот прихватил...

Из-за штабеля бросового горбыля вышел Опанька. Невысокий, плотный, в старой, но вполне приличной штормовке, истертых, но чистых джинсах. В одной руке и впрямь палка, в другой кукан с десятком рыбешек.

– Тоскуешь? – кивнул на пилу. – Да-а, я б тоже послушал визг ее. Песня жизни, хм...

Дмитрию стало полегче от схожести их мыслей – своих и этого бесприютного человека.

Опанька появился в Большакове лет пять назад, и не из дичающих таежных деревень, а откуда-то, как здесь говорили, с материка. Обитал в брошенных избушках; когда его выгоняли из одной, перебирался в другую. Иногда пропадал, потом объявлялся снова. Временами подрабатывал здесь, у Масляковых, а когда лесопилка перестала действовать, стал добровольным сторожем за крышу над головой – маленький дощатый балок-сторожка с одним оконцем.

– Я вот с уловом, – приподнял Опанька кукан, – наварим давай. Или домой поедешь?

– Я здесь теперь.

– Всё? – в голосе сторожа послышался испуг.

– Угу... Жду вот, когда дым пойдет. Но не жгут чего-то.

– Потроша-ат. Им всё в дело...

Дмитрий поморщился:

– Не надо.

– У, понял-понял... Как, ушицу заварганим?

– Не хочу. Вари... Я в подсобке себе устроил – там пока поживу...

«Пока», – повторил мысленно, и так же мысленно спросил Опаньку: «Мне-то есть куда потом, а тебе?»

Не спросил, конечно. Ушел в подсобку, лег на нары не раздеваясь, поверх покрывала, накрылся курткой. Стали лезть мухи, комары; перетянул куртку на голову. Спрятался.

Почти два месяца удерживал Дмитрий лесопилку. За это время в городе был считанные разы – проведал родителей, всячески уверял их,

что дела идут нормально. Продуктами затаривался в магазине возле колонии, у поселенцев покупал бензин для «Нивы». Деньги они брали неохотно, требуя водку, которую в их магазин не завозили, но у Дмитрия водки не было. «Не езжу в город, комиссию жду насчет компенсации», – объяснял, заодно давая понять, что с лесопилкой дело в процессе решения и жечь нельзя.

Но на самом деле было иначе. Разбирательство в суде застопорилось, заявления в разные краевые инстанции возвращались в район. «Замкнутый круг», – привычно объясняли это себе Масляковы. И чем, как разорвать этот круг – непонятно.

Родители получали пенсию, помогал Олег, а Дмитрий был хоть и защитником семейного дела, но в то же время вроде как и нахлебником. По крайней мере себя так ощущал. Подумывал начать снимать оборудование лесопилки, продать двигатели, пилу – и не решался приступить. Всё надеялся.

Рыбачил, рыбой и питался в основном – варил, жарил кое-как на печке. Шли по большей части ельцы, окуни, сорога, пескари, которых у них называли «мокчёны» и ели далеко не все. Брезговали. Но иногда попадались и ленки, хариусы, причем нередко в тех местах, где им совсем не место – не на быстрине, а в заводях. Будто с ума сошли от перемен на реке.

А река менялась чуть ли не на глазах. Расползлась в стороны, течение было какое-то круговое, а то и обратное. И порой, когда Дмитрий видел, как вырванный куст или коряга плывет к истоку реки, пугался, что тоже спятил.

Часто жужжали моторные лодки, бухтели паромы и баржи. Что-то всё вывозили и вывозили с верховья.

В конце августа Дмитрий получил важное и тревожное известие. Как раз рыбачил недалеко от лесопилки, а по реке спускались на моторке двое в окружении мешков.

Неожиданно лодка свернула, мотор с жужжания перешел на прерывистые взвивы, а потом и умолк. Мужики приближались к Дмитрию.

«Блин, всю рыбу распугают!» – разозлился он; здесь неплохо брало.

– Здорово! – не причаливая, упираясь в дно веслом, сказал дядька лет шестидесяти. – Ты Маслякова сын?

– Ну да. А что?

– А мы Мерзляковы... Хм, похожие фамилии...

«Ради этого и подплыли?»

– Мы из Пылёва сами, – продолжал дядька. – У бати твоего бруса брали когда-то. Видим, пилорама стоит...

– Стоит. Но не работает.

– Да это понятно... В октябре гидру запускают. Накапливают воду. По восемь сантиметров в сутки поднимается... Пришлось вот картошку срочно копать...

Дмитрий покивал, желая, чтобы они поскорее отправились дальше. Чтобы исчезли. Не хотелось разговаривать. Только-только наступило в душе какое-то равновесие, приучился жить почти первобытно, привык к ожиданию набегов врагов, был готов их отражать; в определенном режиме жил. И вот подплыли свои и грузят.

– Слышали, распоряжение дано с пилорамой вашей разобраться, – продолжал дядька. – Мусора повсюду полно остается, а целых построек не должно быть. Так что будьте в курсе.

– А от кого слышали? – спросил Дмитрий.

– Знакомый в дирекции работает. У них совещание было, получили, сказал, втык за пилораму. Из Москвы может комиссия приехать, а она стоит...

– Понятно.

Лодка ушла дальше; Дмитрий попытался еще порыбачить, но не клевало, да и не стоялось уже на месте. Вроде бы ничего такого мужики не сказали, но тревога росла, превращалась в панику...

За эти месяцы поселенцы приезжали чуть не по два-три раза в неделю. Явно на разведку, хотя маскировали это под не очень-то ловкие поводы: предлагали купить то бензин, то солярку, продать железо. Иногда Дмитрий покупал бензин, но чаще аккуратно, без резких слов, отказывался. Не стоило их злить, провоцировать на ссоры. Они, видимо, только и ждали, когда Дмитрий пошлет их подальше, чтоб налететь... Дмитрий сдерживался, поселенцы уезжали.

Официальные власти не появлялись. Суд молчал. И до слов этих Мерзляковых Дмитрий уверился, что лесопилку просто бросили – дескать, сама собой утонет. В прямом смысле – концы в воду.

Но вот, оказывается, начальству – непонятному, многоголовому, неизвестно, кого именно представлявшему, государство или миллиардера по фамилии Баняско – очень нужно, чтобы лесопилка перестала существовать до затопления.

Дмитрий долго ходил вокруг двигателей, пил и цепей и в конце концов решил: вывезет хоть что-нибудь, хоть что-то спасет.

Снял деревянный короб с мотора «Тайга», стал откручивать гайки. Мешали работать воспоминания, как радостно, с осторожностью устанавливали лет семь назад этот самый мотор. И вот толком не поработавшую, не отработавшую свою цену «Тайгу» приходится снимать.

Появился Опанька:

– Помочь?

– Пока не надо. – Лучше одному, наедине...

Дмитрий с Опанькой почти не общался. Виделся, конечно, постоянно – обитали-то в метрах друг от друга, – но разговоров избегал. Его раздражал, злил обустроенный, размеренный вопреки обстоятельствам быт Опаньки, его бодрость, песенки вполголоса. Казалось, что вот человек, долго мыкавшийся по свету, наконец нашел свое место, обрел смысл жизни.

Основным занятием Опаньки была заготовка дров. Притаскивал лесину, долго швыркал ножовкой. Отпилив чурку, колот ее на поленья. Снова швыркал... Складывал поленицы вокруг сторожки, словно воздвигал еще одни стены.

– Теплее будет, – похлопывая по поленицам, объяснял. – От ветра защита.

Дмитрий пожимал плечами, удивляясь его уверенности в том, что будет здесь зимовать. Потом понимал: да нет, не уверенность, а надежда. Надежда, стремящаяся стать уверенностью. Дескать, вот так всё и будет. Оставят их в покое, бросят, забудут. И вода остановится рядышком...

А на что еще надеяться? Он, Дмитрий, если прижмет по-настоящему, сядет и уедет к родителям, а Опанька?.. И в дом престарелых не пустят – молод еще для престарелого.

Может, потому и не сходилась с ним близко, не вел откровенных бесед у костра, не ел им приготовленное, чтобы потом, когда придется оставлять это место, не чувствовать вину перед этим вновь лишившим-

ся приюта мужичком. «И так даю ему пожить, – успокаивал себя Дмитрий, – даже в лучших условиях, чем сам. Сторожка – почти изба, а у меня – сарай. Вот-вот насквозь промерзнет».

Через пару дней после разговора с Мерзляковыми Дмитрию нанесли визит. Позже, после последовавших за этим событий, он пытался сообразить, что значил этот визит – то ли последнее предложение, то ли окончательное предупреждение, то ли отвлекающий, путающий маневр...

Подъехал к воротам – Дмитрий держал их на замке, хотя ограды вокруг них, по существу, не осталось – огромный черный внедорожник. Выбрались из него немолодые плотные мужчины. Сразу видно – не работаги. Двое в костюмах, один в плаще... Водитель, видя, что Дмитрий идет к воротам медленно, посигналил – поторопил.

– Вы хозяин? – кивнув на строения, поинтересовался седоватый, восточной внешности и говоривший как-то по-восточному мягко, мужчина.

Дмитрий остановился в шаге от ворот из стальных прутьев.

– Да. А вы кто будете?.. Если не секрет, конечно.

– Не секрет, – восточный улыбнулся. – Я директор дирекции по подготовке водохранилища. Рашид Рифатов. – И добавил веса отчеством: – Рашид Рагибович.

– Директор? Другой же директор был.

– Котельников?.. Он ушел.

– Хм, – Дмитрию стало забавно, – недолго посидел.

– Недолго. – Рашид Рагибович переступил с ноги на ногу. – Вы нас пустите? Нехорошо через решетку.

Дмитрий открыл ворота. Трое начальников, стараясь идти по траве, а не по комьям земли, двинулись к лесопилке.

– Предприятие, как я понимаю, в рабочем состоянии, – сказал директор. – Оборудование укомплектовано...

– Да. – Говорить, что начал разбирать пилы, Дмитрий не стал.

– А что же вы так – всё ложе водохранилища готово, только вы остались. До пуска – месяц. И... – Рашид Рагибович сделал значительную паузу. – И участие самого президента согласовано. Понимаете? Он нашел время, а здесь... Может сорваться такое событие. Как так, уважаемый?

«Уважаемым» без имени Дмитрия до этого называли только милиционеры...

Рашид Рагибович остановился и вопросительно-грустно смотрел на Дмитрия. Даже как-то жалеюще, как на неразумного, которого и жалеешь за неразумность, и наказывать бы нужно...

Против воли Дмитрий почувствовал себя действительно виноватым. Отвел и опустил глаза. Но стоило только перестать видеть глаза директора, гипноз пропал.

– Мы бы давно перевезли, когда бы нам место дали. В двух судах судились, оценку делали, какая должна компенсация быть, если вот так всё оставить.

– И что же дала оценка? – со скрытой усмешкой спросил человек в плаще.

– Четыре миллиона.

– Да? – Рашид Рагибович недоуменно и тоже вроде как с усмешкой приподнял густые седоватые брови. – Это немало. Очень немало... Из чего возникла такая сумма?

Дмитрий хотел было начать перечислять, сколько стоит оборудование, техника, сколько коллектив лесопилки потерял на вынужденном простое... Вместо этого, чувствуя всё нарастающую злобу, особенно после усмешек, сказал:

– Все расчеты у вас в дирекции лежат. Поглядите.

– Но хотелось бы услышать от вас. На месте, так сказать... Мы вот можем обосновать каждый рубль. К финансам относимся очень серьезно. – И Рашид Рагибович из доброго большого человека стал стремительно, с каждым словом, превращаться в сердитого, готового покарать. – Впервые за двадцать лет государство запускает крупное, стратегическое предприятие. Брошены все силы, техника, трудятся в усиленном режиме, на достижение одной цели тысячи людей. Тысяч-чи! И тут находят такие, которые не только не помогают, а ставят палки в колеса. Которые, по существу, саботируют!

Дмитрий слышал такое только в старых фильмах. Кажется, именно с такой же, слегка нерусской интонацией подобное там и говорилось. «Когда все в едином порыве!..»

Стало весело, как перед дракой. Сказать сейчас этому нелепому оратору пару ласковых и выпроводить гостей за ворота. Они вряд ли будут сопротивляться. Повесить замок... А если не захотят уходить – в подсобке есть ружье. Покушение на частную собственность считается уголовным преступлением...

Директор, видимо, уловив настрой этого парня в камуфляжном бушлате, сменил тон:

– Есть такое к вам предложение – мы предоставляем вам две машины ЗИЛ. Паром выделить нельзя – он не сможет причалить... Так вот, после завтра придут машины, вы грузите технику.

– А дальше? – У Дмитрия зажгло в груди.

– Сергей Андреевич, – директор указал на мужчину в плаще, – думаю, ищете место на складах для временного хранения. Я не ошибаюсь, Сергей Андреевич?

– Попробуюсь.

– Нет, так не пойдет, – теперь Дмитрий усмехнулся. – Нам нужна земля, хотя бы полгектара. Не для того мы все эти пилы покупали, чтоб они ржавели на складе.

– Но я же сказал – «для временного хранения». Администрация района рассматривает вопрос о предоставлении участка под ваш бизнес.

– Два года уже рассматривает...

Рашид Рагибович стал терять терпение:

– Молодой человек, эта земля, – мотнул головой полукругом, – уже документально изъята для государственных нужд. Государственных!

– Государственных? А вроде ГЭС Баняске принадлежит, миллиардеру этому...

– Ох, вы, кажется, совсем не понимаете особенностей времени. ГЭС – проект, в котором участвует и частный бизнес, и государство. Так принято во всем мире. Во всем цивилизованном мире!.. – Рашид Рагибович сделал короткую паузу, чтоб успокоиться. – Дирекция по подготовке в моем лице, администрация района в лице вот Романа Борисовича готовы пойти вам навстречу. А вы – не хотите. Поймите, что своим немотивированным упорством вы тормозите всю цепь. Сложную, долго и трудно создававшуюся цепь. Вы знаете, например, что людям в колонии угрожает голод?

– В смысле?

– Колония фактически не выполнила условия договора по санитарной очистке территории. И им не перечислены деньги на закупку питания. Колонии-поселения, как вам наверняка известно, находятся на самоокупаемости. И вот мы не знаем, чего ждать от заключенных – уже начались признаки недовольства...

«Намек понят», – отметил Дмитрий; ждал, что еще скажет директор и эти двое его сопровождающих.

– Поэтому мы очень просим вас пойти нам навстречу, – голос Рашида Рагибовича снова стал мягким, почти униженным. – Мы пошли, и вы тоже пойдите... Выделяем два грузовика, рабочих, если нужно, и место на нашем складе. И рассматриваем возможность выделения площади под производство. Так ведь, Роман Борисович?

Представитель администрации с явным неудовольствием произнес:

– Это предмет для переговоров.

– Так что, уважаемый, отправлять машины?

Дмитрий секунду-другую сомневался. Потом сказал:

– Без документов, что нам предоставлена земля под лесопилку, я ничего перевозить не буду.

– Да ведь это не решается за пять минут!

– У вас два года было... больше даже, чтобы решить... Гнать людей с той земли, где они жили, вы можете... – Дмитрия колотило, говорить стало трудно, будто его кто-то хватал за горло. – Гнать можете, а взамен давать – переговоры. Интере-есно!..

– Вы тут анархию не проповедуйте, – жестко заговорил Роман Борисович. – Это не старые времена, когда любой захватывал и делал что хочет. Хотите – покупайте. Частная собственность на землю у нас теперь разрешена. Покупайте и распоряжайтесь.

– На какие шиши?

– Берите кредит. Или – заключайте договор на аренду. Вообще все предыдущие годы вы арендовали землю с вопиющими нарушениями, и, по закону, и вас, и администрацию сельсовета нужно бы привлечь к ответственности...

– Да на этом месте свалка была!..

Роман Борисович развел руками:

– Территории промышленных и бытовых отходов существуют везде...

– Всё, достало! – Дмитрий почувствовал, что вот-вот может броситься на этого непрошибаемого, крупного, сытого представителя. – Вам надо, чтоб нас не было, а мы – будем! Всё, до свидания.

– Нехорошо вы говорите. – Азиатская манера проявилась в голосе Рашида Рагибовича особенно отчетливо. – Нехорошо. Мы к вам, а вы навстречу пойти не хотите... Но прошу вас подумать.

– Я давно обо всем подумал. – Дмитрий стал слегка успокаиваться, решил еще раз объяснить. – Сами смотрите: у моей семьи был этот заводик. Отца упросили на месте свалки сделать что-нибудь... Мы работали, людям работу давали, у нас покупали доски, брус, дрова... Тут объявляют: «Всё, выметайтесь!» – «Куда?» – «А куда хотите!» Это как, нормально? А?

– Послушайте, – заговорил Роман Борисович, – если бы вы были одни у нас, это одно. Но мы переселяем тысячи людей. Из них сотни – предприниматели... Такого в новейшей истории России вообще еще не было, чтобы столько людей с места на место... Сейчас нет возможности предоставить вам участок, и даже в законе такого нет... Но мы

будем пытаться решить вашу проблему. Пока же предлагаем перевозку и склад для хранения.

И тут, в который раз услышав про склад, Дмитрий перешел границу, отделявшую зыбкий мир от откровенной войны. В запале крикнул:

– Да не нужно нам ваше хранение! Мы работать хотим! Когда дадите возможность работать, тогда будем разговаривать...

– Значит, вы категорически отказываетесь от наших предложений? – уточнил директор, гневно шурясь.

– От таких – да!

Дмитрию казалось, что еще немного, и он додавит – отступить-то этому начальству некуда, поэтому и примчались...

– Что ж, нехорошо. Мы к вам с душой, а вы – так... Очень нехорошо.

Рашид Рагибович развернулся и пошел к воротам. Следом – остальные двое... Дмитрий расслышал, как Сергей Андреевич, мужчина в плаще, заворчал:

– Я ж говорил, что ничего не даст. С этим народом... Зря только время потратили.

После разговора Дмитрий не мог найти себе места. Захлестывала злоба вперемешку с почти детской радостью победы и уверенностью: начальники примут его условия. Дотерпел, додержался, дождал!.. Испугались, когда приперло, примчались сами. Понятно: возьмет и решит президент перед запуском ГЭС посмотреть, как там на водохранилище. А тут – бац! – лесопилка с ним, Дмитрием. Кто? Почему? По какой причине не переехал? И полетят головушки. Котельников, предыдущий директор по подготовке к затоплению, с год всего просидел в своем кресле и слетел. До него Наговицына, такого жучару, тоже со скандалом уволили. У Рашида этого наверняка тоже не всё чисто... «Нормально, – потирал руки Дмитрий, – сдвинулось!»

Даже позвал Опаньку распить заветную бутылку водки, стал рассказывать, что за люди были днем. Не смог удержаться – порадовался вслух скорой своей победе. Опанька же, наоборот, затосковал, задумался.

«Действительно, ему-то это приговор. Куда ему, когда я всё вывезу, а остальное спалят?» Хотелось как-нибудь ободрить. Но как?

Допивали уже в молчании.

Ночью приснился яркий, совсем как жизнь, сон. С сюжетом.

Вот он в квартире, утро. Светлая, просторная комната, ванна белая и теплая... Вот завтракает, но почему-то один – родителей нет нигде, – и едет на работу.

Заводик тоже светлый, из свежего дерева, крыши пилорамы, сторожки, подсобки, склада покрыты зеленой металлочерепицей. Территория огорожена рабицей. И там, за оградой, трудятся люди. Дмитрий узнает их – это те, кто был и здесь. Лешка Щербаков, дядя Юра... А вот отец. Веселый, сильный. «Здорово, брат! – улыбается, направляясь навстречу своей, как раньше, походкой слегка вперевальцу. – Давай подключайся – еще два куба досок срочно надо нарезать».

Когда-то в детстве случалось – от слишком ярких снов перехватывало дыхание, и Дмитрий резко просыпался, будто кем-то ударенный... И вот сейчас так же...

Распахнул глаза и долго не мог понять, где он. Почему так холодно и чем это пахнет – прелью какой-то, пылью.

Постепенно всё вспомнил, осознал, что не комната, в которой он только что просыпался во сне, а щелястая подсобка. И нет еще заводи-

ка, на который поедет, позавтракав, и отец сейчас погасший, сломавшийся... Но ведь есть такое понятие – вещий сон. Может, это как раз такой сон... И Дмитрий стал с удовольствием повторять его сейчас, проживать заново...

Весь день разбирал оборудование, аккуратно укладывал детали, чтобы потом не перепутать, собрать быстро и правильно. Всё прислушивался, не едет ли снова машина с начальством, согласным на его условия. Или гонцы от начальства. А следом ЗИЛы, рабочие... Быстро грузятся, Дмитрий забирает вещички из подсобки, закидывает в «Ниву» картошку, а дальше – всё как во сне.

Но машины не было, давила тишина – даже птицы не щебетали. Исчезли после того, как порубили деревья.

«Ничего, завтра, – успокаивал себя Дмитрий. – Вчера говорили же – "послезавтра". День прошел, значит – завтра. Как раз успею подготовиться».

Вечером до красноты протопил железную печку, понимая, что она через пару часов остынет – ночи уже под минус, – но хоть заснуть в тепле. Лег, не снимая штанов, бушлата; навалил поверх одеяла тряпья. Уснул быстро, как хорошо поработавший, много сделавший человек.

...Услышал шаги и поначалу не придавал значения – скорей всего, Опанька шарашится. И тут – удар в дверь. Запора нет, да и зачем ее, хлипкую, ни от кого не способную защитить, запирать? К тому же «Нива» там, за дверью, – ее охранять надо в первую очередь, а не себя...

Дмитрий подскочил, выпутываясь из одеяла, курток, ослепленный острым столбом света. И из этого столба получил удар в скулу. Голова дернулась, потянула за собой туловище... Завалился набок... Новый удар, еще...

Бил явно один, бил молча, лишь сопя и при каждом ударе коротко, сухо хэкая.

«Только подняться, – крутилась волчком мысль, – надо подняться». Силы еще оставались... Подняться, отбиться. Еще удар, еще, еще... Дмитрий упал на пол и сразу получил в висок ботинком. Свет погас...

Очухался на улице. Лежал на животе возле «Нивы». Вокруг метались тени, блики; где-то, казалось, очень далеко, размеренно вскрикивал Опанька.

– Во, и ружье у него имеется, – голос над головой, – патронов целый пояс.

– Ага, из него и застрелится!

Смех.

Дмитрия рванули вверх, поставили на ноги.

– Живой пока?

Он увидел знакомое, широкое лицо мужика лет пятидесяти. Мужик зло кривил рот, а глаза были спокойные.

Держа Дмитрия одной рукой за грудки, стянув, завернув одежду у горла, слегка душа ею, другой рукой мужик обшаривал его карманы. Дмитрий не видел, но чувствовал, как он вынимает мобильник, бумажник с паспортом и деньгами, ключи от машины.

– Вы что творите? – хрипнул Дмитрий, глотая воздух и соленые слюны. – Вам зачем это?

– Ничего личного, земля. – Мужик на мгновение пересекся с Дмитрием взглядами. – Нам сказали, мы делаем.

«Кто?» – хотел спросить и понял, что об этом спрашивать нельзя; силы немного вернулись, можно попробовать вырваться и если не уработать

этого, шарящего по карманам, то хоть убежать. Но рядом с мужиком стояли еще двое или трое. Они перехватят...

– Ничего личного, – повторил мужик. – Ты сам виноват – думать надо было, с кем войну затевать. У людей проблемы из-за тебя...

И сказав эти несколько явно чужих слов, он будто осознал, что Дмитрий виноват на самом деле, и, не ослабляя хватки левой рукой, правой засадил ему в голову... Сознание опять обвалилось.

Обнаружил себя Дмитрий в тесном ящике. А, багажник... «Ниву» потряхивало, по лбу постукивало что-то деревянное. Черенок чего-то... Пошевелился и застонал от колющей боли в виске, в скуле...

– погоди, немного осталось, – сказали Дмитрию; это был другой голос, не того мужичары.

– Скоро отмаешься, – добавил третий, молодой, какой-то азартный, – и всем станет полегше.

Разговаривать с ними не надо – бесполезно. По крайней мере сейчас. Вообще лучше притворяться беспомощней, чем есть. Пусть расслабятся. И тогда попытаться сбежать.

Толкнул крышку багажника. Заперта. Разбить окно и вывалиться? Нет, быстро не получится... Остается ждать и надеяться на удобный момент. Или что они передумают... Снова надеяться...

«Нива», ощутил, нырнула в низину.

– Вот тут само то, – сказал азартный. – Толстый, стоп!

– Дуло залепи!

– Чего?!

– Ты меня еще по имя-отчеству называй.

– А, ну извини...

«Не убьют», – обдала теплом мысль. И тут же остудила другая: «Играют?»

Машина остановилась. Мужики, тяжело кряхтя, стали вылезать. Открылась крышка багажника, сильные руки схватили Дмитрия и бросили на землю. Рядом звякнула лопата... Дмитрий хотел приподняться и получил два удара ногой. Один попал по руке, другой – в бок. Там хрустнуло, боль не дала вздохнуть. «Рёбра!» – молча крикнул Дмитрий. Скрючился, свернулся, протяжно, сквозь боль, промычал.

– Дернешься – горло сломаю, – сказал тот, что бил. – Ме-едленно подышать будешь, торопить ее будешь... Понял, нет? – И по сравнению с другими – слабенький пинок по ноге выше колена.

Дмитрий хотел сказать: «Понял», – но получился невнятный бормоток. Челюсть не слушалась.

– Чё, копать? – спросил голос азартного.

– Да копать, копать! Утро скоро, пока провозимся... И холодно, сука...

Лопата с хрустом резанула дёрн... Один, копавший, фыркнул и плевался, остальные молчали. Кто-то закурил...

Дмитрий лежал на боку, пытался разглядеть лица, узнать место... Тот что бил, видимо, соскучившись, невольно помог – взял его за шиворот, поставил на колени.

– Ну вот, земля, довоевался. А мог бы жить да жить еще.

Одеты мужики были не в поселенческие бушлаты, а в гражданские куртки, ватники. Но один показался знакомым – как-то приезжал в деревню на санзачистку. А может, просто похож... Да и как утверждать, что это за люди – поселенцы из колонии, или строители гидры, или вовсе нанятые где-нибудь бичуганы, которые сделают дело и укатят за тридевять земель...

Находились в какой-то приречной логовине – рядом с местом, где копали яму, поблескивала в траве вода. Дальше ничего не различить – густая чернота августовской ночи. И, наверное, поэтому не было страшно, точнее, не верилось, что это реальность, что сейчас его, Дмитрия Маслякова, двадцатичетырехлетнего парня, не станет. И последнее, что он увидит, – беловатые столбики света фонариков, потные мужики и эта плотная, как стена, тьма.

Вспомнилась давнишняя передача по телевизору. Там показывали съемку расстрела одного человека. Говорят, запись у боевиков нашли... Обыкновенные парни-кавказцы приводят в какой-то то ли пустующий склад, то ли в цех заброшенного завода мужчину в тельняшке. Расспрашивают, обращаясь на «вы», зачем он приехал в их город, шпион или нет, военный... Парни хорошо говорят по-русски, мужчина слегка нервничает, но не рвется уйти, не повышает голоса. Даже когда парни объявляют, что убьют его... Один достает пистолет, приказывает: «Разувайтесь». Мужчина садится, расшнуровывает ботинки, снимает. Встает. «Можно покурить?» – спрашивает. Ему отвечают: «Нет». Парень поднимает руку с пистолетом; мужчина стоит и смотрит. На секунду-другую оба замирают. Потом – выстрел. Мужчина в тельняшке падает.

Так просто.

– Ну чё, долго еще там? – сказал бивший; Дмитрий решил, что именно его называли Толстый.

– Блин, земля тяжелая...

Толстый достал из машины ружье, надломил его, вставил патроны. Взвел курки, ткнул стволом в голову Дмитрию.

– Довоевался, – повторил, видимо, понравившееся слово. – Молись теперь.

– Убери, – размыто сказал Дмитрий. – Что делаешь!..

Грохнуло. И – тугой, режущий уши звон. Сквозь него – крик:

– Я тебя завалю, гаденыш! Завалю и зарюю! Завтра здесь вода будет. Вода всё скроет. И хрен кто найдет. Ты понял? Понял?!

Тычок стволом в голову. Между затылком и ухом.

«Пугает, – бессильно заклинал внутри. – Пугает».

– Всё, хорош. Уляжется.

Схватили и поволокли. Точнее – понесли, как котенка, за шкурку... Бросили.

– Как, удобно?

Яма оказалась совсем мелкой и тесной. И снова обдало надеждой: «Не будут...» Ведь всплывет, если действительно...

– Мужики, кончайте, – проговорил сквозь болевые щелчки в челюсти. – За ерунду... убивать...

– Думать надо было, как ведешь себя. Раньше думать надо было. А теперь-то что... – И Толстый навел ружье.

Дмитрий всерьез, как о чем-то самом важном, задумался, чем заряжен патрон. Знал, что в поясе есть два патрона с пулями, два – с крупной дробью, штук десять – с мелкой... Можно ли убить мелкой дробью? Если в упор, то, наверное...

– Слушай, земля, а если договоримся? – нарочито неуверенно сказал Толстый. – Можем мы договориться, как считаешь?

– Да не хрен с ним говорить! – встрял азартный. – Заложит ведь, сука! Вальнём...

– Заткнись. – Толстый опустил ружье и присел на кукорки. – Будем договариваться?

– Будем...

– Угу, хорошо. Значит, первое – ты сам сжигаешь эту свою хреновину. Сегодня же. И вопрос закроют. – Подождал. – Да? Нет?

Дмитрий хотел сказать, что позавчера приезжало начальство и вопрос с перевозкой почти решен. Попытался, но первые же слова превратились в кашу, и сил объяснять не было. Замолчал, глядя на ботинки Толстого, ожидая удара.

– Ты чё, пьяный, не пойму...

– Челюсть, – сказал Дмитрий; получилось – «цеюсь».

– Так я не понял – да или нет?

Дмитрий кивнул.

– Так, добро. И второе – насчет звиздюлин. Сам, типа, с крыши упал, еще откуда...

– На машине перевернулся, – подсказали.

– Нам по хрен причина. Главное, сам. А что поучил маленько, так сам виноват. – Толстый заговорил, как старший товарищ, и Дмитрий с изумлением и стыдом почувствовал к нему чуть ли не симпатию. – В натуре, чё ты тянешь на всех-то? Всем хреново делаешь... Давай, короле, замнем это дело.

Он помог Дмитрию подняться, спросил:

– Тебя Димкой зовут? Правильно?

Дмитрий кивнул; хотелось плакать от счастья. Сам себя упрекнул: «Мало ж тебе надо».

– Ну как, договорились, земля?

– Да.

Обратно везли уже не в багажнике, а на заднем сиденье. Парализующее ожидание скорой смерти сменилось физической болью. При каждом вдохе и выдохе резало с правой стороны груди, в виске кололо, лицо оплыло, и нижняя челюсть, казалось, рассыпалась там, под кожей. Голова кружилась, тошнило, на глаза давило изнутри...

Но даже не сама физическая боль, а понимание того, что его именно сломали – и физически, и морально, – не давало думать о том, как быть дальше... «В больницу надо, – кричало, требовало. – В больницу скорее надо».

Мужики, их было трое, молчали; тот, что был рядом с Дмитрием, смутно ему знакомый, всё отворачивался. Сидевшие впереди напряженно смотрели в лобовуху. За окнами колыхался сумрак – на краю неба появилась, растекалась красновато-серая полоса восхода...

Приехали. Вылезли из «Нивы». Толстый открыл багажник.

– Это что в канистре? Бензин?

Дмитрий кивнул, но Толстый не увидел кивка, стал свирепеть:

– А? Не слышу! Ты опять мурьжить решил?

– Бензин.

– Так бери и действуй. Нам ждать некогда... Давай-давай, шевелись.

– Говорил, надо валить, – сказал азартный; он был невысокий, худой, но, кажется, жилистый. – Не будет толку...

Дмитрий достал канистру, понес к лесопилке.

– Сам поймешь потом, что это правильно. Точку ставить пора, – внушал Толстый. – Нам-то по хрену вообще-то – ничего личного. Но другие многие парятся – долбят их за эту вашу хрень. А она стоит и стоит... Пора уже... Плескай.

Правая рука слушалась плохо... Открыв канистру, кое-как подняв ее, Дмитрий неуклюже стал поливать столбы навеса, стену сторожки... Вспомнил про Опаньку.

– А эвек? Зесь эвек бый...

– Чего?

– Человек здесь еще был, – отчетливей повторил Дмитрий.

– А, он всё... ушел. Забудь про него... Спички-то есть? Держи тогда.

Надо было сказать про пилы, про вещи в подсобке, про пять кулей картошки, про то, что сегодня, прямо сегодня, скорее всего, из города приедут машины. Но Дмитрий не мог – больно было говорить, да и бессмысленно. Их не убедишь.

Голова кружилась, земля под ногами плыла и словно обрывалась... Сделать вид, что сознание потерял? Может, это спасет, а может, испугаются и бросят в огонь.

– Мы машину возьмем. Потом найдешь... Травмы сам получил. Так? – говорил Толстый. – Паспорт и телефон вернем сейчас... Мы не бандюганы какие... Надо так – поучили. Чиркай давай и – разбежимся.

Спичка зажглась легко. Дмитрий подержал ее меж пальцев, глядя на это слабое оранжевато-синее, красивое перышко, а потом бросил на стену.

Бензин ухнул, пламя разбежалось по доскам.

Олег РЯБОВ

Поэт и прозаик. Родился в 1948 году в Горьком. Окончил Горьковский политехнический институт имени А.А. Жданова. Работал в Научно-исследовательском радиофизическом институте (занимался проблемами внеземных цивилизаций), облкниготорге, издательстве «Нижполиграф».

В настоящее время — директор издательства «Книги». Член «Российского Союза антикваров», «Национального Союза библиофилов». Главный редактор журнала «Нижний Новгород», редактор-издатель альманаха «Земляки», председатель Нижегородского отделения Литературного фонда России.

Член Союза писателей России с 2002 года. Живёт в Нижнем Новгороде.

ПРО ВАСИЛИСУ ВАСИЛЬЕВНУ

Василиса Васильевна сильно ругалась матом. Даже неправильно я сказал: не ругалась, а говорила. И хотя было ей уже далеко за семьдесят, подкосил её, конечно, майский указ Государственной Думы о ненормативной лексике. Просто подкосил. Для таких, как баба Вася, семьдесят не возраст.

Она так виртуозно владела этим языком, с которым решили бороться наши законодатели, что посторонние люди на улице останавливались как вкопанные и слушали её, будто она пела песню. Я плохо разбираюсь в филологических терминах, но чувствую, что она на ходу создавала новые олицетворения и гиперболы, её деепричастные обороты повторить было просто невозможно. А количество падежей в её речи было — и не сосчитать: и звательный, и ждательный, и счётный.

Помнится, много лет назад на телевизионной передаче «Театральные встречи» ведущий попросил Ирину Архипову спеть после выступлений Гурченко, Караченцова и Боярского. Она согласилась со словами: «Ну уж если эти поют, то мне-то сам бог велел». Так вот, бабе Васе сам бог разрешил пользоваться этим языком.

Я хорошо знаю её детей, Машу и Колю, и внучат её знаю: приличные интеллигентные люди, но поразъехались все. И осталась баба Вася одна доживать свой век в нашем дворе, в маленькой комнатке коммунальной квартиры. Правда, мужик один, в годах уже, частенько к ней заглядывал: то мешок картошки привезёт, то рыбы свежей, а то просто посидит у неё в каморке, чаю со старухой попьёт. Лёнкой его звали.

Соседи по дому, да и по двору, относились к бабе Васе не просто снисходительно, а скорее поощрительно и даже уважительно, как, впрочем, и ко всем пожилым людям, которых у нас, в центре города, в бывших купеческих домах, готовящихся к слому, живёт ещё немало.

Баба Вася была в молодости крупной женщиной, хотя годы и согнули её. Волосы у неё были густые, толстые, прямые, чёрные, с редкой проседью; она их стригла под горшок, но из-за своей прямизны и толщины они торчали у неё во все стороны, как у циркового клоуна, – не помогали ни берет, ни шляпка, ни косынка, которая завязывалась как-то по-пиратски, узелком сзади. Нос у неё был крупный картошкой, а под носом на верхней губе большая дворянская родинка с волосом. Очками баба Вася пользовалась, но только когда читала. Надо сказать, что моя героиня была и подкована, и грамотна, и литературу знала, и компьютером пользовалась. Ну, и что ещё? Одевалась она, как и все старухи: осенью, зимой и весной – валенки с галошами и какое-нибудь пальто, а летом – сарафан поверх темной, но цветастой кофты, которых было у неё, по-моему, множество.

В общем, несмотря на такое вот угрюмое описание, была похожа баба Вася не на Бабу-ягу, а на Илью Муромца в старости или на Соловья-разбойника, но тоже в старости. Было в ней что-то героическое, назидательное и отважное.

Была у бабы Васи и своя скамейка во дворе, которая непременно и моментально освобождалась, если старуха появлялась на горизонте. Потому что, если этого не происходило, громогласные волны брани заполняли пространство двора и вываливались на проезжую часть улицы, как груды битого кирпича, пугая не только прохожих, но и транспорт. Но когда она уже устраивалась на своей точке, то не возражала, чтобы кто-нибудь и подошёл к ней пообщаться: это могли быть и соседки-старухи, и подвыпившие мужички, и ребятишки, желающие подшутить над пожилым человеком.

Я знал про бабу Васю, наверное, всё. Она родилась прямо перед войной здесь, в центре города, в одном из соседних дворов и не раз рассказывала мне про послевоенное детство своим сочным, непереводаемым на обычный русский языком. Я не рискну воспроизводить рассказ дословно.

Было их у матери три сестры, и отца баба Вася не помнила – пропал куда-то без вести в конце войны. После войны старшие сёстры замуж повыскакивали – женихов полно появилось. Осталась баба Вася с матерью вдвоём в своей квартирке, но уже без капитанского аттестата и без средств к существованию. К тому же быстренько их уплотнили, оставив одну, но большенькую комнату. И наладились они с мамкой пускать к себе на постой девок со швейной фабрики: сдавали углы.

Разделили комнату ширмами, поставили в трёх углах сундуки, накрыли их шобаньём старым и пустили на каждый сундук по девке фабричной. После войны много их из деревень, от голодухи спасаясь, понаехало, да только работу находили они, а вот с жильём проблемы были. Кто устраивался няньками да кухарками к профессорам и полковникам, тот жильём обеспечивался. А те, кто на завод или на фабрику, – тем туго приходилось.

Я любил слушать все эти бабы Васины истории, жаль только, что не передашь всей сочности её русского языка и фантастической легкости, с которой она манипулировала словами и понятиями из совершенно разных лексических слоёв.

После войны бедно жили: электричество часто отключали, приходилось керосин покупать для керосиновых ламп и для керосинки, сортир – во дворе, за водой – на колонку, на улицу. В сенях стояли ведра с водой и чайник, у которого из горлышка все, кто жил в доме,

пили. Так вот – одна из девок заболела сифилисом, и она тоже пила из этого чайника целый год, пока не определилось её болезненное безобразие, но никто никаким бытовым сифилисом не заболел. Так что бытовой сифилис, по мнению бабы Васи, это миф. Она так и сказала – «миф»! Девки деревенские были здоровенные, крепкие, кровь с молоком, да какие девки – тётки уже. И поэтому, кроме проблем с жильём, были у них ещё проблемы гормональные. И понятно, как они их решали: с солдатами, на скамеечках в сквериках да в подъезде, в тамбуре.

«Палубы мокрые» – звала их баба Вася. Аборты запрещены были, и если не выходила девка замуж по залёту, то возвращалась к себе в деревню с пузом. А сколько их гибло в подпольных абортариях на протертых клеёнках кухонных столов, страшно сказать.

Вот одна из таких фабричных девчонок, Люськой её звали, после того как пузо-то у неё образовалось, поехала к себе домой в деревню. Попрощалась с подругами, хозяйкой, вежливо всё, пристойно, собрала узелок да уехала. Да только не приняла её в родном доме мачеха, а отец не заступился, и вернулась Люська через два дня назад в город.

Сидит себе на скамеечке деревянной, узенькой около завалинки, семечки лузгает. Баба Вася девчонкой десятилетней была, покликкала она мамку, а та девку-то и пустила назад, на тот же сундук, на котором та и прежде жила. Так Люська и родила на этом сундуке, а мальчишку Лёнкой назвала. А потом устроилась дворничихой работать, комнату дали в подвале. Прошло время, и жених появился у Люськи, лейтенант молоденький, и в загс он её позвал: в Германию надо было ехать служить.

Тут уж понадобился Лёнька деревенской Люськиной мачехе. Сама приехала за мальчонкой из деревни, а что – кому не хочется из-за границы гостинцы и подарки получать. Не каждой бабе так повезёт.

Вот так устраивали свои судьбы «кривосаки» деревенские послевоенные.

И всё-таки испортили эти «мокрощёлки» фабричные бабу Васю: прилип к ней этот разговорчик послевоенно-приблатнённо-люмпенский, от которого не смогла она избавиться за всю свою жизнь – да и не хотела! Считала себя носителем этой субкультуры.

Было и на эту тему у бабы Васи своё мнение, что это и не субкультура, а культура целой социальной прослойки общества, если признать, что в основе любой культуры лежит язык. И отнимать у части общества его средство общения – это разрушать весь социум, потому что человеческое общество существует как замкнутая экосистема. И, убирая любой элемент в экосистеме, мы нарушаем баланс почти всегда неоправдимо. Под словом «отнимать» и я, и баба Вася понимали не запрет, а перенос этого специфического средства общения в другие социальные группы, изначально не готовые к его использованию: дети, студенты, творческая интеллигенция, администраторы всех мастей – есть у них у всех свой язык. А поэтому им-то вот и надо запретить пользоваться тем, что им не принадлежит, а особо – писателям, журналистам и чиновникам.

Вот такие серьёзные вопросы волновали иногда бабу Васю, и обсуждала она их вполне серьёзно, и беспокоил её очень майский указ о запрете использования ненормативной лексики. Так волновал, что обсуждала она его публично и всенародно. Только каким-то гадам не

понравилось личное мнение Василисы Васильевны, и заползли в наш двор однажды два молоденьких откормленных полицейских, как к себе на кухню – два рыжих уверенных таракана. С улыбочкой вежливой и ехидненькой составили они протокол и выписали штраф бабе Васе на пятьсот рублей за нарушение майского указа.

Заплатила баба Вася штраф и слегла. Вот уж три недели лежит, не встаёт. Зима уж наступила, снег выпал. Не знаю – встанет ли!

АГДАМ

Водка была холодной и сладкой. Можно было даже не закусывать. Она маслянисто ложилась на нёбо, заполняла всю полость и текла тонкой горячей струйкой по пищеводу куда-то в центр. Мы с Белкиным пили водку маленькими глотками в ожидании ухи и нашего друга Николая, сидя на открытой деревянной веранде ресторана.

Это было давно.

Это было в Городце.

Это сейчас Городец похож на глазурованный пряник, а тогда это был покрытый пылью веков и легенд настоящий русский провинциальный город, не претендующий ни на что, кроме своей истории. Самоуверенные замшелые полукаменные купеческие особняки и скособоченные лачуги, сползающие по оврагам вниз, чтобы там раствориться в вечности. Мы любили раза два-три за лето приезжать сюда просто погулять. И уж непременно ездили, когда к нам из Питера приезжал в гости наш друг Николай.

В «Чайной» на местном рынке дожидаться первого пива, бочкового, лысковского разлива. Посмотреть, как мастерски, выбранный из толпы самой буфетчицей, счастливчик берёт ручной насос для слива и с одного удара загоняет его вместе с пробкой в крышку двухсотлитровой дубовой бочки. Две первых кружки утреннего пива – ему, бесплатно: это приз.

Здесь же на рынке, в магазинчике потребкооперации, можно было купить сухое вино Джанкойского винзавода по шестьдесят семь копеек за бутылку. Бутылки были полулитровые, с сургучом залитыми крышечками, маленькие, их приходилось брать много. Зато как приятно сидеть, попивая «сухарь», в каком-нибудь глухом заросшем овраге среди польни, смотреть на красное солнце и говорить о вечном.

В этом же магазинчике продавались шкатулки и брошки самых лучших палехских и мстёрских мастеров. Как они сюда попадали – непонятно! Считалось, что все работы палешан уходят за границу. Я в обязательном порядке покупал себе на память что-нибудь из этих чудесных изделий. А Николай каждый раз умудрялся делать какое-нибудь открытие: то разыскивал место, где умер Александр Невский, то находил домик, где жила Татьяна Маврина.

На этот раз ехали за галошами одиннадцатого размера для Николая. В те годы их уже нигде не продавали, кроме Городца. У Николая были совершенно фантастические американские ботинки с широкими рантами, прошитыми суровой дратвой, и ему хотелось подольше сохранить их благодаря галошам – святое желание! В магазине галош не оказалось, Николай пошёл на какую-то базу, а мы с Белкиным остались в прибрежном ресторане пить водку и дожидаться его.

К ухе Николай не опоздал. Он вошёл на веранду в своей чёрной широкополой шляпе, огромных чёрных галошах и пробормотал

официанту что-то невнятное, вроде: «Ходил звонить своим друзьям в Атлантик-сити!»

Официант выслушал это с полным пониманием или непониманием и ушел к себе на кухню. А Николай уверенно развалился на табуретке, облокотившись на перила.

– Коля, осторожно – перила живые! Как бы того – не туда! – заметил я ему.

– Да-да! Спасибо! Я обратил внимание на это, когда шёл сюда. Там, под верандой, по определённым признакам можно понять, что кто-то регулярно падает отсюда. Так что мы будем есть после водки?

– Уху! А потом поедем домой! На «Метеоре»!

– Отлично! Пока они ловят нашу стерлядь, я вас немного удивлю, – с этими словами Николай вытащил из кармана наган и протянул его мне.

Наган был настоящий: с деревянными ореховыми щёчками, шомполом и даже с серебряной накладкой «Комиссару В. Генкину от председателя РВС СССР К. Е. Ворошилова», правда, не хватало барабана и изрядно ржавым он был. Но это был настоящий наган, и я спросил у Николая

– А зачем ты его купил? У кого?

– Купил я его у местного антиквара Серёжи. Сейчас я всё расскажу.

Николай поудобнее устроился на своей табуретке и потребовал у официанта ещё триста граммов водки и солёных рыжиков.

– Это случилось лет пять или шесть назад, когда я ещё жил в Кузнечихе, в панельной девятиэтажке на первом этаже. Тогда в соседях у меня был известный по городским меркам спортивный журналист Жора Первухин – вы его должны знать. У нас с ним были хорошие дружеские отношения, мы нередко вместе ходили на какие-то спортивные мероприятия, или выставки, или на концерты. Могли и в ресторан сходить, могли и выпить вместе: или у него на кухне, или у меня.

Жена его Татьяна было солидной женщиной: ну, чтобы ничего не объяснять, – при росте сто шестьдесят вес сто двадцать. Работала она в облсовпрофе, не знаю кем, но связи у неё были отменные. И вот с некоторых пор стала Танька приревновывать своего ненаглядного к каким-то неопределённым мифическим дамам, которые у него могут где-то быть.

Получилось так, что, уезжая летом в свою деревню к родителям, она очень забеспокоилась за Жоркину судьбу. Жора должен был к ней, в её деревню, приехать через неделю, но, как он проведёт эту неделю без неё дома, ей было непонятно. Естественно, она сходила у участковому и велела тому следить, чтобы Жора не сделал пожара или не привёл к себе какую-нибудь шмару. Но добрая Танькина подружка из соседнего подъезда объяснила ей, что наш участковый может сам сделать пожар и сам же приведёт к Жорке девок.

Решение, как часто это бывает, подсказал случай. Производили в те годы на нашем винзаводе такие страшные напитки, как «Волжское» и «Солнцедар». Изготавливали их из алжирского красного сухого вина, которое привозилось на завод вагонами в алюминиевых бочках. И вот однажды кто-то где-то что-то перепутал, и в таких же бочках на завод пришёл прекрасный азербайджанский портвейн «Агдам».

Танькин острый женский ум решил проблему сразу, и в тот же день, как она узнала об ошибке снабженцев с винзавода, у неё в квартире ванна была заполнена прекрасным креплёным вином.

Ванна «Агдама». Вы понимаете, что это! Весть об этом уникальном явлении немедленно расползлась по окрестностям. Не успела Татьяна

уехать, а к Первухину уже стали подтягиваться самые близкие друзья, хотя они никак не могли спасти создавшееся положение, учитывая объем Жориной ванны. На следующее утро Жора зашёл ко мне и обрисовал ситуацию.

Я был тогда в неопределённом творческом или вынужденном отпуске и решил помочь соседу. Надев штаны, я пошел проведать, так ли это страшно, как описывает Жора. Да, ванна, полная «Агдама», с плавающим в ней пластмассовым ковшиком – это страшно. Конечно, я пригубил и оценил, что напиток настоящий и вкусный.

В этот момент обстановка разрешилась сама собой: раздался звонок в дверь, и вот в сенях у Жоры уже стоял Сеня Птицын, местный авторитет, державший шишку во всём микрорайоне. Он был неплохим мужиком, но повышенное чувство справедливости за сорок лет трижды приводило его на скамью подсудимых и четырежды заставляло сбегать из мест заключения. Жизнь у Сени складывалась так, что на его пути чаще всего несправедливые поступки совершали менты.

Результатом такой активной жизненной позиции стала необходимость даже в самые жаркие июльские дни ходить в рубашке с длинными рукавами. Застёгнутые ворот и обшлага не могли скрыть обильные и выползающие наружу узоры тюремных росписей. Однако в квартире у Жоры Птица, как его все звали, продегустировав содержимое ванны, очень быстро раскрепостился и, оказавшись босиком и без рубашки, в одних тренировочных штанах с болтающимися тесёмками, уверенно принял бразды правления на себя. Он понял, что эта точка на некоторое время станет центром притяжения всего мужского населения нашего дома.

Я со спокойной совестью покинул соседа, поняв, что ванна с «Агдамом» в надёжных руках. Мне надо было сделать кое-какие свои дела, и, вернувшись после обеда домой, я обратил внимание, что процесс идет без нарушения определённого регламента. Птица очень верно распределял подтягивающийся контингент и моментально решал: кому кружку, кому ковшик, кому в дверь, кому в окно, а кого допустить до Жоркиного тела. Жора в процесс почти не вникал: он понимал, что может всё испортить.

Ночь прошла спокойно. Я даже ни разу не проснулся. На другой день ко мне в гости из Москвы приехал известный поэт-песенник Володя. Он проезжал на теплоходе по Волге с какой-то агитбригадой и, оказавшись в нашем городе, позвонил по телефону, и мы встретились. Он впервые был в Горьком, и ему хотелось посмотреть наши достопримечательности. То, что я ему показал, было покруче, чем кремль и нижегородский Откос.

Когда я соседу Жоре представил моего гостя и сказал ему, что это знаменитый поэт-песенник, чьи тексты поют Кобзон, Караченцов, Гурченко и Кикабидзе, а «Послевоенное танго» в исполнении Аллы Йошпе и Стахана Рахимова мы каждый день слушаем по радио, Жора обнял моего гостя и повел его прямо в ванную комнату. Я пошёл к себе сменить рубашку и надеть ботинки. Через пять минут я вернулся: мой друг с моим соседом сидели на кафельном полу в ванной и тихонько пели.

Увидев меня, мой московский друг произнёс задумчиво: «Жаль, Кобзона не взял. Он ведь не поверит. А впрочем, может, наоборот – хорошо!» Володя на теплоход больше не попал, теплоход ушёл без него.

Вторая ночь тоже прошла спокойно. За стенкой всю ночь пели, правда, тихо. И песни были хорошие, душевные: «Вот солдаты идут...»,

«Вернулся я на Родину...», «Далеко-далеко, где кочуют туманы...» Пело послевоенное поколение, оно понимало толк в душевных песнях.

Птица пришел ко мне на четвёртый день. Глаза его были белые, зрачки маленькие-маленькие, как мушиные какашки, в микроскоп надо искать. Лицо его, да и весь он был синим-синим, как самое синее июльское небо, таким синим, что даже его многочисленные татуировки поблекли и чуть проглядывались: и портреты, и церкви, и русалки, и буквенные аббревиатуры, которые мог расшифровать лишь знаток. Но сам Птица был лёгок, уверен и чуть улыбался уголками рта.

– Старик, – обратился он ко мне, – у тебя есть топор? Я у Жоры обыскался, но не нашёл.

– Нет. А зачем тебе?

– Да мне тут друзья сейчас цинканули, что в соседнем доме отдыхает судейский один, мой крестник, которому я задолжал. Хочу поболтать.

Я понял, что наступает финал, и сказал:

– Пойдем к Жорке – я найду.

Мы прошли в квартиру, где четвёртый день продолжался праздник. Три человека дремали на диване, Жора спал в ванной на кафельном полу. Я подошёл к письменному столу с печатной машинкой, за которым обычно работал мой сосед, и в верхнем ящике нашел вот этот наган, ржавый и без барабана. Мне Первухин показывал его раньше, и я знал, что он нашел его ещё в детстве на свалке, хотя всем рассказывал, что его вручил деду какой-то комиссар Генкин.

– Я дам тебе револьвер, – сказал я Птице, – тебя устроит?

– Вполне, – ответил Птица и с наганом в руке, как был босиком и в штопаных тренировочных штанах, вышел на улицу. Тесёмки его штанов волочились по земле. Больше я их не видел: ни Птицу, ни нагана.

Сам я прошёл в ванную – там, на дне ещё плескалось литров десять замечательного азербайджанского портвейна, которым буквально провоняла вся квартира. Я открыл пробку и услышал, как он зажурчал. А Танька приехала к вечеру – я думаю, что сердцем почувствовала, что наделала чего-то не то.

– А куда делся поэт Володя? – спросил я.

– Володя? Его увёл кто-то из местных показывать оставшиеся достопримечательности нашего древнего города. Он умер через несколько лет от сердечного приступа прямо в самолёте, возвращаясь из Афганистана, куда летал вместе с Кобзоном выступать перед нашими пацанами. Так что купил я за пятёрку этот наган только для того, чтобы рассказать вам эту историю.

Валентин УСТИНОВ

Родился в 1938 году в г. Луге Ленинградской области. Учился в ремесленном училище, работал на Балтийском судостроительном заводе, служил в армии, работал в многотиражной газете «Балтиец» и в Василеостровском райкоме комсомола, в газете «Правда Севера». Окончил отделение журналистики филологического факультета ЛГУ им. А. А. Жданова в 1972-м и Высшие литературные курсы в 1979 году. Член Союза писателей СССР с 1972 года.

Автор более двадцати книг поэзии и прозы. Создатель Академии поэзии, ставшей в наши дни культурным центром страны. В 2009 году указом Президента РФ награждён орденом Дружбы за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность. Лауреат Большой литературной премии России (2009).

В настоящее время президент Академии поэзии. Живет в Москве.

ПОТАЁННЫЙ, ЗАСТЕНЧИВЫЙ РАЙ НА ЗЕМЛЕ**Сочатся капельки звезды**

Сочится в зимнее окно
по капельке звезда.
И, слава богу, не темно,
есть в котелке еда.
И позади, коль суждено,
вчерашняя беда.

Я снаряжу вечерний чай
в жестянке иваси.
Тебя припомню невзначай.
Где дом твой на Руси?
Но ты в ответ не отвечай –
господь нас упаси.

Есть поле в поле.
А за ним
елань и глухомань.
Есть много лет, есть много зим
и путевая рань.
Холодный скрип бродяжьих пим.
И неба филигрань.

Погоды чудные стоят.
Меж них я долго был.
Когда-то я кого-то я
как будто бы любил.

Но дни былые яд таят –
и я их позабыл.

Вот встречу дом.
Осевший в наст –
невзрачен, нелюдим.
Но греет небо дыма пласт.
Лишь там, где дом и дым,
найдутся люди, кто подаст.
И мы им подадим.

Войду, сниму котомки груз.
И шапку заодно.
Дыши, душа моя, не трусь.
Не так уж и темно:
сочится грусть, светится грусть
звездою сквозь окно.

Кипень

И примстились с утра мне любовь и дорога.
Я поверил в любовь, а дорогу отверг.
Но плывущий по озеру месяц двурогий
путь серебряный выстлал
за водную твердь.

И шагал я дорогой молочной – покуда
не раскинулся садом вблизи окоём,
и догнало меня солнцеликое чудо
молодым, рыжебоким, весёлым конём.

Я погладил желанного спутника жизни.
Не забыл накормить.
Не забыл напоить.
И помчался по саду цветущей отчизны,
всё забыв, кроме счастья зелёного – жить.

Вились лентами кисти черёмух и вишен.
Смерчем пар завивался,
срываясь с воды.
Кипень мир заливала по самые крыши.
Бубенцами сверкали, звенели плоды.

Горячо! весело! как дорога к любви.
Я поверил, что сердце – вешун и ведун.
Выгибала судьба соколиные брови.
От восторга смеялся и плакал скакун.

Вот такая была забубённая скачка.
Не заметил,
как лучший свой день обогнал.
Вот уж листья с деревьев посыпались в спячку.
В лёд вечерний оделся полдневный канал.

Огляделся. А дальше – седая дорога.
Конь исчез.
Путь морозной печалью повит.
Но плывущий по синему месяцу двурогий
мне дорогу опять серебрит.

Я вздохнул и пошёл.
Словно поле – я понял:
всё придёт и пройдёт, и воскреснет, и вновь
будут зелень и звень, будет кипень погони,
потому что всё это – любовь...

Огненная земля

Ут-жир кичеп*...
Долина прела в шубе
осоколей, платанов, тополей.
Хотелось пить и не мечтать о глубине,
о тишине на Огненной земле.

Мерцала даль.
Семипудовый бороз
дремал в пыли под россыпью теней.
Цыганка проскользнула меж заборов
в панёве из пылающих огней.

Не думал я, что через три минуты
она возникнет, серьгами звеня,
передо мной.
И глянет зло и люто
на лишнего прохожего – меня.

И скажет, протянув ладью ладошку:
«Дай гривну –
а не то сгоришь во мгле.
Дай гривну на барона, на крошку.
Поймёшь меня на Огненной земле».

...Курились скалы – сизые от стужи.
И льдину отгонял в залив отлив.
На льдине синеватым полукружьем
тюлени грелись –
словно россыпь слив.

От дальнего костра пришла старуха.
А может, молодуха – не понять.
И посмотрела голодно и глухо:
«Добудь тюленя.
Чтоб сытнее – пять.

* Ут-жир кичеп (*татар.*) – проходя (пройдя) огни и воды.

Ночным костром в пещере заклинаю,
куском жаркого в угольях, в золе –
иначе не поймешь земного раю
на никакой на Огненной земле.

Иди!»

И я пошёл – не зная броду.
...Пылали солнцем сосны в высоте.
И женщина внизу входила в воду
в русалочьей прозрачной нагоде.

Я сел в песок на вересковой гриве:
смеяться? опасаться? горевать?
«Ты кто? Но знай:
я не имею гривен
и не могу тюленей добывать».

Ответный взгляд – как день в цветенье радуг.
И смех – как будто ветер тронул медь:
«Ну, ты герой!
Мне ничего не надо.
Я – жизнь твоя, со мной забудешь смерть».

Когда б не те старуха и цыганка,
прямым лучом прошёл бы свой простор.
Но круг замкнулся.
Я собрал вязанку
из вереска и возродил костёр.

Ут-жир кичеп – я добываю гривны
и жарю дичь в пылающей золе...
Я словно сплю меж радуг и меж ливней,
забыв про жизнь,
на Огненной земле.

Ястребиное Захарово

Дикий крик ястребиный.
Я резко очнулся.
Над глазами сиял между вётел прогал.
Дальний лес за речною излучиной гнулся
и к дворянской усадьбе аллеей сбегал.

Загудело пространство –
и вдруг распрямилось.
Старый дом за рекою колонны подъял.
Засияла округа – как божия милость.
И сирени затяли розовый бал.

Золотой колоколец далёкого смеха.
Двери хлопнули, будто затеяв пальбу.

И курчавый малец по перилам поехал,
чтоб, скатившись, упасть в молодую траву.

Где вы, ястребы неба?
Я знаю: над полем
от сурепки медовым и всласть золотым
вам не надо искать сокровенную долю,
просто надо быть жизнью – сиреневой в дым.

Я не помню твой голос,
стремительный Пушкин.
Помню утро твоё и сиреневый бал.
Помню: «Саша!» – призыв с недалёкой опушки
твоей бабушки – Машеньки Ганнибал.

Ах, какие в Захарове ветры и дали!
Пушкин к липе припал, на скамейку присел.
Все мы славе и доблести время отдали.
Ястреб в солнечном ветре бессмертно висел.

Всё потом, всё грядёт:
и любовь, и свершенья,
и сраженья, и гибели яростный стон...
А пока – только ястреба в небе круженье.
Только наш удивительный сон.

В этот день я проспал посредине вселенной
миг рожденья, миг смерти
и вечность меж них.
Словно жил меж травы – бесконечной и тленной.
И трава нашептала написанный стих.

Лещ

Лещ в синем омуте перед запрудой
был вечен,
словно бог земной –
этакое бронзовое чудо
с дубовую лопату шириной.

В долгие лета,
что солнца ваяли,
вдохновляли на пахоту, жатву, покос,
голубые водоросли полировали
пятаки чешуй как зеркальный поднос.

Русалки к нему подплывали утром,
смеялись,
расчёсывая волос поток.
А он пузыри выпускал уютно –
по-домашнему заботлив и волоок.

А на запруде добытчики крючки точили.
Самый малый плотву и ершей таскал.
Но главный лещ почивал в бучиле
и русалок к людям не выпускал.

Сладки ночлег и уха в сарае.
Огромен малинник – от ягод ал.
И жизнь человечку казалась раем.
Да так и было – пока он был мал.

А на земле – то снаряды вскипали адом,
то дожди на хлебах принимались плясать...
И выросшему мальчику сказали: надо
идти, чтобы маленький рай спасти.

Тогда на зорьке
он пошёл на плотину,
раздвигая тёплый туман плечом.
И, пока выпускали в луга скотину,
насадил червяка на слепой крючок.

Закинул наживку в бучило, под корни.
«На прощанье, – вздохнул, – хоть бы рыбник испечь.
А то какой я буду солдат – недокормыш:
ни винтовку поднять,
ни тем более меч».

Неподвижно и долго вода стояла.
Долго грустили в воде глаза.
Покуда, как пуховые одеяла,
не надвинули на омут тень облака.

И тогда поплавок покачнулся, дрогнул.
Пузырьки засветились потоками звёзд...
Шёл парнишка с лещом на плече –
и дорогу
за ним подметал двухаршинный хвост.

А потом мать парнишки в квашне замесила
горсть мучицы из ржи,
что в схоронке тишком лежит.
И просила у господ милости: силы
для последыша в доме –
на смерть и на жизнь.

Уложила на противень поле и речку,
солнце, ветер, траву и сиреневый сад.
И вздыхала над рыбником русская печка
жаром скорбной любви
то ли час, то ли вечность подряд.

А пока лещ томился –
стол холстиной накрыли.

Из подвала добыли жбанчик браги на свет.
И поспевший пирог словно книгу раскрыли –
на две части,
на Старый и Новый Завет.

Так ударило паром и рыбным, и житным
в потолок,
растеклось широко по избе,
что на миг примечталось:
теперь будет сытно,
и конец – наконец-то! – борьбе.

Мать смотрела на сына.
Сын ел и не ведал,
что вошли в его жизнь – жизнь и память леща,
стали телом его, стали кровью победы.
И дышала душа, от надежд трепеща.

В синей жизни моей есть овальные дали,
ночь на старой плотине,
картошка в золе.
Есть за адскими вспышками сумрачной стали
потаённый, застенчивый рай на земле.

Захар ПРИЛЕПИН

Родился в 1975 году в д. Ильинке Рязанской области. Окончил Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского, филологический факультет. Работал разнорабочим, охранником, служил командиром отделения в ОМОНе, принимал участие в боевых действиях в Чечне

Русский прозаик, публицист. Публиковался в журналах «Дружба народов», «Континент», «Новый мир», «Искусство кино», «Роман-газета», и др. Автор романов «Патологии», «Санька», «Грех», «Чёрная обезьяна», «Обитель», сборников прозы. Лауреат многочисленных премий, в том числе премии «Ясная Поляна» (роман «Санька», 2007), «Супернацбест» (за лучшую прозу десятилетия, 2011), «Книга года» и «Большая книга» (роман «Обитель», 2014).

Секретарь Союза писателей России. Генеральный директор нижегородского представительства «Новой газеты» и шеф-редактор сайта «Свободная пресса».

Живет в Нижнем Новгороде.

Я СТОЮ НА СВЕТУ...

Капрал

Измято поле, словно черновик.
Капрал из башни вылез,
весь в мазуте.
К чему здесь ваш
восьмиколёсный броневик,
глаза разуйте.

Мы здесь с кентами
дурь свою пасём.
Капрал, сдаётся, вы не угадали,
когда пошли
на этот скудный чернозём,
давя педали.

Свернув прицел, вы всё равно бы не
нашли вовне
ни цели, ни резона,
как нас смешат
солдаты ваши на броне
и звук клаксона.

С собой везли вы
матушкин портрет.
На смену два мундира элегантных.

Но нынче
в Клязьме
или Вязьме,
бала нет.

Гаси, сержант, их.

* * *

У меня от счастья нервный тик,
но воротит скулы собственный вид.
Я болел всё утро,
сейчас – затих.
Из примет:
я уже
двадцать лет не брит.

Я гадаю по гуще
темноты и дряни,
в голове моей дури – хватит троим.
Сплюну на пол, потом
отражусь в стакане
и доподлинно вспомню: я родился таким.

Разлюбил стихи, перешёл на прозу.
Когда встретишь меня – улыбайся сразу:
если я могу зубами
извлечь занозу,
я порву зубами
и тебя, зараза.

Словно раб на галерах,
крутил педали.
Не играл в офицера –
носил свою лычку.
Пил без меры, ну да –
но и то едва ли
жить мешало другим
и вошло в привычку.

Иногда был желчен,
и всё напрасно.
Обижал двух женщин,
и так вышло, что сразу.
Был брезгливым не в меру: за перила не брался.
Красный галстук был
мой последний галстук.

Я стою на свету.
Хотя был под прицелом.
Пусть собака лает и погонщик гонит:
у меня случался такой жар тела,
что Господь согревал надо мной ладони.

* * *

Сегодня на улице тихо снежит,
поэтому я буду долго лежать
и вспоминать, как куда-то бежит
некто Захар, старший сержант.

Теперь у меня есть смешная привычка,
чтоб раствориться в счастье своём –
крикнуть себе, не громко, но зычно:
рота, подъём, ...! Рота, подъём.

Комроты был брит и здоровьем мерин,
но склонный к лирическим разговорам.
Я тоже мог бы стать офицером,
сейчас бы как минимум был майором.

Тяжесть оружия, запах казармы,
плац, КПП и прочий пейзаж,
понты, злые горцы, тупые базары –
на самом деле всё это блажь.

Я очень редко имею настрой
вспоминать про радости строевой,
вспоминать про прелести огневой,
кирзачно-разгрузочно-гулевой.

Впервые я видел вблизи генерала
спустя двадцать лет, как снял свою форму,
зато остального всего хватало,
того, что осталось, – не мажу чёрным.

Как елось, как пелось, как драилось, брилось,
как не просыпалось, как крепко спалось,
коптилось, молилось, себя не стыдилось,
бедою прикинулось. И обошлось.

Как маршировалось тогда на плацу нам –
всё вроде не снилось, а кажется сном.
Сыграй мне, горнист, тыловую канцону.
А всем остальным сыграй: рота, подъём.

* * *

Меч заржавел, заклинило забрало.
В дни непощад испепелён мой пыл.
Какой метлой меня сюда пригнало,
какой сквозняк сюда меня прибил?

Что ж, вот ответ; хоть он звучит печально,
ты инвалида тронуть не моги –
я ветеран столетней либеральной,
мне эти суки выели мозги.

* * *

Я не хочу победы в этой войне,
кому нужны проспекты в чёрном огне.
Всем сразу станет хуже, только не нам.
Не зли царь-пушку, слушай – жми по газам.

Держите лица, бесы, подальше от нас,
иначе лица резко станут без глаз,
и будет вовсе нечем вам посмотреть
в каком обличье нынче пришла ваша смерть.

Сержант ваш Пеппер, что же – а наш Костолом,
он все вопросы может ставить ребром,
и если ты зарвался – тебе, брат, пора –
иначе есть все шансы уйти без ребра.

Здесь смерть едва ли можно читать по слогам:
открыл свой рот и, Боже, она уже там,
а тех, кто нам не рады – я не виню:
всех мёртвых ждёт награда – встретить родню.

Я не хочу победы в этой войне,
я не люблю портреты в чёрной кайме.
Станцуют шуба-дуба дети трущоб.
Харон, гребни отсюда, пока не огрѣб.

Елена КРЮКОВА

Родилась в Самаре. Окончила Московскую государственную консерваторию (фортепиано, орган) и Литературный институт им. Горького (семинар А. Жигулина, поэзия).

Публикуется в литературно-художественных журналах России («Новый мир», «Дружба народов», «Знамя», «Нева», «День и Ночь», «Сибирские огни», «Юность», «Волга» и др.). Автор книг стихов и прозы, куратор и автор художественных проектов в России и за рубежом. Лауреат ряда литературных премий. Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

СМЕРТЬ ЗА ЦАРЯ

– Ты не поедешь туда.

– Это уже мое дело!

Отойти к окну. Закурить. Царапать взглядом грязное стекло. Цокольный этаж, и рядом, по близкой земле, ходят кошки, они все ходят и ходят, мышей не ловят, бездельничают, греются на солнце, скалятся, смеются. Смеются над ним.

– Ефим, говорю тебе.

– Говори сколько влезет.

– Как ты разговариваешь с отцом?

– Ну, побей меня.

«Ведь бил уже однажды. А я к Нинке на свиданье шел, и весь в синяках, расцвеченный, как клоун».

Он видел, как отец сжал кулаки. Кулаки кричали о бессилии и любви.

«Нет. Не ударит. Больше не посмеет никогда. Власть у меня над ним».

Он чувствовал эту власть над отцом. Эту страшную, кровную власть – сына над отцом. Эта нищая, в кровавых лохмотьях, многолетняя пуповина оказалась крепче мгновенной материнской.

Мать в земле. Отец – вот он, стоит перед столом. За его спиной немытая посуда.

«Прощай, немытая посуда. Посуда нищих и господ. На сердце у меня остуда... остуда... остуда... ну, черт...»

Отец старел на глазах. Отец работал на трех работах, чтобы прокормить мачеху и Ефима и себя; но сам подчас забывал есть, бормотал себе под нос: «Потощаю лучше, здоровее будет».

Оглядеть, обнять одним грубым взглядом отца. Отец стал ростом ниже его. А был недавно выше.

«В землю вращает».

Жизнь отца шла на убыль, моталась на веревке дней рваной рубахой. Рваной, да чистой. А он? Руки-то грязны или чисты? А голова?

Головенка Ефима умная, хитрая, соображает, кумекает. Еще день на земле пройдет. Отец покричит, потрясет себе перед носом кулаками и утихнет. А потом, когда стемнеет, они оба напялят куртки – холод на улице – пойдут в магазин и купят Ефиму всякой еды. Всякой-разной. На что у отца денег хватит? На курицу, сосиски, пельмени. Как же без горячего. Ну крупы там, макароны, для гарниров. Молоко, хлеб, масло подсолнечное.

«Чтобы только на сигареты остались у него бабки. Пару пачек возьми сразу. Или даже три. А вдруг на три у него не хватит? Он никогда не говорит, сколько у него денег».

Плотно и зло прижимая желтым пальцем, затушил окурок в чайном блюде.

Отец ногой подвинул к себе стул, грузно сел и стал похож на большой тяжелый мешок с картошкой, и колени под грязными джинсами огромными картофелинами торчали.

«Сейчас что-то скажет. Слово изронит. Золотое».

– Фимка... – Замолчал. И молчал так долго, что Ефим поежился: рожай наконец! – Ты когда работать будешь? Устал я.

«Не добавил: тебя содержать. Вежливый сегодня».

Он сделал шаг к отцу, и отец вскинул голову; Ефим глядел на его лысеющий затылок, потные скрученные веревки сивых нестриженных волос. Они сошлись глазами, глаза ударили друг друга, и глаза отца упали, свалились вниз, как два камня, скатились. Потерялись под сивыми редкими ресницами.

Отец закрыл глаза ладонью, будто от света. Ефим стоял, чуть сторбившись, в позе «вольно», насмешливо кривил губы, показывал прокуренные гнилые зубы. «Черт, надо бы срубить у него бабки на зубного доктора. Все зубы в дуплах. Запустил. За здоровьем тоже надо следить».

– Папа.

Отец отнял руку от лица и вздрогнул.

– Папа, – Ефим постарался придать голосу нужную нежность, – видишь, оброс я. Постричься надо.

– Сколько стрижка стоит?

Голос отца был ровен и спокоен, но смотрел он в сторону.

– Пятьсот рублей.

– Так уже дорого? Мужская стрижка?

– Не хочешь, в салонах тысячу? Я в простую парикмахерскую пойду. У вокзала. Хочешь, вместе пойдем? На рынок зайдем. Ты посмотришь себе что-нибудь там... такое, ну, для сада. Для дома. Инструменты там...

«Сколько все-таки он получил вчера? Вчера у них в конторе зарплата выдавали. Молчит как партизан. Никогда не скажет, черт».

Кивнул. Сивые волосенки затряслись за ушами.

– Зайдем. Погляжу чего.

А вот теперь попытаться выплюнуть это весело, нагло. Так наповал выстрелить, чтобы верняк!

– Пап. Холода наступают. В лесу уж снег лег. Мне штаны теплые нужны!

Беспомощно запрыгали у отца губы. Хотел повернуть шею и Ефиму в лицо глянуть. Не смог: шея как ледяная, в позвонках стеклян-

ный хруст. Боль. Мгновенная, смешная боль. Боль, ведь это лишь воспоминание о боли. На самом деле никакой боли нет. И никогда не было. Ее человек просто вспоминает, вспоминает. И все никак не вспомнит.

– Штаны?

«Не притворяйся, притворщик».

– Джинсы.

– Джинсы. Понял.

– На рынке – купим с тобой?

Он прямо, нагло глядел в лицо отца, а лицо отца плыло перед его глазами, текло и дрожало, будто дождь бил по стеклу, и капли стекали. Лицо воды. Лицо дождя.

Отец кивнул тяжело, через силу. Смог улыбнуться.

«Гляди-ка, еще улыбается, герой».

– Купим.

«Значит, на складе тоже деньги выдавали. Буратино сегодня у нас богатенький».

Развеселился, щеки покраснели, будто уже выпил. Под ложечкой за-сосало. Во рту вкус водки ощутил. Водочка, да под селедочку. Или это селедочка – под водочку? Водка и селедка, вечный брак, однополый, сладкий.

Ладони потер.

– Замерз я, батя. А ты нет?

Отец пожал плечами. Старый свитер топорщился на локтях.

– Нет.

– А если нам – ну, для сугреву? А?

Отец молчал.

– Ну че ты, ты ж хочешь, а. Вижу. Чую, хочешь. Селедки купим! А? Хлеба ржаного, этого, как его, бородинского. Твой любимый. Что-то стало холодать, не пора ли нам поддать. Или боишься?

– Чего?

«Хрипит как. Захворал?»

– Жены своей, чего-чего. Выпьешь – запилит.

Отец сжал рот подковой. Желваки над скулами вздулись.

– Она меня никогда не пилит.

– Врешь. Так я и поверил.

– Ты же знаешь. Тихая она. Как мышь.

– Мышь-мышь, а денежки из тебя – тянет?

«Ну, скажи: и ты тоже тянешь. Ну, валяй!»

Мешок с живой картошкой дрогнул и пополз вверх, будто его за горловину, выше плотной завязки, потащили, потянули. Отец встал, разогнул колени. Крепко потер ладонью шею. Ефим, сощурился, рассматривал ухо отца, мочку, скулу, висок. «Бороденка вся седеая, старый уже. Если вдруг он умрет, а?»

Отец спросил внезапно и страшно, повторяя его смутную мысль:

– Фимка, а ну как я помру? Что делать-то станешь?

Теперь молчал он. Узкие глаза, на подбородке прыщ. Чахлый, хилый, ноги-стебли, руки-канаты. А сам себе, перед зеркалом, виделся богатырем; глаза тоже могут обманывать, нагло врать.

– Пойдем, пап. Рынок закроют. Рано закрывают.

– Пойдем.

Долго стояли перед дверью: отец копошился, не мог ключ повернуть в замке. Ефим оттолкнул отца от двери плечом, повернул ключ, и ему

показалось – ладонь у него в масле. Обтер ладонь о колено. Сегодня он выкинет на помойку эти изношенные портки.

Ножницы серебряно, жестко щелкали в воздухе. Волосы сыпались и улетали. Белая простыня облипала плечи. Он видел в зеркале ангела, стриженного под ноль, и гнилозубо хохотал. Его побрызгали дешевым парфюмом, он жмурился, как кот. Шли с отцом на рынок, и отец шел нога за ногу, тяжело вдавливая пятки в осеннюю грязь. Лужи схватывал слюдяной ледок. У плывущих мимо замерзших людей были лица мертвецов, они выглядывали из пальто и шуб, как из гробов. У прилавков стояли долго, растерянно; Ефим обжигал взглядом черноглазого торговца с гладкими сизыми щеками, стаскивал старые джинсы, влезал в новые, новые сдергивал с ненавистью: малы! «А вот ищо, дарагой, а вот надэвай не ленись, какой хороший будишь, какой чжигит! Ищо вот эти, эти... чжигит будишь в них, хоть сэчас на лошад! И лошад – скачи, впирод, и толка впирод!» Костлявые ноги, куриные ляжки. Человек не птица, а когти растут так же. Не червяк, а ползет, и след за ним по грязи. Эти в самый раз? Заверните!

Глядел исподлобья, как отец лезет в карман, вытаскивает деньги за жабры. У отца никогда не водилось бумажника; всю жизнь он таскал деньги в карманах, и они вываливались отовсюду – торчали носовыми платками, топорщились рыбьими плавниками, темной медью валились на асфальт. Деньги живые, и они пахнут: пивом и водкой, кусками радужной норвежской сельди! И новенькими джинсами, светлыми как морозное небо. Отец перебирал купюры, считал, мусолил. Восточный дядька черносливым пучил глаза, ждал, цокал языком, приплясывал, хлопал себя руками по коленям.

За едой зашли в магазинишко около дома. Вот это взять, и это, и еще это. Как называется это? А, просто еда; и вкусно, черт! Отец, это и правда вкусно! Верю, верю. А еще – колбаски? Глядел сбоку, скашивал узкий глаз: все ли отец из карманов растряс. Хватит ли на бутылку. Вот к бутылкам опасно и жадно подошли. Блестит темной кровью лаковый, стеклянный ряд. Солдаты пьяной революции. Ать-два, левой! Ать-два, правой! Выпьем и снова нальем!

А сигаретки не забудем? Сигаретки не забудем. Как же без них.

Курение убивает? Меня не убьет!

Руки оттягивали тяжелые пакеты. Торчал кирпич ржаного, торчал сизой соленой свечой селедкин хвост. Горло бутылки торчало, мерзло на черном ветру. Скорей бы добраться до дому, а трамвая нет как нет. Батя, а че ты такой квелый? Выше нос! Мы еще себя покажем!

Я сдам на права. Машину мне купишь. А еще оружие. Ну, чтобы я мог отбиться, если нападут. Справку раздобуду, я ж нормальный. Бать, ну че нос воротишь? Ты ведь у меня можешь, да? Можешь! Заработаешь! А я тебя в обиду не дам! Пусть только сунутся!

И опять ключ застрял в замке. Бать, когда ты замок новый купишь? Черт, на рынке ж были, не купили. Два дурака. Это кто дурак?! Да я пошутил. Да я тоже пошутил.

Ефим зубами открыл бутылку. Руки весело тряслись. Отец глядел, как трясутся руки сына.

– Фима. А что, если. Тебе. Ну, это самое. Ну.

Перевитая струя белой водки еле слышно звенела о дно стакана.

– Что – ну, это? Что ты заикаешься?

Отец взял стакан в руки. Посмотрел на нефтяной разноцветный срез селедочной спинки.

– С тобой начнешь.

– Договаривай!

– Ну, это, полечись.

Отец, со стаканом водки в руке, смотрел на Ефима снизу вверх. Глаза умоляли. Ефиму захотелось плеснуть в них водкой. Он удержался.

«Ты, спятил совсем. Это же отец».

– От чего – полечись-то?

– От...

Отец долго молчал, потом кивнул на стакан у себя в руке.

Ефим взял свой стакан и посмотрел на отца через водку, на просвет.

Водка чудовищно искривила улыбку; увеличила гнилой клык, он гляделся черной дырой.

– Пап, что мелешь? Ты хочешь сказать – я алкоголик?

– Ничего не хочу. Просто я вижу.

– Что – видишь?

– Ничего.

Отец поднял стакан. Ефим тоже поднял. Стукнул стаканом о стакан отца.

– Выпьем лучше.

Выпили, и правда стало легче. Теплее.

Ефим закурил, и стало отлично: жарко и душевно.

Душа превращалась в дым и улетала из тела вон, навек.

И тут же рождалась под ребрами новая, чтобы прожить один день, один пьяный, табачный миг.

Сидели долго. Бутылка тихо качалась ледяным маятником. Ефим скорчил умильную рожу: бать, сходи еще одну купи! Ну мы ж два мужика, ну нам же поллитрухи мало! Отец послушно встал, пошел. Вернулся. Так же, как сын, открыл затычку зубами. Водка бесилась, вырывалась из рук, падала в стаканы с плеском, умалишенно. На плите, в ковше, булькали сосиски; лопнули, будто чулки по шву, и наружу, в кипяток, вывалилось розовое бабье мясо. Ефим подцеплял сосиску вилкой и махал ею в воздухе. Остужал.

«Остуда... Остуда... Оттуда... отсюда...»

– Туда, – сказал он вслух. – Я поеду туда. И, может, к чертям не вернусь оттуда.

Отец влил водку в глотку и замер.

– Едешь? – Язык уже неуследимо вертелся во рту, танцевал. – А если тебя... убь...

– Ют. Убь-ют? Ют, ют. Там, бать, всех убивают. Это война.

Отец аккуратно поставил стакан на стол, среди крошек и рыбьих костей.

Ефим не ожидал: он заревел мясисто, надсадно.

Щеки и лоб налились кровью.

– Война-а-а-а-а?! А ты кто тако-о-о-о-ой?! Ты даже от армии-и-и-и-и!

Откosi-и-и-ил! Тру-у-у-ус!

Вскочили. Друг другу в плечи вцепились. Крючились, немели, синели пальцы.

Хрипели. Орали. Молчали.

Потом сели и пели.

Наливали.

* * *

Еще вчера у него была девушка. Очень красивая девушка. Ему так казалось.

И не только ему казалось.

Она была у него долго, очень долго; может быть, целую жизнь была.

А потом сплыла: так бывает.

Он был к этому не готов. Верил в то, что эта девушка его и что он – ей – нужен.

Он приходил к ней пьяный – она прощала его; и даже с ним, пьяным, иногда ложилась в постель, и у него кругом шла голова от водки и счастья. Иной раз она даже пила с ним, а совсем иногда, редко, даже курила – так, играючи покуривала, дула на дым, дула ему в лицо, трепала за вихры. Он рассказывал ей, как они будут жить: машина, лучше иномарка, бензин самый дорогой, чтоб бежала как по маслу, квартиру сначала снимать, потом купим в центре, никому не дам тебя в обиду, буду носить за лацканом пистолет, лучше Макарова, а лучше ТТ, нет, лучше Руби, чтобы если кто полезет – сразу ба-бах! – и ваши не пляшут; дом за городом, лучше коттедж, собака обязательно, красивая и гордая, немецкая овчарка, а лучше кавказская, а еще лучше стаффордширский терьер: всех порвет! – детей двое, нет, трое, два мальчика и девочка, принцесса; и за границу летать будем два, нет, лучше три раза в году, и перво-наперво в Таиланд. Почему в Таиланд, спрашивала девушка, и вынимала у него из губ сигарету, и затягивалась смешно, шутя, и кашляла, и смеялась. Почему в Таиланд? Да потому, что так смешно звучит: Тай-и-ланд! Будто собака лает! Тай! Ланд! Тай! Ланд! А кроме шуток? Кроме шуток, там теплое море. Теплое! Море!

Теплое море есть и на нашем юге, отвечала девушка и разгоняла дым рукой. На Кавказе. В Крыму. Ты в Крыму был?

Ефиму не хотелось признаваться, что нет, не был он там никогда. Он и не признавался. Морщился: мол, Крым, чепуха какая. Вот Италия – это да!

Девушка закрывала глаза и говорила: Крым, он такой ласковый, нежный. Как про мужчину другого. И Ефим покрывался злым и холодным потом.

А потом еще говорила: поцелуй меня.

Он целовал, и тогда она морщилась и говорила: от тебя пахнет куревом и водкой, я устала от этих запахов.

Однажды он обозлился и сказал ей: спи с девушками, они пахнут лилиями.

На что она засмеялась и сказала: они еще хуже пахнут водкой, чем мужики.

Когда от нее запахло чужими ароматами, он не помнил.

Они были вместе уже много лет, и она стала его зеркалом; а она гляделась в него и не видела себя, зато ясно видела его. И боялась ему сказать, какой он на самом деле.

Этот день настал. Она сказала ему.

Обычным тоном, по-доброму, даже чуть смеясь, как всегда. Посмеиваясь. Усмехаясь углом намазанного утренним перламутром рта.

Как звучали эти слова? Да обыкновенно. Слова как слова. Не лучше и не хуже других. Он их мог все вспомнить, перечесть, прочесть вслух, воспроизвести. Прокатать внутри себя еще раз, и еще раз, и тысячу раз.

«Ты надоел мне. Мне надоела твоя нищета. Твоя вечная пьянка. Твои дурацкие мечты, как мы будем жить. Никак мы не будем жить. Я не хочу замуж за алкоголика и бедняка. А бедняк ты потому, что ты тунеядец. Ты лентяй. И хитрец. Ты приклеился к своему папочке, как рыба-прилипала. И сосешь из него деньги. Ты живешь, потому что жив твой отец! Умрет отец – ты будешь никто! Никто, слышишь ты! Ты никто! Ты ноль без палочки. Я потратила на тебя столько лет! Целую жизнь! Я устала от тебя! Мне нужен другой муж!»

У нее на щеке и шее темнели синяки. Ее или били по лицу, или целовали врасос.

Я никто, и звать меня никак, а ты шалава, медленно, раздумчиво сказал он тогда – и замер: ждал, сейчас размахнется и влепит ему пощечину. Уже загорелась, прежде удара, щека. Девушка молчала, и молчание наваливалось ему на плечи, будто он плыл в холодной реке и, умирающий медведь, на спине нес грязную толстую льдину. Зверь! Да, это теперь был он. Ему захотелось разбить девушку, как зеркало. Он уже протянул руки. Девушка чуть отпрянула. Ее глаза горели, как у голодной кошки. И она зверь. Все мы звери, не люди. Мы только носим человечью кожу. Давай, бей! Бей ногами! Колоти, задуши!

Целую жизнь, говоришь, потратила? А хочешь, я на тебя смерть потрачу?

Что, что?! Повтори!

Что слышала, сказал он и медленно стал пятиться к двери. Еще раз посмотрел на нее и вышел, и дверь стукнула. Все, забил крышку гроба.

Он пришел домой; ключ опять заедал в замке. Пнул дверь ногой, потом налег плечом и выдавил ее. Захохотал: как все просто. Грязные тарелки белели в вечерней тьме, как перевернутые шляпки огромных грибов. Капал кран. Сухо, надменно тикали старые часы. Идут уже полвека, подумал он, а мне тридцать лет, и будет сорок, и будет пятьдесят, и все будет то же и так же.

Тогда он подумал: где-то идет война, и пойду на войну.

Там смерть, и она важнее, чем жизнь.

Потом он пошарил на полке, нашел початую бутылку, стаканы были все грязные, и он хлебнул из горла; на столе тускло золотели недоеденные шпроты в плоской, как мина, банке. Он залез в банку пальцами и ел шпроты руками. Качался, напевал. Кажется, плакал.

* * *

Поезд мотал его в железной колыбели. Он пьянел от дороги, от седочных сизых рельсов, от станционных белых фонарей в дегтярной ночи. Ехал и ехал, а потом вдруг все стали выходить из вагона, и он вышел вместе со всеми.

«А где же тут граница? Где чужие флаги?»

Оглядывался. Ветер черным флагом сыро, туго обворачивал его.

Все пошли, неряшливой гурьбой, к дальним домам. Земля пружинила под ногами. Холодные тучи висели низко. Поднялся ветер и погнал тучи, как стадо серых гусей, а они метались, потеряли хозяйку. Голод крутил и царапал желудок. Ефим сглотнул и побежал туда, куда бежали тучи.

Дома, приблизившись, оказались руинами. Он оторопело глядел в пустые оконные глазницы. Била дрожь, налетал жар. «Простудился; черт, простудился. Ни аспирина, ни горячего чая тут нет и не будет».

Он выманил у отца деньги на дорогу. Отец спросил: на что? Он тихо, шипящим шепотом, швырнул в мохнатое старое ухо: у меня девушка новая, вот на нее – надо. Ты же хочешь, чтобы я был счастлив?

И, злясь внутри на себя и на отца, умильную рожу состроил.

Он умел быть умильным, когда хотел.

Отец поверил вранью. Ласкал тысячи в пальцах: раз... два... три... четыре... хватит? Ефим тайком оглядел отца. Исхудал, да. А мачеха? Растолстела. «Тоже пьет из отца кровь. Я пью, и она пьет. И в нем все меньше жизни. Мы оба выпьем его, и он опустеет и выдохнется, и его шкура, оболочка жалкая, сдуется и упадет на землю. И дырявую шкуру будем хоронить».

Спасибо, папа. На здоровье, сыночек. Лишь бы ты был доволен. И у тебя все сложилось. А та девка дрянь была, ты не думай о ней, не жалей ее. Не плачь. Тебе нужна девица веселая, здоровая, румяная, и чтобы готовила вкусно.

«Мне нужна денежная. Чтобы хорошо зарабатывала».

В дороге он позвонил отцу. Телефон охлаждал горячую ладонь. Батя, я еду на войну. Он ждал крика, слез, упреков. Отец помолчал, потом донеслось: «Это твой выбор».

Молодец ты, батя, не баба ты, мужик.

Далеко, как на том свете, он услышал – за спиной отца мачеха вопит, сыплет ругательствами, плачет. Плачь, плачь, галка, мне тебя не жалко. Чужая толстая бабенка, бочонок на ножках-кеглях, заняла пустое место, где раньше томилась и тосковала его мать.

В другом городе. В другом времени.

В другой зиме.

Он близко подошел к разбомбленной стене. Положил руки на подоконник.

Стоял в оконном проеме, и зимнее черное поле видело его – черная фигура в белом квадрате. Он оглянулся. Полосатый мрачный мир. Белые полосы снега на черной подмерзлой земле.

«Зачем я сюда приехал? Что мне здесь надо?»

Выше головы раздался гадкий свист, и он присел. Его лицо сморщилось и стало похоже на детский кулак. Потом возник грохот; он навалился сзади, придавил, и жизнь временно стала плоской, дрожащей и дырявой, как влажный блин на раскаленной сковородке.

Оглух, и мысли исчезли. Страх остался – голый и беззащитный.

...так беззащитно глядел на него отец, снизу вверх, когда ему деньги отсчитывал.

Группа людей, скотий гурт, стадо, отряд, толпа. Какая разница, как назвать людское скопище. Люди сбиваются в кучи, и одна куча молотит другую. Где тут родной? Где чужак? Он звал свою девушку: Нина, родная. Где теперь родная? Время растворило ее в себе, как в острой воющей кислоте. Возник автобус, возник человек, что четко и зло командовал ими; буксовали в грязи колеса, искажалось лицо шофера, когда свистели снаряды. Он жалел, что сюда приехал; жалел себя.

«Надо потерпеть. Еще немного».

Зачем, он не знал. Кому-то, кто стоял выше его и невидимо смеялся над ним, это было нужнее. Ему в ногу, в бедро выше колена, попал осколок. Врачей тут не было, чужой человек разрезал ему ногу, обильно полив финский нож водкой. Он не мог смотреть на свою кровь, отвернулся. Ты чего ревешь, спросил его человек, не мужик, что ли? Он

посмотрел в лицо тому, кто резал его и перевязывал, и бесстрашно, хрипло сказал: боюсь.

Крови боишься, бросил мужик, крепко завязывая марлевые хвосты, так зачем сюда подался?

Смерти боюсь, сказал Ефим честно. Закинул голову. Слезы втекли обратно в глаза.

Эта странная баба возникла ниоткуда. Выросла, как гриб после дождя. И башка у нее на гриб была похожа: туго перевязанная платком, круглая, мощная, узел на затылке.

Плечи широкие, мужичьи. Рожка широкая, в грязи и саже, невытая тарелка. Грудь широкая, дышит тяжело. Молчала. Переваливалась грузно с боку на бок, как утка. Ей кричали в лицо, ее толкали в плечо – молчала. Ефим подумал: немая? Сильные руки, сквозь мужскую рубашку просвечивали вздутые мужские мускулы. Ефим раздул ноздри: от бабы пахло нефтью и машинным маслом, горячим цехом. Молотобоец в юбке. Боец.

«Она боец, а я хлюпик. Ну и что, а мне не стыдно. Зато я теперь знаю себя».

Баба обнимала его и просовывала руку ему под мышку. Поддерживала. Он плохо передвигал ноги. Хотелось спать. От земли шел каменный холод, а от бабы – зверье тепло.

Еще от нее терпко и смутно пахло горелым: пожарищем, адом.

Он боялся глянуть ей в лицо. И увидеть там ухмылку. Командир обозвал его трусом. Она тоже как-нибудь обзовет, унизит. Время остановилось, потом пошло вспять, медленно и важно наматываясь на веретено его позвоночника. Ноги перестали идти. Баба покрыла его горячим звонким матом и взвалила себе на плечи. Носки его сапог прочерчивали по земле кривую кардиограмму. Под грудью он чувствовал ее спину, жаркую, ртутно-подвижную, мягкую. В ее спину можно было погрузить руки, как в разрытый чернозем, и, тихо смеясь, греть их.

Потом нахлынул бред, и он шептал: я вижу сон. Баба подволокла его к железному огурцу на железной подставке. Он впервые видел близко вертолет. Его втащили внутрь. Там были еще люди, люди. Ему стало больно и одиноко. Он захотел запеть. Шевелил губами. Баба наклонилась над ним, и он увидел ее рот и глаза.

Она сорвала с круглой бычьей башки платок, и стриженные потные волосы упали ей чуть ниже ушей. Потная челка прилипла к мощному выгибу лба. Ефим поднял руку и дотронулся до ее широкой щеки. Не отнимал холодную руку. Грел. Она поняла и крепко прижала к щеке рукой его руку. Вокруг загудело и задрожало. Они плыли и качались в полном смерти воздухе, а он держался рукой за теплую, потную, влажную землю и радовался: вот жизнь, это жизнь.

Он молчал о том, что хочет есть и пить. Земля сама все знала, за него. Земля поднесла к его губам реку и напоила его. Река втекала в его глотку из стальной, цвета болота, холодной фляги. Земля толкала ему в рот из теплой потной руки куски, и он глотал их, не различая, что это – куски мяса или куски боли, куски теста, а может, куски плоти. Важно было кусать и глотать. И он кусал и глотал.

Земле не говорят «спасибо». Земля, она не стоит благодарности. Земля, она просто земля, и все тут. Нет имени у нее.

Гул нес их на крыльях, и пустота, в которой они болтались на нитке событий, оказалась ненадежным пристанищем. Все висели в воздухе

и молились о жизни, а с ним была земля. Он был счастливее всех. Никто не знал о том, как ему повезло.

Никто не обрывал вязкую, длинную нить бреда. Из вертолета других вынесли на носилках, а его земля вынесла его на руках. Он очнулся, глаза вращались на шарнирах ужаса: белые стены, на столе миска с гречневой кашей. Рядом банка варенья, открыта, и абрикосами пахнет. Речь невнятная, вдали, не слышать, что говорят. Не понять, кто: женщины, мужчины.

«А может, куры квохчут. Или коровы мычат».

Он лежал в кровати, укрытый до подбородка колючим верблюжьим одеялом. Пальцы нащупали чистую простыню. Пальцы увидали: она белая.

Чужие женщины вошли, одна присела на край кровати, пружины скрипнули. Чужие руки пытались накормить его кашей из ложки. Сперва он отворачивал голову. Потом попросил глазами прощенья. Ел послушно.

Его вывели на крыльцо, и в лицо ему ударила синева. Небо плескалось внизу. Много неба. Ему сказали: это море. Это Крым, спросил он, уже зная ответ. Да, это Крым, сказали ему, а как ты догадался?

Он постоял немного, и сердце упало ему в живот, а на глаза легла черная овечья шерсть. Его поймали чужие руки, как больного птенца, и водворили в белое гнездо.

Он не спрашивал, где его земля, куда уплыла. Все видел перед собой стриженные волосы крутолобой бабы: они мотались чуть ниже крупных ушей, и от волос снова шло тепло. Разве по призракам тоскуют? Рот он раскрывал лишь для того, чтобы попросить: пить. Или отказаться: не надо. Спасибо, не надо, я сам.

Он многое уже умел делать сам. Выходил во двор сам, расстегивал штаны сам; умывался сам. Руки то повиновались ему, то нет. У него никто не спрашивал адрес и имя. Он повторял шепотом: Крым, Крым, — и перевернутое небо било ему в ноги синими снарядами, солеными белыми пулями.

«Это море, море. Я его только на картинках видел. В детских книжках. Когда еще мать была жива».

Он стоял и глядел на море, а внутри него кто-то безжалостный и внимательный глядел на разрытую яму, на маленький деревянный гроб, на могильщиков и грязные полотенца и желтые ремни. «Мама, ты была такого маленького роста. Как девочка. Когда мне нужны были деньги на мороженое, пиво и сигареты, а ты мне их не давала, я бил тебя ногами. Ты плакала, и ножки твои, щиколотки, были все в синяках, потому что я пинал тебя. Прости».

Тут снега не было, хотя ветер хрустальным холодом обдавал виски и лоб. Земля моя, где ты? Далеко. Отсюда не видно.

Бешеное веселое море со звоном разбивало темно-синий, яркий хрусталь злых громадных волн о стальные утюги скал, перекатывало в соленом рту каменную икру гладкой цветной гальки. Бешенство мира било Ефиму в лицо, в ноздри, и он пьянел. Водки снова хотелось. И курева. Он потрясенно думал: я не курил уже много дней, я не пил спиртное! А разве это я?

Чужие женщины переговаривались около его койки, а он лежал тихо, вытанувшись, и даже не прислушивался: устал догадываться. Перестал понимать.

Он понимал только море, и море понимало его.

И еще небо.

«Если будут оставлять здесь – останусь? Да кто меня оставит? Я чужой лапоть. С ноги меня сбросить».

Наступала ночь, и море издавало странные, новые звуки. Оно свистело, свиристело птицей. Било кулаком в тощую, хилую, покрашенную известью стену. Гудело самолетом. Взрывалось миной. Потом подкатывалось к Ефиму ближе, очень близко, к кровати, к подбородку, к уху и бормотало: идем со мной, уплывем, ты мне чужой, а будешь родной.

«Я уже здоровый. Я скоро уеду. На что я отсюда уеду? Кто даст денег мне? А что, попрошу, и дадут. Ведь всегда же давали. Давали».

Женщины наклонились над ним, как над клещом в пробирке, и он, обводя их незрячими глазами, выдышал в них морским туманом: «Дайте мне водки».

Ему принесли полстакана водки.

Он выпил.

Ему поднесли ко рту поздний абрикос.

Он сжевал его.

Потом он жалобно, просяще поглядел на женщин, уже осмысленно, умильно, подобострастно, и язык сам вывязал за него узорчатую подхалимскую вязь: «А может, милые, сигаретку? Или даже две, чтобы потом не просить? Или даже три? Или четыре?»

Ему принесли пачку дешевых сигарет и положили на стол у изголовья.

* * *

Надо вспомнить, как добирался домой. Да неохота.

Зачем вспоминать то, что не пригодится?

Надо помнить только то, что тебе приятно.

И то, что сгодится потом; что полезно и будет полезно тебе в жизни.

А в смерти? Что будет тебе полезно в смерти?

Ну вот, ты опять о чертовщине. Смерть, ты же понюхал ее!

Теперь ты можешь сказать себе: я воевал.

Себе или другим?

Ну, другим тоже можешь. При случае. Люди любят рассказы о войне. На войне всегда бывали герои. Значит, я теперь тоже герой. Вон она, рана на бедре.

Царапина, если точнее. Ты себе ее сам мог сделать. Перочинным ножом. И потом хвастаться мужикам в бане. И новым своим девушкам. А потом жене.

Жене? Жену надо кормить. И поить. И одевать. И детей тоже.

И это все тоже, черт, война. Такая мирная война. Каждый день – бой.

Вот в чем штука, да. А ты думал, ты в мир вернулся?

А на ком бы ты женился?

Да ни на ком, черт. Ни на ком. Хочу, понимаю, без бабы нельзя. Но не буду.

Денег нет, ага?!

Жизни нет. Нет у меня жизни, черт. И смерти, главное, смерти тоже нет.

А на земле?

Что – на земле?

На земле бы ты женился?

А на той бабе, крутолобой. Плечи как у сталевара. На той, чужой. Да. На ней – да. Она родная. Да привиделась мне она. Нет ее на самом-то деле. Нет и не было. Я был, а земли не было.

Да ты же в нее ляжешь, дурень. В нее.

Заткнись. Лучше кури. И пей. Налей. Кончается? Звони отцу, иди к нему. Он тебе денег даст. Не откажет. Он тебя жалеет. И, может, любит. Любит и убивает. Это его личная война.

Он из тебя тряпку сделал. Он уже убил тебя.

Он круче снаряда. Круче пули, твой отец. Он тебя давно расстрелял. Тысяча, две, три. Хватит?

Налег на кнопку звонка всем телом. Трезвонил. Ждал.

Открыла дверь мачеха.

Круглый мяч живота, бутылки-ноги. Смоляным взглядом зачеркнула его, ошибку, описку.

– И что?

– Это вместо «здрассте»?

– На ногах уже не стоишь. Проходи!

Посторонилась. Ефим ввалился в прихожую. Мазнул локтем по груди мачехи, из-под цветастого халата сытно торчащей.

– Мне отца.

– От тебя за версту воняет. Пьяница несчастный. Гена! Подойди! Пришел твой попрошайка!

Тяжелые шаги отца звучали запинаясь, неровно: так бьется больное сердце.

Шаги приблизились. Он отца не видел.

Мачеха злобно, могуче заслоняла его, закрывала дверь толстой спиной.

– Эй! Батя!

Донесся вздох.

«Море. Это дышит море. Это Крым».

– Эй, батя! Слышишь! Дай денег.

«Море бьет и бьется. Море рядом».

Толстая цветастая грудь надвинулась грозно.

– Бать! Ну не жмись. Мне это! Помянуть надо! Тех, кто там...

«Море. Крым. Это Крым. Земля. Теплая земля. Абрикосы. Белые простыни».

– Пошел ты знаешь куда!

– Бать, ты ж понимаешь...

«Это моя земля».

– Проваливай! Отец тебе не дойная корова!

– А вы! Кто вы такая?! Я вас не знаю. Вы! Отняли у меня!

«Моя земля. Моя любимая земля. А я слабый щенок. Я заруюсь в нее носом, в ее сухую траву, в ее солому, в ее чернозем вперемешку с камнями, в ее теплое дерьмо, в ее кости, в ее гниль, в ее козьи катышки, в ее навоз, в ее мощи, в ее ветошь, в ее соки, в ее клубни, в ее корни, в ее червей и ее личинок. И она пригреет меня. Она опьянит меня. Я же воевал. Я же... сражался...»

– Гена! Что ты делаешь! Не смей!

– Фима, на, возьми...

– Гена! Ты его губишь!

– Уйди прочь. Фима!

– На! Подавись! Ступай! Налей глаза бесстыжие!

«Земля. Крым, Рым и Нарым. Я все прошел. Я все видел. Врешь! Ничего ты не видел! Ты видел только землю. Широкую, теплую, лобастую. Лишь ее одну».

– Спасибо.

– Пошел вон!

– Галя, зачем ты так...

– Да женился бы хоть! Соки все высосет! Заел нашу жизнь!

«Земля. Жить – значит убить. Убить и воскреснуть. Смерть – это тоже жизнь. Какой я злой. Я не боюсь смерти. Я сейчас ничего не боюсь».

– Фима! Ты что! Фима!

«Земля. В землю ее. В землю меня. Всех – в землю. И прорастем».

– Фимка! Черт! Помогите!

«Моя земля. Моя. Только моя».

– Помогите...

«Я там не мог. Я здесь смогу».

Круглая, мощная голова возникла, горячее, широким пирогом, лицо вспыхнуло, качнулось, засветилось. Скулы торчали, губы вздрагивали. Земля подняла темную грубую руку и развязала на затылке узел платка. Волосы кустов и водорослей хлынули, скалы, реки и озера приблизились, море рванулось вперед. Мачеха оседала на пол, а прибор поднимался. И земля наклонялась, вздымаясь; она росла и ширилась, и взбухала, и изнутри земли росли и разворачивались веера черного ветра, и синего хрусталя, и морозного железа. Отец верещал щенком. Ефим тоже стал щенком и сел на пол, на все четыре лапы, и прижался к ногам отца, а отец тоже падал, и не за что было ухватиться.

«Жизнь за царя, опера такая есть. Мать меня в школе в оперный водила. Или смерть за царя? А какая, черт, разница?»

Земля придвинула к нему лицо свое страшно, плотно. Губы ее раскрылись. Ефим искал щенячьими губами ее гиблый рот, ее пахучий пот, но губы ловили ветер и пустоту. Море плеснуло в него дикой тяжелой темной водкой, Крым восстал до небес, он задохнулся и поплыл, высоко, нелепо взмахивая руками под чей-то тяжкий долгий крик, под тонкий плач.

Владимир СЕДОВ

Родился в 1953 году в Горьком. Окончил Высшее политическое училище МВД СССР имени Ленинского комсомола. Работал на заводе, в органах МВД, в научно-исследовательском институте, юристом, председателем фирмы «Русский клуб», министром культуры Нижегородской области.

Прозаик и драматург. Член Союза писателей РФ, председатель Нижегородского отделения Союза кинематографистов России. Живет в Нижнем Новгороде.

Я – ЭТО ОН

Впервые я увидел эту женщину, когда получал свои книги из типографского склада, пахнущего пылью и мышами.

Она выдавала мне мой тираж и была одета в синий несвежий халат, длинный и мешковатый. Говорила резко и сердито. Ей, видимо, уже до смерти надоело выдавать писакам их никому ненужные книги, и она совсем не смотрела в мою сторону, а только отмечала в своем блокноте, сколько унесли пачек.

Я, поддавшись ее настроению, тоже схватил несколько пачек и понес их из подвала, не горя желанием еще раз с ней встретиться.

Не скрываю, я любил женщин. Любил очень сильно, как пьяница вино. Но там, в подвале, была не женщина, а какое-то сердитое существо, вдобавок оно еще и «каркало», как случайно залетевшая в этот подвал ворона.

И когда я уже в последний раз поднимался по лестнице с пачками своих книг, мне вслед прокаркала эта сердитая женщина:

– Мужчина, мужчина ...

Я, не реагируя, топал вверх.

– Писатель!.. – наконец по-человечески крикнула она.

Только тогда я понял, что обращаются ко мне, и остановился.

– Зайдите ко мне в кабинет и распишитесь в получении тиража.

Строгим голосом сказала она мне.

– Хорошо, – ответил я, как послушный ученик. И быстро кинув пачки книг в машину, побежал назад в здание типографии.

У дверей склада стояла женщина и запирала замки. Рядом на гвозде висел халат. Когда она повернулась ко мне, я увидел красивую женщину с великолепной фигурой. Тонкая талия и великолепные бедра были подчеркнуты юбкой, в которую была заправлена легкая кофточка, подчеркивающая красоту и воздушность ее плеч и шеи. А две расстегнутые пуговички на кофточке и красивый кулон из голубого топаза только подчеркивали очарование высоко поднятой груди.

– А где?..

– Кто? – спросила женщина.

– Да тут кладовщица просила подойти за тираж расписаться.

Красавица иронически посмотрела на меня, сняла халат с гвоздика и, перекинув его через руку, сказала, причем весьма милым и приятным голосом.

– Этой кладовщицей была я. Не признали? Бывает. Пойдемте, товарищ писатель, оформлять документы.

Я оторопел.

Что это? Что за удивительные превращения? Как простой рабочий халат мог так изменить женщину, так скрыть ее красоту. А голос? Куда делось это воронье карканье? Мистика, да и только. Может, я видел и слышал только то, что хотел увидеть и услышать в полутемном пыльном подвале от «халата», а не от женщины в нем. Ведь там в то время была не она, а «кладовщица» и я был «клиент», не более.

Мы подошли к кабинету с надписью «Зам. директора». Она открыла дверь. Вошла и пригласила меня за собой. Бросила халат в шкаф, села за свой стол и сразу стала на компьютере набирать текст накладной, сверяя его с записями в своем блокноте.

Я стоял в ее кабинете в полной растерянности. «Неужели халат и подвал так могут изменить женщину?» Она несколько раз отрывалась от работы и мельком, так, иронически, поглядывала на меня. Вид у меня был, конечно, идиотский, оттого что я обознался так глупо и примитивно. Быстро подписал накладную, что тираж своей новой книги получил и претензий не имею, и в шоковом состоянии покинул кабинет этой Золушки.

Несколько дней я не находил себе места. Перед глазами стояло это чудесное и шокирующее перевоплощение. Я все проигрывал в своей голове и проигрывал картину: как в подвале типографии какое-то сердитое, нелепое существо в рабочем халате вдруг превратилось в очаровательную женщину.

Женщину, которая теперь день и ночь тревожила мне душу.

А может, я ошибся, может, это превращение – просто иллюзия?

И я поехал опять в типографию.

Нашел ее кабинет. Постучал. Открыл дверь.

Нет, не иллюзия.

За столом сидело то самое очаровательное существо, которое и воспалило мой мозг.

Женщина подняла голову и улыбнулась.

И я в ответ на эту улыбку сказал:

– А пойдемте чайку попьем.

Она посмотрела на часы и спросила:

– Куда?

– Тут рядом ресторан «Золотая вилка», там отличные салаты делают.

– Так вы меня приглашаете чай пить или обедать?

И опять улыбнулась.

– И то и другое, пойдемте... – жалобно проблеял я.

Вид у меня был настолько, очевидно, жалкий, что сцена была почти по Чехову: «...в конце концов несчастья Кукина тронули ее, и она его полюбила»*.

* А.П. Чехов. «Душечка».

До любви, конечно, было еще далеко, но она все же ответила:

– Хорошо. Я подойду туда через полчаса.

Я, боясь спугнуть этот счастливый миг, буркнув «до встречи», вылетел пулей из кабинета, а затем из типографии.

В ресторане я суетился, как блохастый пес.

Кабинку выбрал самую дальнюю и занавешенную шторой. Заказал кофе и стал ждать.

Тихая музыка, искусственный фонтанчик как-то подуспокоили мои расшатанные нервы, и я уже даже почти задремал, как вдруг штора резко откинулась и моя дама, заглянув внутрь кабинки, спросила:

– Вы меня еще ждете?

– Конечно, – подскочил я.

Она села напротив и, улыбнувшись, спросила:

– Ну, что будем делать?

Я опять заметался, стал перебирать меню, зачем-то заглянул под стол, а затем закричал:

– Официант!

Подошла девушка.

Я стал заказывать. И то и то. И вот это и вот это. Меня не останавливали. Но официантка все же спросила:

– Вам как подавать, все сразу или вы что-то предпочитаете в начале, а что-то в конце?

Я только теперь сообразил посмотреть на свою спутницу. Она, как бы все понимая, потерла руки и сказала: «А несите все сразу, гулять так гулять».

Это меня обнадежило.

Когда мы, съев половину того, что принесли, и выпив бутылку вина, расслабились, она спросила:

– И что дальше?

– Да ничего... – засмутился я, – просто я хочу посидеть с вами, поговорить...

– Да? Я думаю, что вы хотите от меня кое-что другое... – с сарказмом сказала она.

Я молчал. Потому что сам очень хорошо понимал, чего я хочу от красивой стройной женщины. Но мне казалось, что эти мои мысли так глубоко спрятаны у меня внутри, что никто догадаться не сможет и уж никак не моя спутница. Но была не была, и я налил ей еще вина.

Она бокал взяла. Посмотрела сквозь него на меня и медленно так сказала:

– Не знаю, хочу я того же или нет... Не знаю...

Выпила вино, поставила бокал, встала.

– Я пойду и ничего не обещаю. Решу – позвоню.

Она позвонила.

Мы встретились.

Потом пошли свидания.

Встречи эти напоминали извержение вулкана среди тихой и спокойной жизни. Ее мысли, суждения были необычны и неординарны. Спокойная, ироничная, она, только мы оставались тет-а-тет, становилась ласковой, страстной до невероятности.

И так продолжалось три года.

Но после того ее первого звонка всегда потом звонил первым только я.

Так было и на этот раз.

Но вместо «где, когда и во сколько» я услышал: «Хватит. Эти наши скотские сексуальные отношения надо прекращать».

Я опешил. Но это было сказано так категорично и так жестко, что я сумел только ответить:

– Хорошо.

Понял, что это серьезно.

Но терять ее я не хотел. И не то чтобы был в нее влюблен. Просто в постели она была на тот момент моей жизни лучшая.

После тридцати минут обдумывания, что же произошло, я позвонил снова. Она ответила. Но тон и суть ответа были все те же.

Тогда я предложил просто встретиться и попить кофе, просто попить кофе, в любом кафе на ее выбор. Только попить кофе как старые друзья.

Видимо, в моем голосе было что-то, что дало повод ей все же согласиться на встречу.

Мы встретились.

Я волновался. Она же была абсолютно спокойна, как будто, проходя мимо, зашла попить кофе и вот встретила своего знакомого.

Я долго и витиевато говорил о том, что Господь создал мужчину и женщину и что секс – да, это где-то и животное чувство, но в этом виноват не я, а Создатель, который...

Она молча слушала, а может, и не слушала, глядя куда-то поверх меня и улыбаясь чему-то своему.

А я все говорил и говорил, уже не глядя на нее, понимая всю бесполезность моего монолога, и вдруг почувствовал, что она смотрит на меня. Я поднял глаза: да, она смотрела на меня.

Взгляд ее был добрым и снисходительным, как смотрит мудрая учительница на глупого, нашкодившего ученика.

– Писатель, не мучай себя, я просто влюбилась.

Я подавился кофе.

– Да не в тебя.

Я прокашлялся. А она стала мне рассказывать про него. Рассказывала нежно, возвышенно и пафосно, как всякая влюбленная дура.

Я сразу поверил, что она и вправду влюбилась.

Это было видно по ней, по тому, как она переменилась: голос ее стал слащавым, взгляд глупым, жесты идиотскими, и кофе она стала отхлебывать, как корова на водопое. В общем, в один миг превратилась из умной, ироничной, красивой женщины в подвальную типографскую ворону.

«Господи, – подумал я, – что делает с женщинами любовь».

Теперь уже она все говорила и говорила, и все о нем, и все про него, про своего героя. Но чем больше она говорила, тем яснее я стал понимать, что любовь-то безответная. Он-то ее не замечает. «Ага, – обрадовался я, – значит, еще не все потеряно».

За три года изучив особенности ее характера, я решил сделать ей настолько неординарное предложение, что оно при ее неординарности должно было сработать.

И когда она наконец открыла мне тайну, что пока он, ее герой, не знает, что она его любит и даже не догадывается, а если и догадывается, то все равно не обращает на нее внимания, я заявил, что готов пойти на жертву ради нее.

- Какую жертву? – опешила она, округлив свои прелестные глазки.
- Очень просто, – ответил я, чеканя слова, – я готов, да, готов, пока он не обращает на тебя внимания, стать им.
- Как «им»? Кем «им»? – удивилась она.
- Им – тем, с кем у тебя пока нет никаких отношений. Но ты его любишь. И от этого тебе плохо. Я вижу. А так как у нас с тобой уже давно все налажено, то ты просто представляешь его, когда будешь со мной и как бы ты с ним, а не со мной...
- Что?.. – Она приподнялась.
- Нет, как только он тебя полюбит и у вас дойдет до этого... до чего дошло у нас, – я тут же уступлю ему место. Чего тебе мучиться, когда я есть рядом? Можешь даже называть меня его именем.
- Ты сумасшедший! – сказала она и, резко повернувшись, пошла к выходу из кафе.
- Передумаешь – позвони, – крикнул я ей вдогонку.
- Никогда! – слышалось мне в ответ.

Сегодня она позвонила. Сказала, что согласна.

Я ответил, что рад.

Она заплакала.

ТУФЕЛЬКА

Крым – это Рай России.

Ялта – это столица Рая.

Ялтинская набережная – центральная улица российского Рая. Как для французского Рая бульвар de la Croisette и набережная Venis beach – для Рая американского.

В архитектуре зданий набережной, в буйстве зелени деревьев и в шуме моря еще осталось что-то от чеховских, бунинских, вересаевских дам в бархатных платьях и мужчин в смокингах и цилиндрах. Там до сих пор витают в воздухе острые ароматы восточной кухни. А ранним утром, прислушавшись, можно услышать и говорок Максима Горького, и бас Федора Шаляпина, и нервозность речи Кулиджанова, но... но, к сожалению, это только память, не более...

Все изменилось.

Людей стало больше, Ялты стало больше. Европы стало больше.

Помимо дам в вечерних платьях и мужчин в костюмах (все же встречаются до сих пор и такие) появился «продукт» массового туризма в виде толпы людей, одетых кое-как, наспех. Всяких разных: старых, малых, толстых, тонких, счастливых, несчастных, влюбленных, радостных, грустных, равнодушных и восхищенных.

Шорты, джинсы, юбки, майки, шляпы, бейсболки.

Яркий раскрас женщин. Цепи и перстни мужчин.

Много музыки, призывов, демонстраций и шума, шума, шума...

В этом шуме – художники, музыканты, циркачи, фокусники, акробаты, певцы, попрошайки. Все галдят, говорят, поют, просят, показывают, удивляют, рисуют, продают.

Праздник, каждый час, день, ночь. Всюду и всегда праздник. И каждый может в нем присутствовать, каждый может в нем участвовать. И неважно, кто ты: русский, украинец, татарин, грузин, армянин, еврей, чеченец; ты здесь одной нации – туристической. И ты, турист, – самый уважаемый, самый желанный, все для тебя. И ты можешь все увидеть, все услышать, попробовать и сфотографировать.

Но не всегда.

Иногда эти желания невыполнимы из-за желаний других гостей набережной. От этого возникают недоразумения, недопонимания, толкучки, крики, скандалы. Кто-то кого-то толкнул, задел, наступил, закрыл от зрелища, купил последнее, прошел перед объективом фотоаппарата. Но эти мелкие огоньки конфликтов, вспыхнув, сразу тлеют и гаснут от атмосферы общего веселья счастья и праздника.

К вечеру количество людей на набережной становится все больше и больше и, наконец, достигает такого количества, что запросто можно потеряться и заблудиться в этом вихревом потоке, сделав всего один шаг в сторону. Причем все эти потери, исчезновения, появления

происходят постоянно ежеминутно ежесекундно и заставляют всех еще быстрее двигаться, шевелиться, вертеться и оглядываться.

И конечно, та сценка, что взволновала этот бурлящий поток, как раз напротив скульптурной композиции «Антон Чехов и дама с собачкой», вмиг стала всем очень интересна.

Остановилась семейная пара, с детьми. Что-то произошло с мамой. Муж, мужчина лет тридцати пяти, среднего росточка, уже лысоватый, скромно одетый в полуспортивный полупляжный прикид, вдруг упал на колени перед своей женой. Три девочки-погодки, три кудрявеньких светленьких ангела: лет пяти, шести и семи, прекратили свои игры вокруг родителей и тоже присели.

Жена, женщина тридцати лет, высокого роста, в туфлях на платформе и в огромной шляпе, шла, гордо неся свое тело, но при этом не забывала о соблюдении равновесия, которое регулировала опираясь на зачехленный красный зонт, больше похожий на королевскую трость.

И конечно, эта эффектная женщина на платформах, в шляпе и с зонтом, размечтавшись, забыла, что на набережной есть неровности, и сделав очередной шаг своими очаровательными стройными ножками, стала неожиданно сползать с правой туфли-платформы. Ее муж моментально среагировал на возникшую опасность и вмиг превратился из полуспящего медвежонка в быстрого леопарда. Резким разворотом к своей суженой он успел подхватить ее пикирующее тело и мягко приземлить, выпрямить и удержать. Но, несмотря на это, туфелька соскользнула с очаровательной ножки и оказалась на мраморной плите с оборванной тесемкой, а великолепная ножка жены повисла в воздухе.

Жена моментально сбалансировала свое тело и осталась стоять на одной ноге, и, чтобы потерявшая туфлю ножка не болталась над землей, она поставила ее на левую ножку, не пострадавшую от выбоины, и стала обеими руками придерживать свое положение, опираясь на ручку зонта.

Муж, тут же распахив гуляющих, упал на колени, поднял платформу и так по-будничному, как у себя дома, стал осматривать туфельку. Детишки тоже перестали играть и резвиться и, присев на корточки вокруг папы и мамы, как три букетика, стали внимательно следить за тем, что делает папа.

А папа, осмотрев туфельку и оценив серьезность проблемы, достал из кармана перочинный ножичек и приступил к ремонту.

Вокруг этой сцены моментально образовались зрители. Те, что были рядом, наблюдали и с вопросом «Что будет дальше?» ожидали развития событий. Наиболее активные стали предполагать: «Сейчас муж изрежет туфлю-платформу, взвалит жену на плечо и понесет в гостиницу». Другие: «Нет, он стащит вторую туфлю, а мамашу зарежет, для чего и достал нож». Третьи: «Нет, мужик отдаст свои шлепанцы жене, а ножом сам себя зарежет». Споры, шум, толкотня.

Но семейство совсем не обращало внимания на то, что происходило вокруг них. Муж спокойно чинил туфельку.

А толпа все увеличивалась и увеличивалась. Задние, не видя, что происходит на самом деле, спрашивали передних. Начались предположения. Кто-то решил, что кого-то задавили, другой – что обокрали, третий заверил, что женщина упала в люк канализации, а те, кто стоял еще дальше, предполагали, что поймали инопланетянина или американского шпиона.

Возникли конфликты. Некоторые, кто сами поверил в свои версии, перешли от словесного доказывания своих гипотез к физическому: толчками, пинками и плевками. Толпа возбудилась и загудела, запульсировала.

И не знаю, чем бы закончилось этот происшествие, если бы наш муж-герой быстро не починил туфельку. Он сложил ножичек, осмотрел еще раз туфельку, постучал ею по мраморной плитке и аккуратно с нежностью вернул ее на прежнее место. Причем, застегивая замочек на туфельке, он нежно поцеловал стройную ножку своей супруги.

Дети, как будто только этого и ждали, тут же забегали как ни в чем не бывало вокруг папы и мамы.

Жена, опять встав на платформу, выпрямила все свое великолепное тело, оторвала свои огромные голубые глаза от томного созерцания толпы и, гордо вскинув голову, пошла во главе своего семейства дальше по набережной Ялты.

Толпа расступилась и... вначале один хлопок, потом второй, затем шквал оваций разразился вслед этой великолепной паре.

ЛУНИН

Лунин – это фамилия знакомого нашей семьи.

Был ли он другом отца или матери, мне было неясно. К нему одинаково ровно относились оба моих родителя. И я, и мои сестры с братьями тоже к нему относились как к какому-то явлению, которое присутствует в нашей жизни как неизбежность, день или ночь, зима или лето.

И даже имени у него не было. Просто Лунин. Очевидно, это была фамилия его семьи, а ему уже досталась как имя собственное. Нет, в детстве у него, конечно, было имя, хотя никто его этим именем не называл, а может, просто не знали, Лунин и Лунин.

Был он огромного роста, более двух метров. Сложен как греческий бог Аполлон. Его мышцы были рельефно и красиво распределены по его крепким костям. Это был атлет. И при взгляде на него страх брал от мощи этого человека. Хотя за свою жизнь он не только никого не обидел, он даже грубого слова никому не сказал. Человеком он был мягким, тихим и скромным.

Но такое тело требовало еды. И он ел. Ел много. Куда в него все это убиралось, просто было непонятно. И главное, это огромное количество съеденного никак не влияло на строение его фигуры. Ни одной жиринки. Все сгорало в этом огромном теле.

Мы, дети, часто наблюдали за ним и после того, как он прекращал есть, просили показать живот. Он показывал. И что? Ничего. Живот как живот – плоский. Где находилось это гигантское количество пищи, поглощенное им, было непонятно.

Но не еда была его главной страстью. Еда была лишь катализатором в его страсти. Спусковым крючком того, что составляло весь смысл его жизни.

Работал он часовым мастером в маленьком закутке, в глубине ювелирного магазина на пересечении улиц Большой и Малой Покровской. Его рабочее место больше напоминало наш домашний шкаф для верхней одежды, оно и отделено было от зала простой фанерной перегородкой. Как он там помещался, было загадкой. С утра до вечера он сидел там перед небольшим столиком с яркой лампой и лупой и работал, работал, работал. Причем молча, ни с кем не разговаривая. Ему хватало радио, которое в его камерке целый день лило на него поток музыки, информации и новостей.

Так он молча, час за часом, изо дня в день, из года в год, ремонтировал часы, делал мелкий ювелирный ремонт браслетов и брошек и никогда не ходил обедать. Весь день он ничего не ел и не пил. Ел он один раз в сутки и всегда у нас дома. И только вечером после работы.

Мама всегда радовалась его визитам. Во-первых, он ей платил за эти обеды, а во-вторых, когда он ел, он даже не замечал, что он ест. Маму это очень устраивало.

Но не в этом заключалась особенность Лунина, пожирателя всего съестного, – таких много, – а в том, что, как только он отправлял в рот первую крошку пищи, он начинал говорить. И в этом была его страсть. В нашей семье ему никто не мешал говорить. Мы все молча его слушали.

И только когда заканчивалась еда, он замолкал. Вставал, молча кивал, мол, спасибо и уходил к себе домой и больше не произносил ни одного слова до следующего обеда.

Мы, дети, подкладывали ему из-за озорства под руку что-нибудь невкусное, затем испорченное, потом мы уже так обнаглели, что даже стали подсовывать детали и части ненужных нам игрушек, и он их съедал. А старший брат как-то подложил ему гайки от своего мотоцикла, и Лунин проглотил и их.

Мы после долго ходили за ним думали, что с ним будет плохо и его отвезут в больницу, а младшая сестра даже плакала от жалости, она думала, что от железной еды он помрет, плача, все обещала больше никогда не подсовывать Лунину плохой еды и что в следующий раз отдаст ему свое пирожное.

Но Лунин не умер и на следующий день явился к нам как всегда, в то же время.

Он мог есть селедку и сметану одновременно, воблу и бананы, молоко и соленые огурцы, пить кисель, компот, кефир, квас и просто воду. Но все же еда для него была не самое главное. Ему надо было говорить. Именно говорить, а не поговорить. Он говорил, говорил и говорил все время, пока ел. И замолкал, как только переставал есть, жевать, глотать.

Он просто произносил слова и предложения в никуда и никому.

Он пересказывал все, что слышал по своему приемнику, в своей рабочей камерке за целый день. Он сам был в этот момент как радио. Я так понимала, что вид еды тут же, как рефлекс, выплескивал из него все, что он услышал за день. Каждый день наша семья получала гигантской поток информации.

Маме были выгодны оплачиваемые обеды Лунина, и она строго наказывала нам, чтобы мы его не перебивали. Даже папе было запрещено вступать с Луниным в дискуссию. Стоило хоть на секунду остановить поток слов Лунина, он тут же замолкал. Переставал есть и уходил, и не появлялся несколько дней. Это было невыгодно. Маме надо было, чтобы Лунин у нас обедал каждый день. Мама скармливала ему все, что мы, дети, не хотели есть или просто недоедали.

Лунин, Лунин...

Когда он в лихие девяностые уехал на ПМЖ в Америку, я по нему скучала. А мама так расстроилась, что на рынке, покупая продукты, она стала ругаться с продавцами матерными словами, крича им, что у нее теперь нет Лунина, который мог есть их гнилье.

Прошло много лет. И тут как-то раз я смотрела передачу Малахова о толстых людях и увидела сюжет из Америки о человеке, который весит три центнера и никак не может похудеть.

Это был Лунин.

Врачи-диетологи бились, бились и ничего не могли сделать. И во время передачи он ел и говорил, ел и говорил и толстел, толстел и толстел.

Я тогда, сильно волнуясь, дозвонилась до студии и дала рекомендацию – перебить его разговор. Мне, конечно, мало поверили, но ведущий перебил его поток слов каким-то вопросом. Лунин замолчал и сразу перестал есть.

Через год, разыскав меня, приехал ко мне сам Лунин. Высокий, стройный, подтянутый с огромным букетом роз.

Мне в благодарность.

За мою неговорящую диету!

Наталья ЕМЕЛЬЯНОВА

Родилась в 1981 году в городе Горьком. Окончила Нижегородский государственный педагогический университет, специальность «учитель русского языка и литературы». В настоящее время работает инструктором по фитнесу и преподавателем в воскресной школе

Живет в Нижнем Новгороде.

ПОЧТАЛЬОН

1

Мне шестьдесят пять лет. Я беден и одинок. Я почтальон.

В это почтовое отделение я устроился, когда мне было двадцать пять, с тех пор я ни разу не менял своего места работы. Мой стол, на котором я разбираю письма и газеты, стал частью меня. Я знаю каждую его трещину, каждую его царапину и дорожку каждой. Ни за что бы я не сменил свой стол ни на какой другой. За ним прошёл огромный пласт моей жизни, самый интересный и дорогой моему сердцу пласт.

Мое почтовое отделение пахнет дешёвым кофе и ржаным хлебом – так завтракают почтальоны, приходящие на работу к семи утра. Начальница приходит ещё раньше, так что к семи утра на наших столах всегда лежат отсортированные пачки корреспонденции.

2

Сегодня на улице сильный мороз, с мороза запах кофе, растёкшийся в тёплом воздухе нашего отделения, особенно резко ударяет в нос пришедшему и дурманит ему голову.

– Что, Маргарита Фёдоровна, много сегодня писем? – спросил я, входя в отделение. От постоянной ноши и пренебрежительного отношения к себе я сгорбился не по годам и ходил, шаркая ногами, как старый дед. Наша начальница – Маргарита Фёдоровна Васильцева – моя ровесница, красивая и хорошо сохранившаяся женщина, с которой мы вместе начинали свой трудовой путь сорок лет назад, сильно ругала меня за то, что я совершенно запустил себя; ругала каждый день, вот и сейчас она с досадой посмотрела на меня из-под очков и сказала:

– Всё ковыляешь, Василий Прокофич?

Я, не глядя на неё, прошаркал к своему столу и, бросив древний портфель на стул, принялся разбирать корреспонденцию.

– Немного нынче писем, но то, что ты ждёшь, есть, – Маргарита Фёдоровна строго посмотрела на меня.

Я быстро взглянул на неё и принялся разбирать письма дальше.

– Погубил ты себя, Василий Прокофич. Сколько говорила: брось глупости, живи как человек. Вот: старость на пороге, а что ты имеешь? Письма всё свои бестолковые ждешь!

– Я много раз просил вас не поднимать эту тему, Маргарита Фёдоровна, – тихо сказал я, выждав паузу. – Каждый человек находит в жизни свои ценности и живёт тем, что ему дорого, и так, как считает нужным. Я в вашу жизнь не вмешиваюсь. Прошу о том же и вас.

– Да ведь подсудное дело! – вскричала начальница. – По доброте своей вожусь с тобой! Не возилась бы, полетел бы ты с почты на заре своих бредней! А то, что в мою жизнь не лезешь, так ты слазь, может, поумнеешь!

В коридоре слышались быстрые лёгкие шаги.

– Маргарита Фёдоровна, закончим разговор, кажется, идёт Жанна. А за доброту я вам премного благодарен. Хотя не знаете вы ничего, да и знать не можете.

В отделение вошла девушка лет двадцати, она прерывисто, как после бега, дышала и горела красными с мороза щеками. Жанна работала у нас недавно, недели две. Она была студенткой-заочницей и устроилась к нам на время учёбы в институте. Это была милая добрая девушка, лёгкая и улыбочивая, хорошая девушка; но, на мой взгляд, она не была почтальоном, то есть я не видел в ней почтальона, почта не являлась для неё местом, где происходит нечто сакральное; она была человеком другой эпохи, человеком, разносящим письма, которые по большей части имеют рекламный или деловой характер, в которых нет души и человеческой жизни, поэтому и относится она к ним не как к страницам жизни, а как к банковским счетам, на которые нужно перевести платёж. Нет, она не виновата в том, что не видит в письмах живого, она никогда живые письма в руках не держала. И поэтому она не почтальон, *не тот* почтальон.

– Здравствуйте! – задыхаясь, но звеня юным голосом, сказала она.

– Здравствуй, Жанночка, – с искренней улыбкой ответила Маргарита Фёдоровна.

– Доброе утро, – сухим старческим голосом произнёс я.

Жанна сняла куртку и прошла к своему столу. Весь отдел почтальонов был в сборе: Маргарита Фёдоровна, Жанна и я, старый почтовый дед, жизнь которого приросла к засохшему и потрескавшемуся столу и такому же столу.

За стеной был ещё один отдел, там работали молодые женщины, они сидели за компьютерами и печатали что-то, во что вникать мне не было необходимости, к ним приходили посетители, они принимали у них письма, посылки, платежи за разные услуги, продавали им журналы. Я редко туда заходил, заглядывал иногда, когда приходило время посетить нашу почту одному человеку... Два раза в месяц.

– Я ужогу на свой участок, сегодня немного корреспонденции, пораньше разнесём и будем свободны, – сказала Маргарита Фёдоровна, надевая рабочее пальто (старое, потрёпанное, специально принесённое ею из дома лет пятнадцать назад), – рекомендую и вам не засиживаться за бесполезным перебиранием конвертов. Я для вас всё уже перебрала, – говоря последнюю фразу, она снова кинула на меня суровый взгляд и вышла из отделения, таща в руках две кипы писем и газет.

– Я тоже пойду, до встречи, – прозвенела Жанна и вышла вслед за начальницей.

3

Я остался один. Я ждал, когда они уйдут, когда оставят меня в покое наедине с моим столом и тем, что лежало на нём. Я сел, медленно и аккуратно разложил кипу писем и вынул из неё одно.

«Вьюжину Аркадию Марковичу. Нижний Новгород, Набережная Федоровского...»

Ему писали два раза в месяц. Регулярно. Из Санкт-Петербурга. Писала женщина. Вот уже почти сорок лет.

С письмом в руках я встал из-за стола и включил чайник – такой же старый, как всё в этом отделении, за чайник я тоже радел и не позволял заменить его на новый, современный. Я воткнул вилку в розетку и стал ждать. Когда из носика чайника пошёл пар, я поднял над ним край письма и подержал так с полминуты. После этого, не отходя от чайника, острым ножом я принялся раздвигать стенки конверта. Я делал это уже много лет, движения давно стали привычными, я редко надрывал бумагу, за годы тренировки я научился вскрывать конверты почти незаметно. Впрочем, следы вскрытия как-то перестали меня волновать, я перестал бояться, что адресат придёт на почту и устроит скандал или начнёт расследование. Когда стенки конверта раздвинулись настолько, что я мог вынуть из него сложенный лист бумаги, я вернулся к своему столу. Я не спешил разворачивать лист. Я потрогал его пальцами, поднёс его к лицу, коснулся его носом, лбом, губами, снова погладил пальцами. Не разворачивая лист, я стал вглядываться в знакомый почерк, в привычный сиреневый цвет чернил... Сердце моё затрепетало, и я развернул листок.

«Здравствуй, Аркаша!

Как твоё здоровье? Ты заставил меня сильно волноваться, когда написал, что захворал так, что пришлось вызывать доктора. Изложи мне со всеми подробностями, что доктор тебе порекомендовал, что сказал о твоей болезни. Ты знаешь, что теперь я не успокоюсь, пока не узнаю всё с точностью!

Я сама, Аркаша, тоже неважно себя чувствую. Но это уже мой возраст. Я сердечно благодарна тебе за твой бесценный подарок и за слова, которые ты один мне с такой искренностью можешь говорить. Однако что можно чувствовать, когда тебе исполняется восемьдесят лет? Нет, я чувствую себя почти счастливой. Мне не на что жаловаться. Но ты знаешь, что ты моя боль. Я была бы счастлива вполне, если бы счастлив был ты. И не уверяй меня, что счастье твоё в этих письмах! Счастье своё ты пропустил из-за меня, из-за этих вот писем. И кого, кроме себя, могу я обвинять в этом? С тяжким чувством вины уйду я на тот свет. И ни один твой аргумент не сможет меня от него избавить. Однако поздно об этом рассуждать. Да и отпускать тебя теперь поздно, – ты сам не мальчик, хоть и на пятнадцать лет меня моложе. До конца дней моих мне остаётся лишь каяться в том, что вовремя не запретила тебе писать мне. Вся жизнь твоя сложилась бы совсем иначе: счастливо, полноценно... Впрочем, я опять принялась писать давно исписанные мысли. А тебе в болезни нужны светлые слова.

Что же могу я рассказать тебе светлого? Юбилей мой прошёл очень хорошо. Твоё колье украсило моё чёрное платье, муж мой даже не спросил, откуда оно у меня. Впрочем, до ревности ли нам в наши годы? Да

Степан и раньше никогда не ревновал меня к поклонникам, у любого артиста, по его мнению, они должны быть. Ему и в голову не приходило, что ты – не просто один из них... В консерватории собрался полный зал, пели мои ученики всех лет. Приехали и Матвеев, и Ильин, а как пела Луиза! Это просто сказка! Девочка – моя гордость. Да все они – моя гордость, мои дети, моя любовь. Некоторые из них уже седые. Как долго я живу, и как недавно... Что же я опять за сантименты. Я не пела. Мне уже неприлично показывать свою старость на сцене. Я лишь поблагодарила всех, кто пришёл, кто поучаствовал в этом концерте в мою честь как артист или как зритель. Мне было приятно до слёз. Сколько цветов мне подарили! Кажется, все эти люди меня любят. За что?.. На глазах у некоторых были слёзы, я многих обнимала. После концерта у нас был фуршет. Степан Павлович всё прекрасно устроил, я почти ему не помогала, а ведь он ровесник мне, и откуда силы берутся. Ах, Аркаша, он прекрасный человек, хоть тебе и больно это слышать, пожалуйста. Но за эти годы может ли ещё не пройти боль? Дома был семейный парадный ужин и концерт только для своих, для нашей большой музыкальной семьи. Дома я пела, Степан много играл на фортепиано. Приехали дети, внуки, сестра моя с мужем и племянниками. Не буду перечислять тебе всех гостей, ты и так знаешь, кто у меня самый близкий. Не забыла я и о тебе в этот день, я молилась о тебе на вечерней своей молитве. Я каждый день молюсь о тебе, Аркаша. Пока жива, буду молиться.

Фото своё тебе вышлю в следующий раз. Хотя не понимаю, зачем тебе фото сморщенной старухи?

Будь здоров, Аркаша. Недолго нам с тобой ещё писать друг другу. Человек не вечен. И, когда человеку исполняется восемьдесят лет, он понимает это лучше всех.

Помни и ты: жизнь скоро. У тебя ещё есть время, которого у меня почти уже не осталось. Впрочем, как кому Господь даст.

С наилучшими пожеланиями, с теплотою в сердце, твоя Саша».

Я сидел за столом и молча смотрел в листок. Я был в странном состоянии: то ли слишком много эмоций лишили меня чёткости мысли, то ли их полное отсутствие. Я не хотел расставаться с прочитанным листком. Сиреневые буквы вмещали в себя целый мир. Она писала как в старину. Почерк её был изящен и крупен. Заглавные буквы были похожи на заставные книжные. Она была самым утончённым человеком, живущим ныне на земле. Она была самым интересным на земле человеком.

Я сложил листок и положил его обратно в конверт: боковая сторона его немного смялась, но все письма, приходящие от неё к нему вот уже почти сорок лет, имеют смятые бока. Он не заметит. Я заклеил конверт клеем-карандашом и положил письмо в общую стопку. Скоро он тоже прочтёт его.

Он жил в старом пятиэтажном доме. Почтовый ящик его всегда был свободен от рекламы (он тщательно за этим следил), и письмо всегда легко пролетало на самое дно. Никогда ни от кого другого он не получал писем, разве что из Пенсионного фонда... но подобные канцеляризм я письмами не считаю, письма могут приходиться только от

людей... Газет и журналов он не выписывал никогда. Вся корреспонденция его составляла два письма в месяц ... от Саши...

Письмо, пришедшее сегодня, я понёс ему, когда все остальные были уже доставлены. Я вошёл в его подъезд. Подошёл к ящику. Ещё раз погладил пальцами её письмо, коснулся его губами, не желая расставаться с ним, я ещё раз внимательно взгляделся в сиреневые буквы на конверте, потоптался с минуту около ящика, после чего, сделав над собой усилие, бросил письмо в чёрную щель. Письмо стукнулось о железное днище, я заглянул в ящик и в последний раз посмотрел на драгоценный конверт.

Аркадий жил на втором этаже. Как только я отошёл от ящика и начал спускаться по лестнице, со второго этажа раздался звук открывающейся двери. Затем я услышал шаги, звон ключей, скрип дверцы почтового ящика... Дальше была пауза... медленные шаги по лестничной площадке, хлопок входной двери.

Забрал.

Я вышел из подъезда и поплёлся вперёд по скрипучему снегу.

5

Впервые я прочитал письмо от Саши спустя полгода после своего устройства на почту. Это было даже не письмо, а поздравительная открытка с Новым годом. Был конец декабря. Писем и открыток накануне праздника приходила масса, но среди всего этого необъятного количества корреспонденции я каким-то чудом смог выделить её открытку и прочесть её. Не могу в точности объяснить, как так произошло. Помню, как вбежал тогда своими ещё молодыми ногами с трескучего мороза в отделение, чтобы забрать очередную порцию корреспонденции. Решив немного погреться, я налил себе чашку чая и рассеянным взглядом стал скользить по открыткам, лежащим на моём столе. Внимание моё привлекла милая, чисто женская, даже немного детская открытка: Снегурочка в лесу дарит белкам корзину с конфетами. Меня тронула эта картинка. Отпивая чай из кружки, я перевернул открытку текстом вверх и увидел имена: Вьюжину Аркадию Марковичу от Давидко Александры Дмитриевны. Эти имена уже были мне знакомы. Письма от неё к нему приходили часто, из любопытства я решил прочесть текст:

«Дорогой Аркаша! Поздравляю тебя с наступающим Новым годом! Хочу от всего сердца поблагодарить тебя за твою дружбу! Давай и в новом году сохраним её, я очень ценю её, цени её и ты, если можешь. Знай: я всегда протяну тебе руку и с радостью пожму твою. Желаю тебе здоровья и твёрдости духа, желаю тебе любви. Желаю, чтобы ты встретил женщину, которую полюбил бы и которая полюбила бы тебя. Я полюбила бы её, как свою сестру. Пожалуйста, встреть её, не беги, не закрывай глаза перед всем миром. Пожалуйста, будь счастлив. Хотя бы ради меня. Ради меня ты готов на многое... Больше я ничего и пожелать не могу: лишь твоей дружбы и твоего счастья. Встреть праздник с улыбкой! Я буду желать тебе счастья под бой курантов. С наступающим Новым годом!

С теплотою в сердце, Саша».

Странное поздравление, подумал я. От него мне стало грустно. Я подумал: как же грустно, должно быть, тому человеку, которому оно

адресовано. Как, вероятно, ему одиноко. Что за странная женщина пишет ему? Кто она ему? Подруга? Бывшая жена? Несостоявшаяся жена?.. Какое странное поздравление.

Мои мысли прервала Маргарита Фёдоровна, тогда ещё я звал её просто Ритой. Молодая, задорная, всегда улыбающаяся, она с шумом вошла в отделение, внося с собой поток свежего, вкусно пахнущего морозного воздуха.

– Греетесь? – улыбаясь произнесла она. – Вот и я сейчас с вами чаю хлебну и обратно. Эх, и холодина сегодня!

Она налила себе чаю и уселась за свой стол.

– Рита, вы читали когда-нибудь открытки, которые разносите?

– Ещё чего не хватало! Только на это я своё драгоценное время не тратила! Я открытки стараюсь как можно быстрее разнести по адресам, а читать – ну уж нет, этак я до ночи с ними буду возиться. За день так натаскаешься, что никакого любопытства не останется. А почему вы спрашиваете? Решили увлечься чужими поздравлениями?

– Прочитал одну, – признался я, – сел чаю выпить, и взгляд сам упал. Странная такая открытка.

– Зря вы это. Теперь будете думать да гадать. Что же странного в этом поздравлении?

– Хотите прочту?

– Ну уж нет, – Рита замахала руками, – не хочу. Чужая жизнь, зачем мне это? И вы прочитали и забудьте. Ну, странное поздравление, вам-то что? Не ваша жизнь.

Рита встала со стула, взяла две пачки корреспонденции и направилась к выходу. Обернувшись, она сказала:

– Не тратьте время на пустоту. Жизнь не в чужих открытках. Лучше пораньше разнесите всё и бегите к невесте. Есть она у вас?

Я был удивлён неожиданным вопросом. Невесты у меня не было. Я улыбнулся и покачал головой.

Рита ушла. А я остался наедине со своими мыслями, Сашей и Аркадием.

С того дня я не пропустил почти ни одного письма Саши. Поначалу я не ждал их, вспоминал о них, только когда они попадали мне в руки. А взяв в руки, долго сомневался, стоит ли переходить границу дозволенного и читать чужие письма. Ответ был очевиден: границу переходить нельзя. Но каждый раз я заглушал в себе голос совести и нагло вторгался в чужую жизнь. Спустя несколько месяцев я поймал себя на мысли, что стал ждать эти письма, что уже отследил периодичность их появления на моём столе, и, когда подходил срок их получения, кажется, кроме них, не думал уже ни о чём. Вопрос вторжения в чужую жизнь продолжал меня волновать (он и по сей день меня волнует), но, дав себе однажды ответ, что поступаю подло, я смирился с ролью подлеца и продолжал своё постыдное дело.

Человек, которому писала Саша, Аркадий Маркович Вьюжин, отвечал на её письма, как правило, дня через два. Я узнал это, отследив его появление на почте. Он никогда не опускал письмо в ящик, а всегда передавал его лично в руки кому-либо из сотрудниц, принимавших в этот день корреспонденцию и платежи. Он, вероятно, считал, что так надёжнее или быстрее... Он катастрофически боялся утери письма в дороге, поэтому каждый раз, отдавая письмо в руки сотрудницы почтового отделения, он сбивчиво, но упорно повторял:

– В Санкт-Петербург. Письмо важное, вы проследите...

6

Аркадий был моим ровесником, как и я, он сильно запустил себя, поэтому выглядел дряхлым и, пожалуй, даже нищим стариком. Об интеллигентности его говорила лишь его манера держаться: скромно и с достоинством; лицо его было длинным и сухим, роста он был высокого. В холодное время года Аркадий ходил в старом сером драповом пальто, в руках его иногда появлялся старинный кожаный портфель. Спина его была немного сгорблена, однако то ли из-за высокого роста, то ли из-за особенности движений, то ли из-за внутреннего самоощущения, он казался весьма стройным, а осанка – благородной. Из писем Саши я узнал, что всю жизнь он проработал в детской музыкальной школе учителем игры на скрипке и что сейчас он вышел на пенсию и не имеет ни малейшего желания продолжать свою педагогическую деятельность. Из писем Саши я также узнал, что Аркадий – человек невероятно замкнутый и что после ухода из музыкальной школы он совершенно заперся в своей квартире и прекратил какое бы то ни было общение с людьми. Только с Сашей он продолжал свою регулярную переписку, она оставалась его единственным собеседником.

7

В этот раз Аркадий принёс письмо для Саши по традиции через два дня после получения письма от неё. Я подждал его в комнате для почтальонов, с комнатой для посетителей её соединяла дверь. В двери я предусмотрительно оставил щель, в которую я посматривал почти каждую минуту, слышно же мне было каждое слово. Часам к десяти утра Аркадий пришёл. Я сразу узнал его мягкий медленный, слегка шаркающий шаг. Можно было бы и не заглядывать в дверь. Но я заглянул. Он стоял в своём сером драповом пальто, в руках было зажато письмо. Лицо выражало страдание и смиренное принятие этого страдания как того, что нельзя изменить. Аркадий стоял в очереди, перед ним были три пожилые женщины, все маленькие, полненькие, в толстых пуховых платках на головах. Женщины ворчали и жаловались на жизнь. Одна из них поминутно поворачивала голову в сторону Аркадия, желая вовлечь его в разговор. Но он смотрел в сторону и, казалось, не слышал ни одного слова. Разочарованная женщина поворачивалась к своим собеседницам и тут же вставляла свою реплику в обсуждение горячей темы. Когда очередь дошла до Аркадия, он осторожно просунул письмо в окно приёмщицы и тихо проговорил надтреснувшим голосом:

– В Санкт-Петербург, нужны марки.

Приёмщица подала ему неразрезанные марки.

– Пожалуйста, сами отправьте, – волнуясь, произнёс он.

Приёмщица молча взяла конверт, приклеила марки и бросила письмо в небольшую кучку других.

Аркадий потоптался на месте ещё какое-то время, хотел что-то сказать, но передумал и только слегка приоткрыл рот. Приёмщица вопросительно посмотрела на него. Аркадий опустил взгляд и направился к выходу.

Как только он ушёл, я оставил своё убежище и прошёл в зал для посетителей. В голове моей мелькала пугающая и сладостная мысль. Сердце стучало сильно, ноги были не послушны. Я подошёл прямо к столу, на котором лежали письма. Руки тоже дрожали, я едва верил

в то, что отважился реализовать свою безумную идею. Преодолевая волнение, я взял из кучи несколько писем и, стараясь казаться как можно естественнее, совершенно старческим голосом произнёс:

– Что, Танюша, всё пишут?

– Пишут, Василий Прокофьевич. Живём в век высоких технологий, а они всё пишут.

– Письма, Танюша, никакие технологии не заменят. Бумага и чернила – живая субстанция. Не чета компьютерным перестукам.

Приёмщица (симпатичная женщина лет тридцати пяти) засмеялась и, качая головой, проговорила:

– Ну и скажете вы, Василий Прокофьевич. Да недолг срок этим бумажкам вашим. Вот увидите: на пенсию выйти не успеете, как нечего будет носить. Счета одни да, может, уведомления из судов да фондов.

– А вот, Таня, любишь ли ты читать?

– Ну, бывает, – смущённо произнесла она.

– А вот не любишь, раз так отвечаешь. А я скажу: никакие компьютеры не заменят бумажной книги в руках. Книга – это большое и важное письмо, которое пишет автор всему человечеству, а мы, человечество, его читаем и пишем в сердцах своих ответ.

Таня одобрительно улыбнулась, а я, сгорбившись, пошёл в комнату почтальонов, пряча в рукаве своё письмо...

8

Когда я закрыл за собой дверь, силы совсем покинули меня. Я буквально дошаркал до стула, с мучением выдвинул его из-за стола и рухнул на него. Мне безразлична была моя дальнейшая судьба. Я не хотел заботиться ни о каких мерах безопасности. Я взял нож и одним движением вскрыл письмо. Лист был длинный, весь исписанный мелкими синими буквами. Странно. До сих пор я ещё ни разу не читал *его* писем. Эта мысль поразила меня до глубины души. Я почувствовал, как пот покрыл мои ладони и лоб. Слабыми пальцами я разровнял лист, надел очки и начал читать:

«Любимая моя, дорогая моя Саша. Любовь всей моей жизни и единственный её смысл. Если ты решила убить своего бедного старика, своего преданного пса, то твои слова о скором нашем расставании послужили тебе лучшим оружием. Не смей писать эти глупости. Я умру без тебя. Пусть я дурак, пусть сгубил свою жизнь в глазах всех этих жалких, не знакомых ни с чем прекрасным людишек, но я знаю твёрдо: я жив, пока жив алмаз этого мира, пока жива ты. И, если ты хоть в мизерной степени дорожишь своим облезлым псом, не мучай его мыслями о смерти. Я зажмуриваю глаза и не читаю твоих нелепых строк.

Здоровье моё в порядке. Приходила старая дура соседка с первого этажа, эта Вероника Даниловна, принесла мне лекарства и мёд. Я чуть не спустил её с лестницы. Грубая мешанка. Я сто раз говорил ей не приходите ко мне со своими кастрюлями. Правда, лекарства помогли, а мёд я выбросил, чтобы эта отвратительная банка с надписью "гречичный мёд" не мозолила мне глаза. Поблагодарил Веронику вчера, когда пришлось идти в магазин. Поблагодарил, но сказал, чтоб больше не приносила мне своё барахло. Я тебе это специально написал, чтобы ты не спрашивала и не заставляла меня общаться с этими курицами-соседками.

Разозлился я, Сашенька, пока писал. А письмо твоё, хоть и с нелепой мыслью, согрело мою душу. Как и во все времена. Фотографию твою жду, словно глоток свежего воздуха. Твоё благородное прекрасное лицо – единственная красота, сохранившаяся в этом мире. Я вспоминаю твой концерт в Ленинграде. Последний раз я видел тебя поющей, ты была в чёрном сверкающем платье в пол... Я возвёл тебя в культ, Саша. Ты мой кумир, я не боюсь этого слова. Не может быть грехом любовь к такому совершенству, как ты. Не Вероникой же Даниловной мне восхищаться. Как ты порой безобразно советуешь. Или ещё кем, навроде неё. Я выбрал свой путь, и пройду его до конца. Ты жена моя. Пусть и не венчанная.

С любовью,

Твой пёс, Аркадий».

– Он ненормальный, – сказал я, откладывая письмо в сторону. – Он ненормальный. Называет женой женщину, с которой уже сорок лет общается только на бумаге. Он сумасшедший.

А я?..

9

Я вернул похищенное письмо. Вложил его в новый конверт. Подписал. Незаметно подложил туда, откуда взял. Теперь оставалось ждать её ответа. Пройдёт не менее десяти дней, пока она напишет его. Она не отличалась такой точностью сроков, как Аркадий. Она жила какой-то очень наполненной жизнью, я был в этом уверен, и Аркадий не был центром её... Он же поместил себя в маленький мирок, ограниченный мыслью о своей Саше.

Меня не оставляли в покое последние слова его письма «Ты жена моя. Пусть и не венчанная». Эта фраза стучала в моей голове, не утихая ни на мгновение. «А кто она мне? Ему жена, а мне кто? Я жду её ответа, жду портрета её не меньше него. Думаю о ней не реже него. А я, в отличие от него, и не видел её ни разу».

И тут меня пронзила новая мысль...

В это время в почтовое отделение вошла Маргарита Фёдоровна. Увидев меня сидящим на стуле, а пачки корреспонденции не тронутыми, она ахнула:

– Василий Прокофич, ты здесь?! Ты и не выходил отсюда! Да ты не заболел ли?

Она стремительно подошла ко мне и приложила холодную с мороза руку к моему лбу.

– Ах, с мороза не понимаю, есть ли у тебя жар! Да ты чего сидишь и не шевелишься???

– Оставьте меня, Маргарита Фёдоровна, со мной всё в порядке. Мне нужно было подумать. Да и устал я... А что, Маргарита Фёдоровна, давно я был в отпуске?

Она посмотрела на меня как на безумного:

– Не верю своим ушам, Василий Прокофич. Да кто ж тебя знает, когда ты там был. По мне, так никогда ты там не был. Тебя отсюда не выгонишь.

– А действительно, Маргарита Фёдоровна, пора и мне отдохнуть. Пора, пока ещё есть на что этот отпуск потратить.

– Отпуск всегда есть на что потратить. А если ты и правда устал, Василий Прокофич, то я тебя отпускаю хоть завтра. Мы с Жанной справимся, все твои письма да газеты растаскаем.

– Ну, положим, сейчас мне не надо, а вот недельки через две самое то будет.

– Иди, гуляй, когда тебе удобно. Наконец-то ты избавишься хоть на время от своего облезлого стола!

10

Вечером я, насколько мог стремительно, мчался к себе домой. Мысль об отпуске будоражила все мои внутренности. Торопливо передвигая свои старческие ноги, я добрался до квартиры, судорожно открыл дверь, кинулся к шкафу в комнате, вынул оттуда свой паспорт и, зажав его в обеих руках, застыл, наконец, на месте. Глаза безумно горели, стук сердца наполнял всю комнату.

Я решил ехать в Петербург. Мысль о том, что я так никогда и не видел её и что она действительно немолода и впервые вдруг начала писать о скорой смерти, пронзала меня насквозь.

Идиот, какой я идиот! Почему раньше я туда не поехал?!

Нервы мои были напряжены до предела, я снова не мог оставаться на месте и ходил по комнате из угла в угол.

Обязательно надо ехать. Только вот когда: воспользоваться предложением Маргариты Фёдоровны и поехать прямо сейчас или подождать две недели и получить сначала письмо от неё?

Если я еду, например, послезавтра, то вполне успею вернуться к приходу её письма... Но вдруг она напишет раньше? Вдруг я не получу её письмо и не узнаю новых её мыслей? Этого я перенести не смогу. С другой стороны, я уже через пару дней смогу увидеть её. А ждать ещё десять дней или больше казалось мучительным...

– Пора действовать! – сказал я решительно самому себе.

Через день я уже ехал в плацкартном вагоне поезда Нижний Новгород – Санкт-Петербург, а ещё через день я стоял около её дома.

11

Её дом, старинный, величественный, был именно таким, каким я себе его представлял. Торжественность и ветхость сочетались в нём. Зеленоватая краска на стенах почти везде потемнела и закудрявилась. Дверь в подъезд была высокой и массивной, новой, но выдержанной в стиле здания. Я стоял около этой двери, смотрел на цифру 8 – номер её квартиры, но нажать на эту кнопку домофона не решался. Нет, я знал, что сказать и как представиться, – ещё в Нижнем я разработал точный план действий и заготовил речь, – но ноги и руки мои дрожали, а рот немел. В руках я держал завёрнутый в газету букет цветов. Так я простоял минут десять. Вдруг массивная дверь открылась, и из подъезда стал выходить человек. Он придержал дверь, решив, что я только что подошёл и собираюсь войти, и я заставил себя сделать это. Дверь за мной мягко закрылась, и я оказался один в большом, величественном и очень облезлом подъезде. Я посчитал квартиры в доме и понял, что мне нужно на третий этаж. На старинном, завораживающем и пугающем своей старостью лифте я доехал до третьего этажа, вышел и сразу увидел квартиру № 8. Звонить прямо в квартиру было ещё страшнее, чем в домофон. Я почувствовал, как мои колени стали подгибаться, а по всему телу пронеслась мучительная судорога. И тут ситуация с дверью повторилась: она открылась прямо перед моим носом, но теперь на

пороге показалась женщина лет сорока в пальто с меховым воротником и шапке. Она вздрогнула от неожиданной встречи со мной, я в свою очередь вздрогнул тоже.

– Как вы меня напугали! – добродушно сказала она.

От её тона мне стало спокойнее, и я смог ощутить своё онемевшее от волнения тело.

– Вы к кому пришли?

Я не смог ответить сразу, совершенно глупо промолчал несколько секунд, сжал в руке букет так, что иглы роз прокололи бумагу и вонзились мне в кожу, сделал несколько бесцельных шагов вправо и влево, наконец, взял себя в руки и неожиданно твёрдо проговорил:

– Здравствуйте, я к Александре Дмитриевне, – и с мучением улыбнулся.

Тут же холодный пот покрыл моё тело, и в голове застучало, что дороги назад уже нет.

Женщина улынулась (она была удивительно приятной и, кажется, привычной к встрече незнакомых гостей) и проговорила:

– Мама как раз дома и совершенно свободна, проходите, я скажу, что к ней пришли.

Женщина пропустила меня в дверь, я, не веря происходящему, вошёл. От неё очень приятно пахло духами с тончайшим ароматом, вся она была исполнена изящества, благородства и простоты.

«Вся в мать», – пронеслось у меня в голове.

– Давайте ваше пальто и проходите в гостиную. Вы ведь у нас бывали? – сохраняя искреннюю улыбку, сказала она.

– Нет, я, признаться, в первый раз, – дивясь своему уверенному голосу, ответил я и подумал: «Как это мне удаётся говорить без запинки?»

Голос мой казался мне самому сильно помолодевшим.

– Так вы у нас впервые! Тогда я вас провожу. Меня зовут Варвара Степановна, я дочь Александры Дмитриевны, – весело проговорила женщина и подала мне руку.

– Василий Прокофьевич, – ответил я и тихонько пожал её длинные тонкие пальцы.

Красивая стройная Варвара Степановна пошла по длинному коридору в сторону гостиной, не помня себя, я поплёлся за ней.

12

Гостиная была обставлена очень изысканно, мебель была старинной и дорогой, на окнах висели тяжёлые богатые шторы, вазы, лампы, портреты добавляли особый лоск интерьеру. Не было в гостиной, однако, никакой излишней торжественности, помпезности, вообще ничего лишнего и искусственного в ней не было. Дух аристократизма присутствовал во всём. Но было совершенно ясно, что всё здесь собрано в соответствии с привычной жизнью хозяев, с тем, что подсказывала естественная потребность их душ. Я невольно вспомнил образ Аркадия, и мысль о разности его и Сашиного миров пронеслась в моей голове.

Я сразу узнал её (помимо неё в комнате находились ещё две пожилые женщины). Она сидела в величественном сером кресле в длинном чёрном домашнем платье, с собранными в высокую, но простую причёску тёмно-русые волосы, худая до сухости, с пожелтевшей от возраста кожей; красивая и благородная, именно такая, какой я себе

её представлял; в руках её был какой-то журнал, который она листала длинными, искажёнными артрозом пальцами. Как только я вошёл, она метнула на меня пронзительный взгляд блестящих карих глаз. Встретившись с её взглядом, я забыл обо всём. Кажется, у меня закружилась голова и слух полностью отказал мне. Она смотрела на меня долго, наверное, она обладала гипнотическими способностями, потому что, пока я чувствовал на себе её взгляд, я не чувствовал и не замечал более ничего. Сколько это продолжалось, я не знаю. Но вдруг она встала с кресла и пошла прямо ко мне. Поравнявшись со мной, она взяла мою руку и, не сводя с меня глаз, невероятно молодым и звонким голосом проговорила:

– Что с вами, ответьте же!

Я ощутил пол под ногами и понял, что ноги меня не держат. Неожиданно схватив её руку, я буквально повис на ней и, не в силах выговорить ни слова, стал смотреть ей в лицо и беззвучно открывать рот. Нервы отказали мне. Я потерял над собой всякий контроль, наверное, последние силы я оставил в разговоре с её дочерью. В комнате забежали, я почувствовал, что кто-то взял меня в подмышки и повёл куда-то. Привели меня к дивану и посадили на него. Передо мной мелькнуло лицо Варвары Степановны и двух женщин, которых я заметил, войдя сюда. Сквозь эти лица мелькало её лицо, оно горело, словно солнце, ослепляя меня. Она не спускала с меня глаз.

Резкий запах ударил мне в нос, и ум мой прояснился. Александра Дмитриевна держала ватку с нашатырным спиртом перед моим носом. Картинка гостиной вновь отчётливо проявилась передо мной. Я глубоко вздохнул и по лицам присутствующих понял, что они заметили во мне оживление и, ещё взволнованные, ждали, что я заговорю.

– Вам лучше?– спросила Александра Дмитриевна.

– Да, спасибо, прошу простить... – привычным своему слуху старческим голосом сказал я.

– Как вы нас напугали! У вас что-то болит? Есть лекарства, которые вы принимаете в таких случаях?– это уже Варвара Степановна со всей заботливостью заговорила, стоя надо мной.

– Со мной такое впервые... не волнуйтесь... я разнервничался... это нервы... я уже пришёл в себя...

Чувствуя во всём теле слабость, я сделал движение, чтобы встать: на полу у дверей гостиной я заметил принесённый мною и выроненный в суматохе букет.

– Куда вы? – хором вскрикнули женщины.

Собрав силы, я встал с дивана и на слабых ногах дошёл до букета. Подняв его, я молча подошёл к Александре Дмитриевне и, забыв снять газетный лист, протянул ей цветы.

Она с удивлением приняла букет и, приоткрыв газету, сказала:

– Вам необходимо вызвать доктора. Или «скорую». Варя...

Я не дал ей договорить:

– Не надо доктора... Не надо «скорую»... Я чувствую себя нормально.

– Но вы так бледны!– воскликнула Варвара Степановна.

Слабо улыбнувшись, я покачал головой. Глаза всех четырёх дам восторженно смотрели на меня. Ситуация была странная. Незнакомый мужчина приходит в дом, чуть не падает в обморок, дарит цветы... Пришло время снова взять себя в руки и прояснить дело.

– Я от Аркадия, – неожиданно для себя самого сказал я и посмотрел Александре Дмитриевне прямо в лицо.

По лицу её пробежала судорога, губы приоткрылись, но произнести она ничего не смогла, и только глаза её загорелись ещё более пронзительным светом.

В комнате повисла тишина. Теперь все смотрели на неё. Она быстро справилась с волнением, хоть я и заметил, каких усилий ей это стоило, и, почти естественно улыбнувшись, проговорила:

– Я очень рада, а... от какого Аркадия... от...

Она боялась продолжить и, кажется, не могла поверить в то, что я пришёл именно от *него*.

Видя её смятение, я не знал, как вести себя дальше. Помолчав несколько секунд, я тихо, но уверенно проговорил:

– Эти цветы я принёс вам по просьбе нашего общего друга – Аркадия Вьюжина, – стараясь разрядить обстановку, я, насколько мог, придал обыденность и лёгкость своему едва управляемому голосу и продолжил: – Мы с ним давние друзья. Когда он узнал, что я по делам поеду в Петербург, он попросил меня зайти к вам и обязательно преподнести букет красных роз в знак его глубочайшей к вам дружбе и восхищения вашими талантами.

Глаза Варвары Степановны и двух до сих пор не знакомых мне женщин пристально смотрели на меня. Я чувствовал, что сгораю под их взглядами. Александра Дмитриевна смотрела в пол. Теперь я боялся, чтобы обморок не случился с нею. Но она оказалась сильнее меня; выждав несколько секунд, она сцепила в замок свои длинные жёлтые пальцы, посмотрела мне прямо в лицо и тихо проговорила:

– Я очень благодарна вам. Аркадий – друг моей молодости. Мне очень дорого всё, что связано с тем временем. И дружба с Аркадием – прекраснейший подарок жизни. Он редкий человек.

– Что за Аркадий, мама? Почему мы ничего о нём не слышали? – удивлённо спросила Варвара Степановна.

– Не знаю, Варя, наверное, не было повода о нём поговорить.

Эти слова больно укололи моё сердце, я почувствовал нечто вроде обиды и за него, и за себя, находящегося в ещё более необъяснимом положении, чем он; я не сдержался и быстро произнёс:

– А вот Аркадий много мне о вас рассказывал, Вы – частая тема наших с ним разговоров.

Сказав это, я посмотрел ей прямо в глаза, они яростно вспыхнули. Александра Дмитриевна перевела взгляд в сторону, сделала несколько шагов вперёд и, оказавшись в центре комнаты, повернулась ко мне боком и проговорила:

– А не напоить ли нам нашего гостя чаем?

Я стоял с опущенной головой и царапал себе руки от злости за сорвавшуюся с языка наглую фразу.

Варвара Степановна всплеснула руками и воскликнула:

– Как же мы об этом не подумали?! Простите нас (она повернулась ко мне), с этим вашим неожиданным обмороком мы обо всём забыли.

Я смотрел на Сашу и видел, что единственное её желание сейчас – остаться со мной наедине и поговорить. Я понял, что был обязан продолжать действовать.

– Александра Дмитриевна, Аркадий попросил меня с вами лично кое-что обсудить.

Саша не подняла на меня глаз, лишь её маленькая изысканная голова чуть-чуть повернулась в мою сторону.

– Варя, девочки (обратилась она к дочери и двум пожилым женщинам), прошу нас извинить. Этот господин (она вдруг поняла, что не знает моего имени)... пришёл по просьбе моего старинного друга, которого я не видела много лет и которого никто из вас даже не знает... настолько он старинный друг. Оставьте нас, пожалуйста, нам необходимо о чём-то важном поговорить.

– Конечно, мама! – быстро ответила Варвара Степановна. Дамы кивнули головой, и все трое вышли из гостиной.

13

Мы остались одни. Теперь нас связывала тайна. И связь эта оказалась неожиданно очень тесной. Появившаяся в течение последних нескольких минут, она вдруг сделала нас чуть ли не родственниками. Для нас обоих эта связь значила очень и очень многое.

– Как вас зовут? – нарушила Саша тишину, воцарившуюся после ухода дам из гостиной.

– Василий Прокофьевич, – ответил я.

– Василий Прокофьевич, я жду вашего рассказа.

Я сел на диван. Александра Дмитриевна села в кресло напротив меня. Она пристально и очень строго смотрела на меня и с нетерпением ожидала моих слов. Я чувствовал себя очень напряжённо, я знал, что сейчас нашу неожиданную тайную связь мне придётся опошлить ложью, которую я заготовил заранее и без которой не представлял нашего дальнейшего общения.

Помолчав немного, я начал:

– Я сосед Аркадия. И его единственный, должно быть, друг.

– Признаться, я вообще удивилась, что у него есть друг. Я этому очень рада, – сказала она.

– Да, Аркадий – замкнутый человек.

Александра опустила глаза, а я продолжил:

– Мы сдружились с ним около сорока лет назад (лицо Александры выразило искреннее удивление), и он много мне о вас рассказывал. Говорил, что вы пишете друг другу письма. Он говорил, что вы – удивительная женщина, что вы (я усилил голос) – лучше всех... И я вижу, что он прав (последняя фраза заставила мои щёки покраснеть, и я мысленно укорил себя за несдержанность).

Александра не совладала с эмоциями, она встала с кресла, сделала несколько бесцельных шагов вперёд, затем резко развернулась и, насколько позволял её возраст, быстро пошла ко мне. Подойдя, она наклонилась надо мной, так, что её жёлтое, морщинистое, но невероятно красивое лицо с сияющими карими глазами оказалось прямо перед моим:

– Говорите главное. Я всё поняла. Теперь главное.

Она говорила очень твёрдо, голос её ни разу не дрогнул, хотя эмоции переполняли её, и я видел, что она едва стоит на ногах. Я позволил себе взять её за локоть и потянуть к дивану. Она не в силах была сопротивляться и легко подчинилась моему движению.

– Александра Дмитриевна, – заговорил я почти шёпотом, – главное вы знаете. Главное в том, что (я замешкался, во рту у меня пересохло)... главное в том... Главное – в любви! – закричал я полушёпотом-полуголосом. – И он больше ничего не просил вам передавать. Сказал зайти, подарить цветы, напомнить о нём и поцеловать вам руку, –

с этими словами, я, как сумасшедший, схватил её кисть и впился в неё губами.

Александра очень разволновалась. Она со страхом вырвала от меня руку и громко зашептала:

– Вы пугаете меня! Вы очень пугаете меня!

– Извините, я не хотел... – промямлил я, опомнившись. Александра откинулась на спинку дивана и закрыла лицо руками. Я молча смотрел на неё, поминутно отводя взгляд и борясь с непреходящим волнением. Она просидела так долго, я не посмел проговорить ни слова.

Наконец, она совлала с эмоциями, опустила руки и, вставая с дивана, проговорила:

– Когда вы в Нижний?

– Сегодня, – прошептал я, не веря своим словам.

Александра подошла к комоду, открыла запертый на ключ ящик, вынула из него большую шкатулку, а из неё два старых свёрнутых листа. Она поднесла их мне.

– Вот, возьмите.

Листы оказались старыми программками концерта.

– Это наш первый совместный концерт. Я храню их всю жизнь. Два экземпляра. Два отпечатка счастливой молодости. Наши фамилии здесь рядом. Он только окончил консерваторию, а я уже преподавала. Я ведь старше его на пятнадцать лет.

Саша сделала паузу. На протяжении всей речи она сидела боком ко мне и смотрела в пол.

– Он влюбился в меня. Надо полагать, я была довольно красива. И умела произвести впечатление на мужчин. А на романтического двадцатилетнего Аркашу и производить было нечего. Просто влюбился с первого взгляда. Сказал, что на сцене увидел меня в первый раз. Влюбился, когда я ещё рта не успела открыть, только поднялась и взглянула в зал. Он сказал, что мои глаза пронзили его... Забавно, очень по-мальчишечьи, – Александра замолчала, обдумывая сказанное. Видно было, что противоречивые чувства терзают её. Она то слегка улыбалась, то качала головой, то замирала в гордой и мрачной позе.

– В общем, виновата во всём я, – продолжила она. – На следующий день после концерта он притащил в мой класс огромный букет одуванчиков (был май, никакие другие цветы ещё не распустились, а купить ему было не на что). Не знаю, сколько газонов он ободрал, но ни одна ваза не вместила бы в себя эту охапку. Я считала себя звездой, и мне привычны были цветы, похвала, внимание. Однако эти одуванчики удивили меня (я даже не могу сказать, была ли я им рада). Помню, что я заканчивала урок с последней ученицей, мы всё уже спели, и я сидела за роялем, давая ей какие-то рекомендации по поведению на сцене (была пора экзаменов). И вдруг входит он. С этими одуванчиками, которые валились у него из рук. Я едва видела его лицо за букетом. Вся консерватория была в этих одуванчиках: пока он нёс их, растерял половину, уборщицы страшно ругались... Войдя, он что-то промямлил о том, что вчера на концерте был восхищён... Я плохо его слушала, помню, что была сурова и пошутила только, обращаясь к своей ученице, на тему того, какие последствия бывают от хорошего пения: «Смотри, мол, будешь хорошо петь, все газоны – твои»... Да, я была жестока. Домой я эти одуванчики, естественно, не взяла. Их в тот же день отнесли на помойку. Но Аркадий, кажется, был счастлив, вручая мне этот экстравагантный букет. Он был влюблён по уши.

А я была уже замужем, и Вареньке было три года. В общем, он начал за мной ходить. Просил давать ему уроки вокала. Хотя какой там вокал, ему просто нужен был повод видеть меня. У него был выпускной курс. На тот момент в консерватории я преподавала всего месяцев пять. До этого мая наши дороги не пересекались. Да и вряд ли я заметила бы студента-скрипача. У меня действительно была масса поклонников, я обходительно общалась со всеми, но, разумеется, не приближала к себе никого. Мой муж – композитор и прекрасный человек, я действительно любила его и люблю по сей день. Другие мужчины не были мне интересны. И Аркадий сначала был просто одним из них. По-видимому, он действительно очень любил меня, потому что он сделал всё для того, чтобы я обратила на него внимание. И я обратила.

Александра встала с дивана и подошла к окну.

– Концертные программки, которые вы держите в руках, – проговорила она немного успокоившимся тоном, – документальное свидетельство нашей любви. Мы никогда не были любовниками в общепринятом понимании этого слова. В этом смысле перед мужем моя совесть чиста. Но, кажется, мы по сей день остаёмся любовниками, если говорить о близости наших душ. На репетициях этого концерта мы подружились. Всё произошло как-то неожиданно. После репетиций мы взяли за привычку прогулочным шагом вместе идти до остановки, иногда по дороге мы съедали по мороженому (за что он ругал меня, заботясь о моём горле, но отказать моему желанию он не мог) и, разумеется, мы много-много разговаривали. Аркадий оказался умнейшим и интереснейшим человеком. Нам было легко друг с другом. Я, признаться, на тот момент почти забыла, как смеяться до слёз над глупостями, кривляться, валять дурака. Я словно скинула эти пятнадцать лет нашей разницы. На тот момент я вела жизнь певицы и супруги известного композитора, наш круг общения составляли влиятельные в мире музыки люди, нам со Степаном Павловичем постоянно приходилось держать марку... А тут... я превратилась в девочку... Конечно, совершенно забыть свой возраст и семейное, и... пожалуй (она усмехнулась), общественное положение... я не могла, я соблюдала дистанцию. Однако я позволила ему быть рядом с собой, позволила дружить с собой и... не поставила крест на нашем общении, когда в конце лета он упал передо мной на колени, зарылся лицом в подол моего платья и, заливаясь слезами, сказал, что любит меня без памяти и не представляет без меня жизни.

Я слушал рассказ Саши и трепетал внутри. Свершалась моя мечта: я видел её, слышал её голос, узнавал то, что волновало меня сорок лет подряд. Ничего важнее в моей жизни, кажется, ещё не происходило. Я был влюблён в эту женщину без памяти, я едва сдерживался, чтобы не зарыдать, я точно понимал, что сейчас попал сердцевину своей жизни, что никогда ни до, ни после этого я не испытаю такого мощного присутствия здесь и сейчас, как это происходило теперь, что никогда не было и не будет в моей жизни такой яркой минуты, как эта.

– После его признания я сказала, что за время нашего общения он стал для меня очень дорогим человеком, что я полюбила его, но как брата, что дорожку нашей дружбой, но более, чем дружбу, я ему дать не смогу, так как замужем и мужа своего люблю, что чистая правда. Я действительно очень привязалась к Аркадию. Может быть, я даже была в него влюблена, но самой себе в этом признаться не решалась, да и мужа своего я действительно очень любила. Можно ли любить двоих?..

Я сказала ему, что искренне желаю ему встретить свободную женщину, которую он полюбит и которая ответит ему взаимностью, что я буду первой, кто порадует за него, что опять же было правдой, ведь тогда я первая испытала бы облегчение, хоть в глубине души и ревновала бы, пожалуй... Далее я сказала, что нашей дружбой я очень дорожу и что счастлива буду дружить с ним долгие годы, что он очень нужен мне и что я не хочу его потерять. Эти слова можно расценивать как моё преступление против Аркадия. Позволить человеку в таком состоянии дружить с собой да ещё и признаться ему в привязанности – значит сделать его своим рабом и лишить возможности освободиться от невыносимого чувства. Всё так и получилось. Он не смог расстаться с любовью ко мне, а я продержала его всю жизнь на поводке своей дружбы. Или собственного эгоизма... Ведь порой отпустить и даже отвергнуть – это и есть проявление любви... Я всё повторяла ему, чтобы он огляделся вокруг, что вокруг множество достойных женщин, с одной из которых он мог бы построить взаимное счастье. Я повторяла, но не отпускала его. Чувствуя себя центром его жизни, я втайне упивалась этим чувством и так и не сделала шаг на периферию, чем искалечила его судьбу. Ну, это вы и так уже знаете.

Александра замолчала. Комната наполнилась тягостным напряжением. Сердце моё колотилось бешено.

– Таких подробностей я не знал, – смущённо сказал я.

– А что вы знали? – в голосе её была глубокая печаль.

– Я знал, что вы являлись и являетесь смыслом его жизни, что он дышит только вами и вами единственной интересуется.

В открытую дверь тихонько постучали: на входе в комнату стояла Варвара Степановна.

– Мама, там пришли твои ребята из приюта на урок.

– Да, я забыла, заговорилась, – ответила Александра Дмитриевна, – сейчас, пусть подождут. Напой их чаем. Ты сама собиралась уходить, почему осталась?

– Мама, я отложила дела, останусь дома, тебе нужна моя помощь, я вижу.

– Варенька, я справлюсь, не стоит из-за меня откладывать дела. Там две мои древние старушки вполне могут похозяйничать.

– Мама, я займусь детьми, я решила.

Варвара Степановна удалилась в коридор, а Александра Дмитриевна повернулась ко мне (её лицо – уже во второй раз! – оказалось в нескольких сантиметрах от моего) и очень серьёзно, почти шёпотом, проговорила:

– Нельзя, чтобы какой-то человек становился смыслом жизни, понимаете вы это? (Я безумными глазами смотрел на неё.) У каждого человека должен быть свой личный смысл жизни, и он не в ком-то другом! Не в женщине, точно! Даже если эта женщина была бы его женой! Пусть я преступница, я не прогнала его, когда нужно было это сделать. Но что же сам Аркадий? Замуровал себя в четырёх стенах и пишет мне одной на всём белом свете письма! Знаете ли вы, что он прекратил общение даже со своими родственниками?! Он возненавидел музыку! Он отверг весь мир, сузив его до почтового ящика! Я писала ему, я пыталась ему сказать... Он не желает меня слушать. Мой грех, моя вина: не смогла послужить ему в должной мере, не спасла его... – Александра неожиданно оборвала фразу, – ...а ведь и сейчас... и сейчас не поздно!

Глаза её загорелись светом надежды, я заметил, что в голове её зародилась какая-то новая спасительная мысль, мысль, которую она ждала, вероятно, долгие годы.

– Василий Прокофьевич! Я попытаюсь ещё раз! Пока я жива, я могу ещё многое изменить! Какое счастье, какое счастье, что вы приехали!

Александра Дмитриевна очень оживилась, лицо её стало ясным. Лёгкой походкой она пошла к дверям комнаты, оставив меня одного в полнейшем смятении. Мысли в моей голове кружились неостановимой каруселью, я едва сидел на диване, из последних сил не позволяя себе упасть в обморок ещё раз.

Вернулась Александра Дмитриевна в сопровождении Варвары Степановны и пятерых детей лет десяти-двенадцати.

– Познакомьтесь, Василий Прокофьевич, это мои юные музыканты, мы с ними учимся пению и игре на фортепиано. А это, дети, замечательный гость из Нижнего Новгорода. Мы с ним должны обсудить одно очень важное дело, а вы пока начинайте с урока с Варварой Степановной, хорошо? Я к вам скоро присоединюсь.

Дети кивнули головой в знак согласия, и Александра Дмитриевна поманила меня рукой вслед за собой. Мы вышли из гостиной подошли к маленькому деревянному столику, стоявшему в коридоре. На нём лежала бумага и ручки.

– Присаживайтесь и дайте, пожалуйста, мне несколько минут, я должна написать важное письмо.

Я сел возле столика, а Александра начала писать, выводя свои давно знакомые мне красивые буквы «под старину». Писала она минут десять, после чего достала из ящика конверт (я сразу понял, что за этим столиком было написано множество прочтённых мною писем) и положила в него только что исписанный лист бумаги.

– Пожалуйста, Василий Прокофьевич, передайте ему это письмо сразу, как только приедете, в тот же день, – с воодушевлением проговорила она.

– Непременно передам, – глухо ответил я.

– Давайте я напою вас чаем!

14

Как я добрался до вокзала, практически не помню, весь мир превратился для меня в сумбурный поток малоинтересных для меня кадров: обильный снегопад, люди, машины, вывески и витрины магазинов – всё слилось в бесформенное светящееся пятно. Пришёл в себя я уже в поезде, сидя на боковом месте в плацкартном вагоне с её письмом в руках. Давнишняя мысль о том, имею ли я право читать её письмо к *нему*, с новой силой начала мучить меня. Это было особенное письмо, сомнений быть не могло. Она дала его мне лично в руки. Кажется, уже это событие делало мою жизнь какой-то необыкновенной и даже прекрасной. Колёса поезда стучали, отзываясь каждым звуком у меня в сердце. Нервы были накалены до предела. Совершить благородный поступок хоть раз или привычным образом ещё раз влезть в чужую жизнь? Кажется, я влез туда уже так глубоко, что сам стал частью этой жизни. По крайней мере несколько часов назад. Соблюдая старинные принципы этикета, конверт Александра не запечатала. Я зажмурил глаза и одним движением извлёк из него листок. Как только я увидел милые моему сердцу сиреневые буквы «под старину», в голове моей сразу же всплыл её образ, и на глаза навернулись слёзы.

«Дорогой Аркаша!

Послать ко мне твоего друга – лучшее, что ты мог придумать. Какой же ты умный человек! Этот твой поступок, я чувствую, должен изменить и твою, и мою жизнь колоссальным образом. Для чего именно ты послал его ко мне – я так и не поняла. Но я имею смелость полагать, что понимаю, что из этого получается. На это раз я постараюсь не упустить шанс и приму все меры для того, чтобы ты стал свободным счастливым человеком. Ты послал ко мне своего друга. Я отвечаю: я еду к тебе сама. Жди свою старую подругу. Сегодня же покупаю билет на самолёт и вылетаю ближайшим рейсом!

Твоя Саша»

Не знаю, как долго я сидел, держа прочтённое письмо на коленях и глядя в пустоту. Сказать, что письмо поразило меня, – ничего не сказать. Я был в шоке. Я был в оцепенении. Я был в ужасе. Я был в эйфории. Клубок самых противоречивых мыслей крутился в моей голове. Разумеется, её приезд – величайшее событие и счастье, разумеется, её решение приехать поразило меня. Но как страшно мне было оттого, что теперь уже не спрячешься за дверь в комнате почтальонов, не переждёшь на лестнице, пока он заберёт письмо и уйдёт. Теперь останется только одно: выйти прямо перед ними обоими и совершенно прямо сказать: «Все эти годы в ваших отношениях был третий, и этот третий – я». Да, я был третьим, я долгие годы подсматривал в щёлку за людьми, уверенными в интимности своего удивительного общения, и вот на днях я обнаглел до того, что оторвал глаз от щёлки и просто-напросто вошёл в их жизнь через дверь. Я заявился прямо в дом Александры Дмитриевны да ещё и наврал ей, назвав себя единственным и старинным другом Аркадия Марковича. Наврать-то я наврал... но наврал ли? Не являюсь ли я единственным человеком, который искренне интересуется его жизнью последние сорок лет?..

Поезд вёз меня домой, но я ехал в новую жизнь. Я не думал о почте, не думал о Маргарите Фёдоровне, не думал о своём столе. Мне не было никакого дела до моего облезлого стола! Кажется, на седьмом десятке лет я наконец-то ехал в настоящую жизнь.

15

Терять время было никак нельзя. Александра Дмитриевна с минуты на минуту могла прилететь в Нижний. Поэтому, едва приехав, я сразу же направился к Аркадию Марковичу. До дома его я домчался быстро, так же быстро, едва дыша, я преодолел все ступени лестницы и замер, уже стоя у его квартиры. Дороги назад не было. Я стоял у его двери с её письмом в руках. Звонить в дверь было невыносимо страшно. Я не представлял, как начну разговор. Голова шла кругом. Я будто летел вниз с горы неведомо куда, и не было никакой возможности остановиться или свернуть. Не в силах протянуть руку к звонку, я мял конверт и тщетно пытался преодолеть свой страх. Но тут ситуация с дверью повторилась уже в третий раз! Она неожиданно открылась передо мной.

На пороге стоял Аркадий Маркович и раздражённо смотрел на меня. От неожиданности я сделал шаг назад и замер глядя прямо ему в глаза, не зная, что делать дальше.

– Я уже десять минут наблюдаю за вами в замочную скважину. Говорите: что вам нужно? – хриплым от постоянного молчания голосом сказал он.

Я совершенно ничего не мог произнести, слабой рукой я протянул ему письмо. Он так же раздражённо посмотрел на него и, не принимая его, спросил:

– Что это?

Никогда ранее не заикавшийся, я чуть не по слогам проговорил:

– Э-э-то вам...

Он с недоверием взял письмо.

– Эт-то вам... От неё.

Я произнёс это и уронил голову на грудь. Ноги мои ослабели, колени подогнулись, и я едва не упал. «Опять обморок?» – мелькнуло у меня в голове. Я схватился рукой за стену и, не помня себя, стал пристально, с мольбой смотреть на него. Стыд душил меня. Он, помешкав с минуту, вышел из квартиры и взял меня под руку.

– Что с вами? – недобро, но равнодушно спросил он.

Я, как рыба, глотал открытым ртом воздух и лишь таращил на него глаза.

16

Очнулся я в незнакомом месте на диване, укрытый пледом. Спичкой ко мне стоял он. Он пил чай из старинной кружки и почти не шевелился. Недалеко от него на столе лежало прочтённое письмо. Я боялся издать хотя бы один звук и продолжал наблюдать за Аркадием. Через некоторое время он медленно поставил кружку и повернулся посмотреть на меня. Сначала я хотел закрыть глаза и притвориться спящим, но почему-то отказался от этой мысли и, наоборот, натянув на себя одеяло, принялся во все глаза смотреть на Аркадия. Он старческой походкой подошёл к стулу, взял его, поставил его ближе ко мне и сел.

– «Скорая» уехала. Сказали: вы сильно переволновались. У вас был обморок. Вы пришли в себя, но уснули. Я не стал вас будить, – он сделал небольшую паузу, – а с чего вы так разволновались?

Я продолжал молчать и смотреть на него.

– Откуда у вас оно? – кивнул он на письмо. – Никаких почтовых штампов, никаких марок. Как оно к вам попало?

Я приподнялся, опираясь на ладони, и с трудом проговорил:

– Ал-лек-сандра Дмитриевна дала мне его...

Теперь молчал он. Смотрел и ждал, что я скажу дальше.

– А-аркадий М-маркович, я... должен рассказать вам... историю.

Я сделал глубокий вдох и продолжил:

– Вы мне позволите?

– Этого я и жду, – сурово сказал он.

И начал. С самого начала. С того момента, как устроился работать на почту. Фрагмент за фрагментом я рассказывал ему свою жизнь. Которая вот уже много лет была переплетена с его жизнью. Когда я рассказал о прочтённой новогодней открытке, он метнул на меня злобный взгляд. А когда я стал говорить о том, как начал читать все её письма и за всё время не пропустил ни одного, взгляд его наполнился яростью, которую сдерживало, возможно, лишь изумление от услышанного.

Рассказывать мне было, разумеется, очень тяжело. Я почти не поднимал глаз на Аркадия Марковича, а когда украдкой взглядывал на него, мигмом опускал глаза и продолжал рассказ глядя в клетчатый плед, которым был укрыт. Так я поведал ему всё до того момента, когда ре-

шил ехать в Петербург. Признаться в этом было почти невыносимо. Я замолчал и с мольбой посмотрел на него.

– Продолжайте, – мрачно проговорил он.

– После последнего письма Александры Дмитриевны я поехал в Петербург... – не веря, что говорю это, пролепетал я.

Наступила тишина. Кажется, в эти слова не верили мы оба. Нарушил тишину Аркадий Маркович. Чтобы убедиться или, скорее, разубедиться в услышанном, он переспросил:

– Куда вы, простите, поехали?

– В Петербург! – почти прокричал я, и слёзы выступили у меня на глазах – Я поехал в Петербург!!! Я, паршивая собака, имел наглость поехать к ней в Петербург!

Рыдания начали душить меня. Дальше я говорить не мог. Я закрыл глаза сжатыми в кулаки и рыдал, уже не пытаюсь сдержать слёзы.

Аркадий Маркович тоже больше не сдерживал себя. Он встал со стула, на котором сидел, и, сверкая глазами, гигантскими шагами пошёл ко мне. Я смиренно ждал того, что он будет со мной делать. Сейчас мне не было страшно. Всё по справедливости. Пусть делает всё, что хочет. Я готов...

Он подошёл к дивану, нагнулся надо мной и, схватив за грудки, буквально прорычал:

– Ты грязная свинья, наглый подонок, как ты посмел поехать к Александре Дмитриевне?! Кто ты такой?! Ты больной! Ты больной человек! Тебя нужно запереть в сумасшедший дом! Куда он решил поехать! Я не верю своим ушам! Ты спятил?!

– Я спятил, – сквозь слёзы отвечал я, – я и сам понимаю, что спятил. Но я не мог ничего с собой поделать! Да и сейчас не могу, – я неожиданно для самого себя перестал плакать и совершенно ясно произнёс: – Я люблю Александру Дмитриевну.

Лицо его исказилось. Кажется, каждое моё новое слово со всё нарастающей силой приводило его в бешенство. Он отпрянул от меня и только проскрипел сквозь зубы:

– Свалился псих на голову под старость лет!

– Делайте со мной всё, что хотите, – не в силах уже остановиться, продолжал я, – но все мои слова – чистая правда. Я открыл вам сокровище всей моей жизни. Если хотите бить – бейте. Подавайте в суд. Всё, что угодно. Я с радостью понесу любое наказание. Я – последняя скотина, бесцеремонно вторгнувшаяся в ваши с Александрой Дмитриевной жизни. Кажется, в ваших письмах уже давно вся моя жизнь и заключается...

– Да замолчите же вы или нет!! – вскричал Аркадий Маркович, зажимая уши руками.

Я замолчал. Он ходил из угла в угол по комнате, пытаюсь собраться с мыслями и хоть что-то понять и сделать с этой дикой ситуацией, в которую он так неожиданно попал.

– И что же, доехали вы до Петербурга? – спросил он наконец, встав ко мне спиной посередине комнаты.

– Доехал... – тихо ответил я.

Он снова замолчал, постоял в неподвижном положении несколько секунд, потом развернулся ко мне лицом, но взглянуть на меня не захотел. Опустив глаза в пол, он медленно проговорил:

– Явились к ней в дом?

– Явился...

– Этого не может быть! – простонал он мучительно и схватил себя за волосы. – И как вы к ней явились? Что вы ей сказали? Как вас пустили на порог?!

– Я представился вашим другом, – едва слышно ответил я.

Руки и ноги мои вновь стали ватными. Что испытывал Аркадий Маркович – я сказать не могу. Но после моих слов он, вцепившись в волосы обеими руками, принялся хаотично перемещаться по комнате, словно ища выход из лабиринта, поглотившего его и не желающего выпускать.

– Простите меня... – сказал я.

Он стоял спиной ко мне, не отпуская волосы, и молчал.

– Она скоро придет... Она очень хочет видеть вас. Кажется, она была счастлива слышать о вас. Она скоро прилетит. Она на самолёте. Она скоро...

– Убирайтесь вон... – прервал он меня слабым голосом.

Я бесшумно, стараясь не тревожить Аркадия Марковича ни единым звуком, сполз с дивана и направился к двери.

– Спасибо вам... – почти прошептал я.

– Вон... – почти прошептал он.

– До свидания...

Он не ответил. Я тихо взял своё пальто и вышел.

17

На следующий день я пришёл на почту. Мой отпуск не кончился, но я не в силах был оставаться дома. Мысли не давали мне ни спать, ни есть. Я решил, что зайду хотя бы ненадолго, просто чтобы хоть куда-то сбежать из дома. Казалось, что я не был на почте вечно. Честно говоря, я не хотел идти сюда. Но куда-то идти было нужно, и это было единственное место, куда я вообще мог пойти.

Явился я на почту часов в двенадцать. В это время все почтальоны, как правило, поглощены разноской корреспонденции. Я и не хотел никого видеть. Я специально выбрал это время. Почта показалась мне какой-то чужой и... неинтересной. Ничто не тянуло меня поскорее выйти на работу. На все без исключения письма мне было наплевать. Неким теплом ещё веяло от моего стола. Он, собственно, давно перестал быть просто мебелью. Я врос в него, а он в меня. Поэтому, когда я увидел его, сразу ощутил, что сильно соскучился по нему. Я погладил рукой его морщинки, с грустью улыбнулся и сел на свой старый стул. В соседней комнате операторы стучали по клавишам компьютера, играло радио, по которому передавали новости, слышались голоса посетитель. Я сидел, глядя в одну точку, невольно слушая звуки за стеной, и мял руками свою древнюю шапку.

– Самолёт, летевший из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород, упал в полтора километрах от взлётно-посадочной полосы в районе деревни Лесная. На борту находилось сорок три человека. Все пассажиры и члены экипажа погибли. По факту крушения ведётся расследование. Для родственников и близких открыта горячая телефонная линия: 8-800-99...

В сердце кольнуло. Я вцепился руками в колени. Страшная мысль пронеслась в голове. Просидев несколько секунд в оцепенении, я вскочил со стула и бросился записывать номер горячей линии, который поворачивали по радио.

Я схватил первый попавшийся под руку клочок бумаги и нацарапал на нём номер. Что делать дальше?.. Я застыл с этим клочком в руках. Я действительно не знал, что делать дальше. Звонить? Но почему я решил, что *она* была именно на этом борту? Ах, горячая линия и создана для того, чтобы всё точно узнать... Но как же мне было страшно! Мне было жутко! Вот сейчас мне по-настоящему было жутко! Я думал, что страшно – это стоять на пороге *её* дома, что страшно – это заговорить с *ним*, но я ошибался – что такое страшно, я понял только сейчас. Я снял трубку и позвонил.

– Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, Александра Дмитриевна Давидко была на борту разбившегося самолёта? Кем я ей прихожусь?.. Д-д-муж...

– Заарегистрировалась на посадку и-и с-села?.. То есть она... Спасибо. Мне не нужна ваша п-помощь...

Дальше была какая-то всеобъемлющая тишина. Пустота. Смерть. Это была смерть.

Земля ушла из-под ног. Я бросил взгляд на осиротевший стол. Больше ни одно письмо от неё не коснётся его надтреснутой кожи. Больше не будет *ничего*.

– Александра, – почти беззвучно прошептал я, – Саша, Сашенька...

18

Я вышел из почты и направился к Аркадию Марковичу. Теперь я совсем не боялся идти к нему. Внутри меня была пустота и боль. А Аркадий Маркович был единственным человеком в этом городе, у которого внутри могло быть то же самое. Я машинально поднялся по лестнице и подошёл к его квартире. У двери я всё же немного замешкался, но быстро преодолел волнение и позвонил. Он открыл быстро. Глаза его были черны и пронзительны. Он стоял, держась за ручку двери, и, не пропуская меня внутрь, молча смотрел на меня.

– Заходи, – тяжёлым голосом проговорил он и пропустил меня в квартиру. Я молча вошёл.

– Раздевайся, – сказал он.

Я снял пальто. Мы пошли в комнату. Он сел на стул. Я без приглашения сел напротив него на уже знакомый мне диван. Мы сидели и молчали, пристально глядя друг другу в глаза.

– Вот и всё? – наконец, спросил он.

Я закрыл глаза и опустил голову.

– Я позвонил по горячей линии. Представился её мужем. Она зарегистрировалась и села, – продолжил он.

Я открыл глаза.

– Я тоже звонил, – сказал я.

– Тоже представился её мужем?

Я кивнул.

Он неожиданно расхохотался, потом так же неожиданно замолчал и снова стал молча смотреть на меня. Я смотрел на него.

– Пойдём на кухню пить чай, – сказал он.

– Пойдёмте... – растерянно ответил я.

Мы пошли на кухню. Я сел за стол, а Аркадий Маркович стал наливать заварку из маленького чайничка в чашки. Мы молчали. Вдруг рука Аркадия Марковича задрожала, носик чайника начал звонко стучать о край чашки, а сам Аркадий Маркович весь затрясся, и из глаз его

попились обильные слёзы. Я не выдержал и тоже зарыдал. Я вскочил со стула и бросился к нему. Мы обнялись и так и стали рыдать вместе, схватив друг друга в крепкие объятия и не давая друг другу ослабеть и упасть.

– Она – моё всё, моя жизнь, мой воздух, я не знаю, как и зачем жить без неё! – кричал он, впиваясь в меня пальцами.

– Аркадий Маркович, миленький, – слабым голосом повторял я.

19

Вечером мы сидели в комнате и говорили о ней. Он расспрашивал меня о том, какой я увидел её в Петербурге, что она говорила, что она делала, какой у неё дом, кто в этом доме был. Я рассказывал всё до мельчайших подробностей, всё, что только мог вспомнить.

– Под конец пришли подростки... из приюта... Александра Дмитриевна с ними занимается... занималась... – говорил я.

– Александра Дмитриевна постоянно чем-то занимается!.. занималась, – воскликнул он. – Откуда только силы берутся... брались...

– Она учит их музыке.

– Конечно! Она постоянно кого-то учит музыке... Про детей из приюта не знал. Не любит распространяться о благотворительности и прочем... подобном... не любила... Она постоянно что-то для кого-то делала, помогала, учила... Скольких она научила петь! К ней ходили толпы народу. И не только студенты консерватории. Какое-то невероятное количество посторонних людей, невесть зачем решивших научиться петь в зрелом возрасте, ходило к ней. И учила. И многих великолепно научила. Она гениальный педагог... певица... женщина...

– Мать, – вставил я.

– Мать, – согласился он.

– У неё удивительная дочь! – воскликнул я.

– У Александры Дмитриевны всё удивительно... Даже смерть... Вот как много людей в восемьдесят лет умирают, разбившись на самолёте? Я чуть-чуть улыбнулся и сказал:

– У неё всё удивительно...

Мы замолчали. Каждый из нас погрузился в воспоминания о ней. День клонился к вечеру. За окном начало темнеть. Мы сидели неподвижно и не включали свет. Двое мужчин, двое стариков, посвятивших свою жизнь чтению писем от женщины, которой на этой земле больше нет. Что им теперь делать? Как и зачем им жить дальше?

– Вы завтра на работу? – неожиданно нарушил тишину Аркадий Маркович.

От этого вопроса я вздрогнул. Я забыл о том, что мне вообще когда-то нужно будет выйти на работу. Почта больше не была мне интересна, мысль пойти туда казалась нелепой... зачем? Что мне там делать? Мне больше не от кого ждать писем...

– Нет, я в отпуске, – ответил я, – да и вообще, я туда больше не пойду...

– Что же вы будете делать?

Я покачал головой:

– Не знаю... А что будете делать вы?

– Я хотел бы умереть.

– О нет, не надо!.. – воскликнул я, но голос мой ослабел, и ужасная мысль вкралась в мой ум: «А действительно, зачем теперь жить?»

Мы снова замолчали.

– Она бы эти мысли не одобрила, – неожиданно для самого себя сказал я.

– А что бы она одобрила, по вашему мнению? И почему вы думаете, что за те несколько часов, что вы видели её, вы смогли сложить хоть какое-то представление о том, что бы она одобрила и что нет?

Я улыбнулся:

– Вы забываете: я провёл с ней не несколько часов, я провёл с ней сорок лет... в переписке.... И, кажется, я знаю, за что бы она похвалила, а за что бы отругала близкого человека.

– У вас ещё хватает наглости, – начал было Аркадий Маркович, но резко остановился и только спросил: – И за что бы она меня похвалила?

Я не знал, что ответить... Я сидел, нервно сжимая пальцы, на руках и пытался собрать во что-то внятное странное скопище мыслей, крутившихся в моей голове. Вдруг что-то острое, непонятно откуда взявшееся, но будто давно ожидаемое пронзило меня насквозь. Я весь вспотел, глаза мои округлились и расширились, я встал со стула и медленно, но очень уверенно пошёл к Аркадию Марковичу. Он испуганно смотрел на меня и ждал, что я буду делать дальше.

– Я знаю, – тихо, но очень внятно сказал я, – я знаю, что бы она одобрила, что бы она хотела от вас, зачем она к вам летела и что бы она вам здесь сказала.

Он смотрел на меня и только ждал, что же я скажу ещё.

– Она хотела вам сказать... чтобы вы вышли отсюда и... пошли к людям... чтобы вы что-то делали для них... Как она. Как она. Она – пример для вас. Она хотела, чтобы вы давали людям то, что можете, пока живы. А не сидели в своей квартире один. Она считала себя виноватой в том, что вы заперли себя. И хотела покаяться и спасти вас... Пока не поздно... И себя спасти. Она считала, что совершила большой грех, не вытащив вас из этой квартиры и позволив вам запереться здесь от всего мира и... можно сказать, заживо похоронить здесь себя. Она летела сюда, чтобы вытащить вас из этого гроба и помочь вам опять жить, то есть делать то, что вы можете, для людей, чтобы вы начали делиться своей любовью с другими, а не только писать о ней одному-единственному на всём белом свете человеку. Она хотела отпереть эту дверь и выпустить вас на свободу...

Я стоял, нагнувшись над Аркадием Марковичем и смотрел ему прямо в глаза. Он смотрел на меня, почти не моргая, и из глаз его катились слёзы.

– Я не хочу, я не хочу ни с кем ничем делиться!.. Я люблю только её! Слышите вы... только её! А вы всё лезете, лезете ко мне... к нам с ней! В наши отношения! В нашу любовь! Да что же вам всем от нас нужно?! Я один! Я один! Я никого не хочу видеть!..

Весна в этом году наступила рано. Уже в последних числах марта снег начал обильно таять и по улицам звонко зажурчали ручьи. Уже три субботы подряд мы с Аркадием Марковичем ходим в дом престарелых. Он даёт скрипичные концерты, а я помогаю беспомощным бабушкам и дедушкам писать письма родственникам и старинным друзьям. Я приношу им конверты, марки, мы вместе запечатываем письма, и я несу их отправлять. На фоне жильцов дома престарелых мы с Аркадием Марковичем выглядим очень бодро и, кажется, мы и впрямь помолодели. По средам мы ходим в детский дом. Аркадий Маркович

учит всех желающих игре на скрипке и фортепиано. А я играю с детьми и даже договорился в следующую среду повести их на экскурсию в наше почтовое отделение. Я хочу показать им, как устроена почта изнутри. Ещё мы с ними учимся писать красивые, настоящие письма. Они пишут письма друг другу, воспитателям, а некоторые из детей пишут письма своим родителям, те, у кого они есть и кому хочется это делать. Почти каждый вечер мы с Аркадием Марковичем ходим в гости друг к другу пить чай. Иногда он заходит ко мне даже днём... на почту. Поздороваться, а иногда и помочь. Маргарита Фёдоровна, Жанна и все остальные сотрудницы очень полюбили его. А на 8 Марта для всех наших почтовых женщин он устроил прекрасный скрипичный концерт.

Об Александре Дмитриевне мы говорим постоянно. Мы продолжаем любить её каждое мгновение своей жизни. И, думаю, мы будем любить её всегда. Эта любовь – наша тайна. Наша дружба. То, что даёт нам силы жить и любить дальше. Любовь – наше всё.

Валерий ШАМШУРИН

Родился в 1939 году в городе Агрыз Татарской АССР. Окончил историко-филологический факультет Горьковского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского. Работал учителем, директором школы, журналистом и редактором в печатных СМИ, редактором Волго-Вятского книжного издательства, Горьковской студии телевидения, председателем правления Горьковской (Нижегородской) областной организации Союза писателей России, секретарем Союза писателей России.

Поэт, прозаик, публицист. Автор многих трудов и романов на тему нижегородской и российской истории. Лауреат российской литературной премии имени Н.М. Карамзина, премии Международной ассоциации писателей-баталистов и маринистов имени В.С. Пикуля, Большой литературной премии России.

Член Высшего творческого совета Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

РОДНОЕ ПЕПЕЛИЩЕ

Фрагмент из повести «Русский выбор»

Как ни спешил из Киева князь Ярослав Всеволодович на зов старшего брата Юрия Всеволодовича, он все же опоздал. В славном граде Владимире ему довелось увидеть лишь черные от копоти руины да припорошенные снегом пепелища, где уже ничего не дымилось. Налетев истребительной саранчой на русские города и веси, Батыева орда враз отхлынула к югу, к своим юртам и пастбищам. Ярослав Всеволодович встретил жалкую кучку погорельцев, поведавших, где надо искать следы владими́ро-суздальского великого князя.

Однако никто не встретился ему и его дружинникам в глухоманях у реки Сити, возле которой случилась нещадная сеча. Еще не совсем просохла тут под апрельским ярым солнцем обнажившаяся земля, ленивый парок поднимался над луговинами и топями, грязные сугробины истлевали в сумрачной Болотее, окруженной черными ельниками, над коими молча взлетало обьевшееся мертвечиной когтистое воронье. И нестерпимо тихо было вокруг.

Оставаясь на коне, Ярослав Всеволодович снял шлем с головы и размахисто перекрестился. Ему последовал ехавший с ним стремя в стремя сын Александр – он споро подоспел из снявшего осаду Новгорода, когда миновала опасность налета злокозненной орды на городские стены. Уже близко были Батыевы тумены от новгородской Святой Софии, да весеннее бездорожье, а может, некое суеверие вкупе с предусмотрительностью самого Батгя заставили монголов повернуть вспять у заповедного Игнач Креста на лесной дороге и отступить от задуманного намерения всего за сотню верст до цели...

Молитвенное безмолвие облегчало душу среди мертвой оцепенелой тиши, что оковала гибельные места повдоль еще не вскрывшейся реки. За княжьими спинами недвижно застыли в седлах вои. Ни один прапор не шевельнулся, ни один конь не всхрапнул и оружие не звякнуло. Вспоминались погибшие, встречи у походных шатров, веселый говор возле костровых огней, ристания и битвы – живое воскрешалось, отвлекая от брэнного. И тяжело вздыхали ратники.

Кровавое лютое побоище многих смущало постыдными утратами и бесславием. А могло ли быть иначе? Могло ли? Покойных грех судить. А живые за позор мертвых вины не ведают и ответа не держат. Даже если им самим есть в чем покаяться. Но свои пороки всяк таит в себе.

Потомки умудренного многими познаниями Мономаха князя Всеволодовичи, кроме ведомых всем достоинств, отличались скрытностью, крутым нравом и упрямством. Каждый свое творил и на своем стоял. Не признавая за собой лиха, всюду утверждал собственную правду. Тяжко приходилось всем, кто был с ними рядом. Но постоять за себя и своих близких они умели. Их великий предок, как доводила летопись, «много поту утер за Русскую землю», всячески укрепляя да обходя ее; они тоже не щадили себя и не жалели трудов, но гордыня одолевала. Ничто ее не могло искоренить, ибо ею тешились, ею направлялись и обольщались ею же. Как тут не оплошать?..

Настоявшаяся за всю долгую зиму бездыханная тишь неусыпно сторожила округу, томила, изводила, напрягала. Смутными видениями полнилась она, мертвые лики грезились, зачочневшие иссеченные тела, что сохраняли роковой миг последней судороги, последнего усиления жизни.

И вот уже открылись взору мертвецы в распахнувшемся поле у деревни Божонки, чернея в оплывающих снегах. Не сосчитать их было – так густо кучились они и на взгорье, и на равнине, и повдоль лесного урочища. Понурились, посуровели вои, один за другим покидая седла. Стояли долго, истово молились. Тяжко было преодолеть им позор павших, как будто это был их позор, ибо сами мертвые сраму не имут...

Великая беда сотрясла Русскую землю. Великая напасть громом грянула. Смерчем налетела. И опаматоваться не дала.

Восемь суток понадобилось врагу, чтобы взять приступом и спалить едва ли не дотла стольный град Владимир, лепотой которого услаждалась вся православная Русь. Не минуло и дня после того, как подоспевшие из Владимира любимцы Чингисхана и первые соратники Батыя темник Бурундай и Субедей-богатур смогли рассеять полки бросившегося на север собирать войско незадачливого великого владимирского князя Юрия Всеволодовича. Просчитался он. Кто же готовится к схватке наскоро? Впопыхах никакого боя не ведут и побед не одерживают. Весть о гибели города и родни сломила еще до сечи с врагом волю известного былыми победами ратоборца. И силы едва не оставили его.

Встав на склоне холма впереди усиленной невеликой подмогой рати, Юрий Всеволодович уже в начале битвы оказался не в центре, а на правом фланге. Натиск монголов был такой силы, что, казалось, не вражеская конница, а свирепый ураган смял ряды заслонившихся щитами русичей, и снег вскипел у их ног, усеянный стрелами и дротиками.

Молниями засверкали мечи над головами. Вырвался из глоток с одной и другой стороны звериный рык, не сулящий никакой пощады, словно ярость обратила всех воинов в две кровожадных стаи. Бились до полного истребления. Однако к ордынцам прибывали свежие силы, а у русичей таких сил не было, и они обрекли себя на верную погибель. Все до единого, не исключая князя.

Раскиданная по сторонам рать уже не войско. Теряющего последние силы, израненного Юрия Всеволодовича его верные телохранители насильно усадили в сани и хлестнули лошадей. Упав от толчка навзничь, князь уже не смог подняться.

В полном отчаянии, впадая в беспамятство, он видел, как мелькали перед ним различные образы и картины. Одни видения мешались с другими с сумасшедшей быстротой и в беспорядке. И среди всей этой мешанины возникал перед ним родной Владимир с его мощными валами и стенами, превосходящими укрепления Киева и Новгорода. Виделись проездные Золотые и Серебряные проездные ворота, обрывистый берег реки Клязьмы, детинец с княжьем двором, белокаменные Успенский и Дмитровский соборы. Ничего еще не было поругано и порушено, не разбито камнеметами и таранами, не испепелено, не изрублено. Жива еще была его княгинюшка Агафья, сыновья Всеволод и Мстислав, дочка и внучата, и бояре, и старцы преподобные, и все люди угодие.

Где ныне сие? Неужто избыто навсегда?

Лишившись своего военачальника, войско продолжало сражаться, следуя старому завету, что лучше погибель, чем позор. Его возглавил племянник Юрия Всеволодовича юный Василько Константинович, родитель которого перед своей смертью завещал брату, основателю Нижнего Новгорода, стать для Василька «в отца место». Мягкий нравом, но дерзкий в бою Василько пользовался любовью всех ратников, и они беспрекословно подчинились ему. Ни один не щадил себя, но слишком неравны были силы. И в конце концов монголы смяли рдеющие дружины, где никто не помыслил отступить или сдаться. Лучше смерть, чем позор.

...Было самое начало марта, но стоял по-январски жгучий мороз, и великого князя вытряхнули из саней на снежный наст, содрав с него шлем и выдернув из окаменевшей руки меч. Случилось это неподалеку от места сечи на лесной поляне, окруженной высоченными хмурыми елями. Снежная пыльца сеялась с ветвей, наращивая сугробы. Глухомань впервые была потревожена движением пробивающейся в глубоких заносах конницы, лошадиным храпом, громкой отрывистой речью, резкими повелениями. Спешившиеся воины быстро утоптали снег посреди поляны. Вскоре все уладилось и замерло.

Наехавшие из чащобы монголы кто исподлобья, а кто впрямую разглядывали оплошавшего русского воителя со своих низкорослых косматых бахматов. И надменная усмешка кривила их рты – хваленый правитель всей Владимиро-Суздальской земли, самого большого на Руси княжества, коему подчинялись и Ростов, и Переяславль, и Дмитров, и Юрьев, и Ярополч, и Муром, и Городец, а также поставленный им самим на крутом берегу Итиля-Волги торговый Нижний Новгород, что уже становился соперником знаменитой Булгарии, этот правитель теперь распластался в снегу перед ними, как прохуdivшийся бурдюк. Что могло быть для него унижительнее и позорнее? Он уже не воин, не великий князь, а всего-навсего жертва, добыча.

Толмач с тонкими и вислыми усами перевел ему слова могучего ростом и статью темника Бурундая:

– Могу отпустить тебя, князь, на волю. Однако дай слово: ты покоришься Бату. Верно, срамно тебе быть под рукою такого покровителя, зато сохранишь свою драгоценную жизнь. Одно твое слово – и ты волен, как все мы. Что скажешь, князь? Говори, не медли.

– Ваша воля хуже неволи, сыроядцы, – поднялся и встал перед усмешливым чужеземцем Юрий Всеволодович. – Не вы ли младеней с колоколен мечете? Люд коньми топчете? Нет у вас, иродов, ни бога, ни чести. И знаться мне с вами не пристало.

С закипевшей в нем яростью плюнул кровавым сгустком на снег доблестный витязь, для кого честь была превыше жизни.

– Да, князь, ты храбрый воин, – признал рассудительный Бурундай. – И потому смерть для тебя будет милостивой.

Он взмахнул плеткой.

Появившийся за спиной Юрия Всеволодовича широкоплечий палач резко вскинул меч и в единое мгновение снес гордецу голову. Она отлетела в сторону, зарывшись в снег, а из шеи еще твердо стоящего тулова выхлестнулась тугая струя крови, обагрив наст, и тут же опала. Само тело, недвижимое и напряженное, еще продержалось несколько мгновений с удивительной прямоотой, а затем рухнуло навзничь, словно лишенный кроны могучий ствол.

И сразу же победно завопили монголы, потрясая оружием.

– Нарык! Нарык! – разносилось по поляне и глохло далеко в лесных дебрях.

Невозмутимый силач Нарык, срубивший голову князя, уселся на своего мохнатого коня и ловко насадил княжью голову на копьё. Это снова вызвало ликующие крики. Объехав по кругу уже хорошо утоптанную поляну, Нарык встряхнул копьём. Голова сорвалась с острия, улетев далеко в сторону.

И разом отхлынули монголы из темных, неприятных для них лесов. Только их здесь и видели. Снег занес их следы. Эхо унесло резкие голоса в оставленные врагами глухие чащи...

Две мохнатых лошадки, запряженных в сани, выехали из чащи навстречу поисковику Ярослава Всеволодовича. На ходу спрыгнули с саней рослые добры молодцы в лаптях и овчинах, потопали по насту к дружинникам, скидывая малахаи.

– Исполать, люди добрые! Заждалися вас.

– От кого сведали, что мы тут? – нахмурясь, спросил Ярослав Всеволодович. – Небось соглядали?

– Вестимо, господине. След от вас эвон куда как широкий. Да и слухи не токмо по земле ползут, а и по ветру летят.

– Жив ли кто из воев тут остался?

– Не ведаем. Почитай, все полегли. Трупия околь изрядно.

– Где более всего?

– А повсель. Без числа. Вон с угора за лесом и до самой реки. Да и сплошь по Болотее, по замерзшим трясинам да топям. На реке-то что есть мочи билися, лед крошился, индо реку вспучило.

– Что так-то?

– От трупия. Поди, злее сечи нигде не было. Упокой, Господи, во блаженном успении заступников твоих!

– Не приметил ли кто, где брат мой великий князь Юрий кончину принял?

– Право слово, неведомо нам. Искали, да без толку. Он, вишь ли, в самой гуще был. И, верно, навалилось на него несметно сколь. Никак в ключья разнесли окаянные нечисти...

– Вечная память, – перекрестился суровый ликом Ярослав Всеволодович, а за ним и все вокруг. Сокрушенно помолчали.

– Убиенных будем погребать по обычаю, – не допуская прекословия, твердо молвил князь.

– Неуж всех до единого?

– Всех, кого сыщем. И не уйти никому из нас отсель, покуда должного не исполним.

На скулах Ярослава Всеволодовича круто заходили желваки. Ведая, как строг и взыскателен князь, не стали перечить ему ратники. И хоть проклинали они про себя здешнюю глухомань с непролазными ольшаниками и топами, куда отступали и где гибли израненные их сородичи, однако за дело принялись споро и усердно.

И, верно, не нашлось среди могильщиков никого, кто бы не подумал и о своей превратной судьбе, от чего никуда не деться, но чему надо быть верным до конца, дабы исполнить предназначенное и сохранить все, в чем смысл существования на земле предков, свято оберегавших свой род, свои обычаи и свою обретенную не без трудов и не без защиты землю.

Не один день и даже не одну седмицу ратники и оставшиеся в живых окрестные мужики-селяне собирали мерзлые тела, разжигали большие костры, отогревая землю, копали широкие рвы, тесно укладывая в них покойников. И молились истово, и отпевали своих заступников, уповая на Бога и надеясь, что более никогда не изведуют на своей земле такой губельной напасти, такого лютого зла.

Беда не разделяет, а сплачивает. Жаль только, что не повсеместно на Руси, где всякое княжество живет само по себе, хоть и не поставлены заграды. Однако нет крепкого единения, а потому нет и крепкой защиты от любого ворога и любой напасти. Один язык, одна вера, одни предки, один обиход, а все же часто малая обида порождает рознь, чей-то подлый навет понуждает надевать доспехи, а чье-то неразумие вызывает отторжение на годы и годы. Но, как бы там ни было, никто никому не желал конечной гибели. Потому-то княживший в стольном Киеве Ярослав Всеволодович, как только узнал, что его старший брат собирает рать для отпора вероломным кочевникам, не стал медлить и поспешил с дружиною на помощь, послав гонца к сыну Александру, пребывавшему в ту пору в Великом Новгороде. Расторопный молодец не заставил себя ждать.

Незадолго до прискорбных событий на Сити-реке он на крепостных новгородских стенах изготавливался к осаде, поджидая Батыя. С многочисленным войском двигался тот к самому богатому граду на Руси. Милости ждать не приходилось – беда беду гнала. Да, видно, сжалился Господь над новгородцами и остановил вражью силу. В народе поговаривали, что ночью привиделся в походном шатре Батыю вещий сон, будто явился к нему сам Архангел Михаил и грозно предрек: «Вертайся восвояси, а не то поразит тебя гнев божий и встанет против тебя все небесное воинство!» Всего сотня верст оставалась внуку Чингисхана до Новгорода, но не смог он продвинуться дальше заповедного Игнач Креста у Селигера, повернув свое войско назад. И только ли теплые ветра, грозящие распутицей, ему помешали?

Пожалуй, ничем иным нельзя объяснить внезапное решение Батгя, как только немалой изнуренностью войска и ранним потеплением, когда освобождаются от снежных заносов степи и наступает пора выпускать табуны и стада на пастбища, где кочевничья душа упивается раздольем, а не каменеет в глухих непроглядных чащобах. Изнурительная осада малого Козельска на обратном пути подтвердила опасения умудренного внука великого Чингисхана, смекнувшего, что надо предвидеть последствия всякой задержки, которая может оказаться роковой. Злым городом он назвал Козельск, где даже дети и старики сражались, не щадя себя. И пришлось убедиться, что победа может быть горше поражения.

Досадными потерями завершился триумфальный путь Батгя, и скорбный путь открылся перед Александром, который безбоязненно смог покинуть подготовленный к жестокой обороне Новгород. В Святой Софии отслужил он молебен, поставив зажженные свечи перед образами Господа и Пречистой Девы, а затем отправился на реку Сить во главе своей малой дружины...

Вместе с отцом и день, и другой ходил он по всхолмиям и низинам, разыскивая останки Юрия Всеволодовича, вглядываясь в каждого погибшего ратника, обнаруженного на поле брани или вблизи него.

Длинными рядами складывали поисковики из дружинников и местных мужиков изувеченные трупы. Высокие курганы вырастали над захоронениями у села Божонка. Повсюду, где отпевало священство павших воинов, веяла неутешная щемящая печаль над мрачными чащобами, над обширной топью с переходами-лавами, огражденными хлипкими жердями.

Не мартовское слепящее солнце, а серые облака да клубящиеся туманы, мертвенная призрачность северных ночей подошали разлитому повсюду скорбному безмолвию, что склоняло к смиренности и молитве. И не было вокруг никого, кто бы не скорбел и не удручался. Мрачные думы отягощали сердце, камнем давили...

Обезглавленное тело великого князя Юрия Всеволодовича было найдено ростовским епископом Кириллом в полуверсте от места сечи. Кирилл же отыскал в глубине Шеронского леса и убитого князя Василько Константиновича, коего за добрый нрав почитали все ратники до единого.

Когда свезли в одно место трупы павших, долго не могли прийти в себя от потрясения. Побывавшие в жестоких сечах воины еще не видели столько поверженных на малом клочке земли, где и развернуться не вмочь среди топей и зарослей. Ясно было, что наспех собранная Юрием Всеволодовичем рать угодила в западню. Кто ж ее уготовил? Какие доносчики?..

Горе горем, а страда страдой. Суровым трудом беды преодолеваются. Споро была срублена на горе поминальная часовенка, с молитвою преданы земле павшие, упокоены.

Отъезжая на вороном коне от свежих захоронений, и раз и другой оглянувшись Александр на густо вставшие сосновые кресты, навсегда запоминая могильную тишь всего видимого пространства с зазеленевшими среди него ветлами и сурово насупившимся ельником, что по преданию исстари являл собою неизбежность вечной разлуки и неизбежное горевание по усопшим, ибо ничто иное, как только нетленная бессмертная память может уберечь сердце от холодного омертвления и бесчувствия.

Но не все мертвецы были преданы сырой земле. Два тела везли на телегах – великого князя Юрия Всеволодовича и его племянника Василька Константиновича. Святитель Кирилл решил поставить их гробы в белокаменном Успенском соборе, что высился громадным куполом над озером Неро в тихом граде Ростове. Там, в Ростове, праведно княжил до своей гибели добродетельный Василько, и туда, к счастью, еще не знали дороги ордынцы.

Ехал обочь Александра оставшийся в живых после нещадной сечи оруженосец великого князя Юрия Всеволодовича Трошка-нижегородец, прижимая к груди культю левой руки с отсеченной боевым топором дланью. Еще донимала его нестерпимым жжением рана, ломило и жгло руку, и увечный юнош кривился, дергая плечом.

Александр не без сострадания глянул на него.

– Что, шибко донимает шуйца?

– Не гораздо, небось выдюжу, – заверил князя Трошка. – Свербит окаянная. Поди, потревожил ее. – И, помолчав, молвил с грустью. – Ина кручина изводит пуще. На рать, чаю, не ходить ми впредь. Отратовал, поди. Ладно еще, знахарка мя под елкой сыскала. Упасла баушка, выходила отварами травными да молитвами. А что проку? Сам себе в тягость.

– Была бы голова на плечах, – усмехнулся юный князь.

– Полно-ко, дрозда воробьем не заменишь.

– Молод ты – не стар. Чего тебе убиваться?

– Осьмнадцатый мне, княже.

– Эко! И мне семнадцать. Ровня мы с тобою.

– Ровня? Эко дело – солнце село, – недоверчиво посмотрел васильковыми пронизательными глазами на Александра Трошка. – А по стати ты детинушка куда дюжий.

– Ты тож молодец не промах, сгодишься еще для брани. Десница-то у тебя цела. А шуйцу щитом заслонишь. И мечом сечь, и креститься годен. Полно жалиться! Погоди, я тебя в свою дружину возьму.

От таких слов Трофим настолько возбудился, что остановил коня.

– Поди, шутишь, княже? Что тебе про меня ведомо?

– А то и ведомо, – не замедлил князь с ответом, – что ты у Василька правой рукою был.

– И что?

– Цела она у тебя-то?

– Цела, вестимо, – не мог взять в толк детина, куда клонит Ярославич, с умыслом верно, ехавший с ним стремя в стремя. Видать, углядел, как расторопно управлял землекопами на захоронении павших ратников доселе неведомый ему нижегородец.

– Вот ты и будешь у меня оной рукою. Ну что, быть ли по сему?

– Из твоих уст, княже, мед пить, – не без смущения, однако и без подобострастия молвил Трофим.

– Чаю, поладили мы, – потрепал князь по холке вороного.

– А куда ж мне, коли покровителя лишен? – усмехнулся детина. – Деться-то мне вовсе некуда. Хоть пропадай пропадом!..

Некоторое время они ехали молча, поглядывая на перелески, радующие свежей густой зеленью.

– Да будет тебе ведомо, княже, – подвоспряв духом, заговорил Трофим. – Перед самой сечею дошла до Юрия-то Всеволодовича молва о взятии стольного града Владимира нечистой силою. Мол, спален адовым огнем и град весь, и собор Успения, а в нем семейство Юрьево,

вся отрада княжья – и жена его Агафья, и дочери, и внуки. А сыновья-то княжьи Всеволод с Мстиславом в нещадной сече пали.

– Извещен про то, – посуровел Александр, давая понять спутнику, что лучше бы не касаться свежих ран. Однако, истово перекрестившись и сотворив про себя молитву, Трофим решил договорить до конца. Не было в нем угодливой смиренности.

– Я, Александр Ярославич, хочу тебе поведать о великом князе Юрии Всеволодовиче и токмо о нем. Иные почем зря бранят его: поспешил, мол, он, свою рать загубил и себя не уберег. А он не о себе помышлял.

– О ком же?

– О тебе, княже.

– Полно-ка! Чур на тебя!

– Воистину.

– Байкам не верю.

– Не байка то. Ой, не сказка! Пошто нечистые на Сить поспешали? А по то, княже, что от Сити прямая дорога на Новгород. Вот куда они свою самую дюжую силу направили. Чуешь, княже?

– Что ж. Прекословить не буду. С двух концов заходили. Батыя вон тож к Новгороду влекло. Ан Господь не допустил.

– А я о чем молвлю?

– Верно, друже, молвишь. Не напрасно собою жертвовал Юрий Всеволодович. Отвел врага от Нова града. Одно досаждает мне: разлад на Руси. Многие – всяк за себя. Потому и напастей не счесть. Земля-то наша русская словно из лоскутов сшита. Легко нас одолеть чуженину. Заедино не заградимся – сгинем. И чья то будет вина, чья доля горькая, коли не наша...

Пресекая разговор. Тяжко стало его длить.

Отрешенно безмолвствовал Александр. Да и пристало ли князю делиться сокровенными тревогами с попутчиком, которого выбрал ему случай? А все же привлекал тот его своим чистосердечием. Не зря, видно, с ним водил дружбу Василько, а покойный Юрий Всеволодович держал речистого мудрована возле себя. Было за что...

Мягко поцокивали копыта скакунов, поскрипывали повозки с разной снастью, неторопоко вращались колеса телег с тяжелыми домовинами, в коих покоились тела Юрия Всеволодовича, головы коего никто не мог отыскать, да его племянника Василька Константиновича, отличавшегося не только смелостью, но и здравым рассудком, а еще пригожестью, пылко любившим красу земную и небесную, безоглядно преданного своему мудрому пояде, кого почитал, яко праведника и храброго воина.

Впереди и позади да по сторонам то рысью, то галопом, то неспешным шагом передвигались конные дозоры, погромливая оружием, но можно было не опасаться: схлынули поганые, словно кипящий буревой вал на взбаламученном море, утянув за собою богатый полон, возы всякого добра, табуны лошадей, овечьи отары, вереницы прелестных славянских дев, чья дивная краса дорого ценилась на всех невольничьих рынках.

Каких только злых поношений не удостаивались упрямые урусы, при всех своих междоусобицах вовсе не считавшие войну ради богатой добычи самым достойным занятием на земле, не возводящие смертоубийство превыше мирного ремесла и хлебопашества. Может, потому за их твердость да верность своему главному предназначению сохранять обычаи трудолюбивых предков то ли Христос, то ли Аллах, то ли Будда, а заодно и языческие Перун с Велесом не пожалели для уру-

сов самой великой ценности – бесподобной красоты девственниц. Что же еще может воистину усладить воина, как не обладание женской при-манчивой плотью? Тем более что насилие на чужой земле не считалось для монголов грехом. Добыча есть добыча.

Поневоле думалось Александру о бедах и напастях, выпавших на долю родной земле. И горевал, и досадовал, и негодовал он, перебирая в уме недавние события, что могли оказаться погибельными для всей православной Руси. За что же ей такая злая участь? За что Господь карает? И только ли мечом, только ли обильным кровопролитием можно достичь покоя, оградив себя от всех злочестивых ворогов, посягающих на русскую землю?

Ясная память была у молодого князя, назубок знал он Псалтырь и вещие поучения своего великого предка Владимира Мономаха, сыз-мала их затвердил, а потому, рассуждая про себя о пагубности всякого лиха, вспомнил древнее назидание: «Уклонись от зла, сотвори добро, найди мир и отгони зло, и живи во веки веков, ибо кроткие унаследуют землю». Кроткие ли?..

Постепенно, под цокот копыт унималось, успокаивалось сердце, и Александр не заметил, как задремал. Но внезапная остановка сразу пробудила его.

Благочестивый епископ Кирилл вместе с отцом Александра Ярославом Всеволодовичем поворачивали на прямоезжую ростовскую дорогу. Туда же они распорядились повернуть дроги с телами Юрия Всеволодовича и Василько Константиновича. Все ратники обнажили головы, крестясь и творя про себя молитву.

Благоговейная кроткая тишь стояла над лугами, с которых сошли снега, и небесная голубень благодатно простиралась над яркой зеленью лощин и взгорий, окруженных веселыми рощами. Земная краса умиротворяла, словно сама таила в себе безмолвную молитву. Было начало светлого месяца травня.

Простившись с отцом, Александр с малой дружиной последовал своей дорогой, намереваясь сделать крюк, чтобы глянуть на родной Переяславль, прежде чем возвратиться в Новгород. Следовавший вместе с молодым князем Трофим попытался было отговорить спутника:

– Что проку-то глядеть на горельщину, сердце рвать? Ведаю я, одни головешки остались от Переяславля, княже. Что Владимир, что Переяславль – сплошь горелища, скорбь одна. А народишко, поди, разбежался кто куда. Слышь-ко?

Однако князь не внимал Трофиму. У него были свои намерения. И привык он пропускать мимо ушей всякое, как он считал, суесловие...

Свечерело. Ночевать остановились в березовой роще близ Переяславля. Многолетние длиннющие стволы упирались в небо зазеленевшими сквозными вершинами. Тишина была бездыханная, стоячая. Будто все вымерло вокруг.

Александр отказался ставить шатер. По привычке, как и все, улегся у тлеющего костра на попону, положив под голову седло. После утомительной дороги заснул сразу. Однако спал недолго.

Еще не стало светать, а темнота неба словно бы загустела, ярче выделились на ней звезды и повеяло зябким ветерком. Один костер уже пригас, а другой выбрасывал в ночь огненные лезвия – он горел в отдалении на лугу, где паслись кони и неторопко похаживали, разминаясь и позевывая, недавно смененные дозорщики. Из близкого сырого овражца тянуло пряным запахом черемухи. Сонливость как рукой сняло,

и Александр не стал мешкать – поднялся легко и быстро, словно всю ночь бодрствовал.

Он стоял и слушал текущую, как река на вольном плесе, тишину. И мысли его были далеко, за лесами и долами, в покинутом на время вольном Новгороде. Он уехал оттуда стремительно, как только до него дошла весть об отходе Батыея восвояси. А перед тем с великим тщанием доглядывал за подготовкой города к обороне, чтоб и стены были надежно укреплены заборолами, и люд вооружен, и у ратников мечи заострены, а доспехи плотно к телу прилажены.

Как всегда в спешке что-нибудь да не ладилось. И всю вину самонадеянные новгородские бояре, подбивая на всякие пакости посадника, валили на князя с его малою дружиною. Ничего, он-то умел постоять за себя и за своих воев: глаз не прятал и лица не отводил. И отступались от него те, самые норовистые, кто чуть что вопом вопили на вече: «Мыль не за Святую Софию? Где она – там и Новгород!»

И поди-ка ты, чаще всего выходило так, что правда оказывалась на стороне крикунов, не жалеющих глоток. Памятно было Александру, как отца его Ярослава Всеволодовича не единожды за твердый нрав выдворяли подальше от стен детинца и спешно звали обратно, когда вражья сила угрожала вторжением. Мол, обиды обидами, а Господин Великий Новгород превыше обид. Да, немалая честь княжить в Новгороде – немалая и надсада.

Невольно вспомнилось давнишнее. Было Александру тогда от роду семь лет, а его старшему брату Федору шел девятый годок. Оказались они в толпе на Ярославовом дворище, где яро полыхал большой костер. Привлек их тот жаркий огонь среди бела дня, протолкались они поближе и оцепенели от ужаса: в опаляющем жаром трескучем огне обугливалось двое людей, прикованных к дубовому столбу. Охваченные пламенем, они уже не могли кричать, корчась в последних муках. Какой-то железный обруч с колокольцами – то ли бубен, то ли скомороший венец ваялся в шевелящемся пепле у костра.

– Почто казнят? – спросил Фёдор хмурого стража.

– Язычники, слышь, они, волхвы треклятые. Креста на них нету! Смущали народишко, понуждали своему идолу Велесу поклоны бить. Поделом им треклятым!

– Нешто так велик грех? – подивился Александр. – У нас в Переяславле и Купалу, и Ладу, и Ярилу поминают. Так тож утеха!

– Экой ты заступник! – покачал сивой головой страж. – Поди, не хороводы оные изверги водили да не венки на воду пускали. А греховодничали. Образа святых топором рубили да в огонь метали.

– И не покаялся? Добрые бы ратники были.

Страж пристально глянул на не по летам рослого малого и посчитал, что может не отвечать ему: здоров детина, да несмышлен.

– Чей будешь-то, отрок?

– Князя Ярослава Всеволодовича сын.

– Ого! – окинул его с ног до головы смелым взглядом страж. – Вот что молвить хочу тебе, сынок. Можно ли христовою верою поступаться? Нипочем не можно. За Святую Софию испокон стоим. Бог за нас, покуда мы за Бога. Иного нам не дано. Коли качнешься, можешь и упасть...

Впервые Александр побывал в Новгороде Великом еще младенцем, когда отца позвали туда возглавить рать, опасаясь набега литовцев. Но опасность миновала, и Ярославу Всеволодовичу, как и допрежь, указали на ворота, не захотев мириться с его крутым норовом. Да и сам

удельный переяславский князь зарекся иметь дело со строптивыми нанимателями.

Спустя четыре с лишком года княжеская семья вновь перебралась в Новгород. Как ни уязвлен был Ярослав Всеволодович, а все же вернулся к берегам Волхова, откликнувшись на мольбы архиепископа, бояр и купечества оградить вечерую республику от напастей. И это был третий приход его туда. Не ради великого куша дерзал он так и не доблесть зрил в том, а следовал здравому расчету: Великий Новгород с северо-запада, словно непробиваемый щит, заслоняет от вражьей силы всю Владимиро-Суздальскую Русь, так что стоять тут надо было крепко. И старший брат Юрий Всеволодович одобрял молодшего, ставя заслон на востоке всякому супостату возведённым на слиянии Оки и Волги своим Новгородом Низовския земли, окружив его высоким валом и прочным заплотом-крепостью.

Как «Отче наш» помнил Ярослав Всеволодович завет старшего брата: «Не потягнем за Русскую землю, не выстоит она!»

Новгород на Волге и Новгород на Волхове – две твердыни, оберегающие святую Русь. И коли одна из них не устояла, другой надо крепить себя с особым тщанием, дабы сохранялся живой источник русской неодолимости.

...Многих иноземцев притягивал Новгород, поставленный неподалеку от западных рубежей и недаром прозванный Великим. Так его величали на Руси, таковым он прослыл и в Европе.

У берегов Волхова ниже торгова с его амбарами, лавками и навесами швартовались немецкие, датские, норвежские и шведские суда. А неподалеку от самого Старого дворища находился Готский, а еще Немецкий дворы, где одни просили удачи у варяжского святого Олафа, а другие – у римского святого Петра.

С Торговой стороной, где дворище, вечерой помост и вечерой колокол, соединяется мостом через Волхов Софийская сторона. И тут в белокаменном кремле высится незыблемая и могучая София Новгородская, что под стать Софии Полоцкой и Софии Киевской. Всего три таких собора на Руси, а четвертый за морем – в Константинополе. Оттуда, от Золотой Византии, от заветного Царьграда исстари начиналась Православная Русь, утвердив себя на широких пространствах и оберегая свои Софийские соборы, как изначальные святыни.

Посчастливилось юным княжичам Федору и Александру оказаться под заботливой дланью самого архиепископа Антония. Многими знаниями обладал почтенный старец, многое было ведомо ему. В давние годы побывал он паломником в заповедном Вечном граде – Константинополе и после честным пером описал ужасное вторжение в славную византийскую столицу рыцарей-крестоносцев. Свирепости их не было предела. Они варварски жгли, крушили и убивали, не щадя ни старых, ни малых. Младенцев живыми бросали в костры. Пропала краса неслыханная, погибло царство православное от звериного лютого неистовства латинской своры по наущению папы римского и германского императора. Вот уж где возликовали бесы.

Потрясенный кровавым лихоедейством, что творилось на его глазах, долго не мог прийти в себя Антоний, навсегда онемев. Потому-то сочинение старца «Повесть о взятии Царьграда фрягами» прочел княжичам сподручник его – инок Микифор, стараясь проникновенным бархатным голосом донести до отроков все без изъятия, чему стал очевидцем восприимчивый паломник.

Время от времени Антоний объяснялся с иноком знаками, а тот переводил его мягкие жесты на обычную речь. Просил архиепископ княжичей навсегда запомнить, кто творит самые страшные злодеяния на погибель люду православному, и остерегаться папешников, сеющих всякую пагубу всюду, где противятся папе римскому. Исчадиями ада нарек он ревнителей латинской веры.

Семь лет в ту пору было Александру, но он так же твердо, как свою первую молитву «Отче наш», усвоил заповедь церковного старца.

...Чуткая оцепенелая тишь стояла в лесу, лишь иной раз слышалось легкое пофыркивание застоявшихся коней. Вот-вот забрезжит в небесах. Свет растворит в себе черноту ночи, вспыхнут блескучими искрами росы на листве и в травах, и все кругом подвоспрянет, настроится в ожидании солнечного чуда – восхода. Кому из живых не в радость такое, кому не в усладу? Но что же в глазах все еще возникают обугленные срубы, груды мертвых тел, могильные кресты? Целые поля с крестами. Так доколе же? Доколе? Неужто нет тому конца? Печалям человечьим, слезам, рыданиям, стонам, утратам, посрамлению?

Никому не ведомо, как раз и навсегда усмирить дикие страсти, обуздать спесь, унять вражду. Никому. Безумство неисцелимо, порча неизлечима. Так было и так будет. Но не может пропасть надежда...

Забрезжило над головой. Коротка, спокойна была ночь, однако показалась долгой. Верно, потому, что бессонные думы оказались нескончаемыми, затяжными. И вот отступили они, дав передохнуть.

Еще не совсем обутрело, и еле слышно – то ли росинка скатилась, то ли рядом куст шевельнулся – что-то неясно прошелестело и замерло. И сразу же из недалекого овражка отчетливо донеслось: «Чок, чок, чок». И опять тишина. А потом уже громче: «Чок, чок, чок». И свист – разливистый, призывный. Да это же соловей! Его чудная запевка.

Но вот он опять молчит, чего-то выжидает, затаившись. Слабый ветерок заперебирал листву на березах, стукнул конь о землю копытом, шорох прошел по кустам. В отдалении негромко щелкнул, отозвался другой соловей. Радостно поприветствовал его запевщик, рассыпал быструю дробь, зачокал и во всю мочь залился таким разудалым, шальным свистом, что чуть ли не встрепенулось и не заликовало все вокруг.

Еще кто-то приветно отозвался запевщику из чащи, и еще кто-то в отдалении, и еще. И давай вторить один другому, а то и голоса разом. Вся роща ожила от сумасшедшего соловьиного пения. Да такого оглушительного – хоть уши зажимай.

Один за другим стали подниматься дружинники, никто не мог спать. Тяготившее всех уныние как рукой сняло. Живое излечивается живым.

Уже заседывали всхрапывающих коней, когда пение стало умолять, в последний раз взбудоражив рощу причудливыми коленами, щелканьем, дробью, свистом в стихающей перекличке. Солнце вставало над землей, сверкающее и жаркое, отчего сами собой сощуривались глаза. Раздался еще один запоздалый щелк, и смиренная тишина спеленала рощу. Умиротворённо залепетали вершины голенастых берез, встрепанные залетевшим ветерком.

– К урожаю, – молвил, подводя к Александру заседланного коня, бывалый мечник Ратмир, старший среди дружинников, которому князь доверял как самому себе.

– О чем ты? – очнулся от своих дум юный воитель.

– К доброму урожаю певуны-то заливаются. Верный знак.

– Кабы так, – усмехнулся Александр.

Он не очень-то доверял приметам и не тешился пустыми ожиданиями, искушая себя. Что толку в предсказаниях, если ведаешь, что многие поля останутся непахаными, лишившись своих оратаев и сеятелей? Несмотря на молодые годы, он уже приучился не хмелеть от удач и не потакать унынию при поражениях. А чтобы поражений не было, загодя упреждать дурные последствия.

Окинув схватчивым взглядом свою малую дружину и углядев Трофима, кивнул ему, давая знать, чтобы приблизился.

– А соловьи-то, едри их в корень! – не скрыл восторга оруженосец, подойдя к озабоченному князю. – До слез проняли, ей-богу! И чего я их ране-то не примечал?

– На службу ко мне пойдешь, коли ты ныне вольный, – только и молвил Александр, словно ему было не до соловьиного угара. Душу он распахивал не перед каждым.

Вскакивая на коня, наказал дружинникам:

– Ждите меня тут. А я гляну окрест...

В малолетстве все вокруг кажется незыблемым: люди, строения, деревья, круговорот обыденной жизни с погодой и непогодой, стынью и жарой, говором, мычанием коров на пастбище, скрипом телег, печным дымом, сыроватым ветерком с озера, с отблеском огня из кузни, где стучит молот, с косьбой на лугах, с молитвенным шепотом в тесном от людя храме, с мягким голосом матери и назидательным отца, с прятками за овином и с берестяным кузовком, наполненным земляникой...

Родной Переяславль для Александра был его явью и воспоминанием, потому что детство начинает сниться с годами и становится чудным видением, как сказка, даже если оно не всегда оказывалось беззаботно вольным и неомраченным.

Детство мерещилось Александру в березовой роще, а рассветные соловьи растравили сердце, и он поддался искушению побыть с собой наедине, хотя уже давно привык держать сокровенное в узде, не потакать настроениям и забавам. Суровые испытания с отрочества научили его владеть собой.

Но не было и не могло быть для Александра милее и лучше места на земле, чем ненаглядный Переяславль-Залесский, заложный его прадедом Юрием Долгоруким. Место тот выбрал привольное. И приметное. Возле древнего языческого капища, возле синего большого валуна, где долгое еще время сбивалась молодежь, затевая веселые игры и вода хороводы, чтобы славить Перуна и Велеса, Купалу и Леля, хватить Коляду да Житнича, бросать в озеро венки и вопрошать у семи братьев – ветров буйных, куда они наладились, чтобы ответили братья, что наладились они в чисто полюшко, в широкие доли сушить травы скошенные да земли вспаханные.

Как можно было не вспомнить алые рассветы над Плещеевым озером, отблески их на прибрежных ветлах, на частоколах и на кровлях теремов? Сюда неудержимо влекло сердце, словно тут был рай земной.

Никому не открылся Александр, что ныне день его рождения – семнадцать ему уже стало. Утаил, ибо негоже поминать о том после похорон. И лишь в сокровенном полном одиночестве он мог предаться воспоминаниям. И ничто не мешало ему побыть наедине с самим собой.

...По зеленому пологому склону – вскачь, вприпрыжку, взмахивая руками, словно крыльями, и ликующе вопя, так, чтобы слышно было

всему распахнутому простору, дальним чащобам и замеревшим в ярой синеве облакам, чтобы откликалось все вокруг тем же восторгом и страстью, которые вырывались из груди, заставляя что есть мочи колотиться сердце!

Лишь у самой кромки берега неоглядного Плещеева озера приостановиться, запаленно дыша, и, уняв себя, замереть.

Великие силы гнали по небесной лазури облака, катили по озеру волны, раскачивали на берегах могучие сосны, разжигали солнце, меняли стынь на жару и яро грохотали в небесах, сверкая молниями, как мечами.

И под стать тем удивительным силам тоже хотелось набраться мощи, чтобы одолеть все напасти, подстерегающие каждого на Руси, о чем он не мог не ведать сызмала. Вдумчивый не по летам старший брат Федор кротко улыбался, не споря с ним, и его болезненное восковое лицо озарялось, словно на него падал солнечный луч. Их тянуло друг к другу, но так выходило, что не Александр зачастую внимал Федору, а Федор Александру. И никто вокруг тому не дивился.

Они вместе принимали княжеский постриг в белокаменном Спасо-Преображенском соборе, когда Федору минуло пять лет, Александру же – четыре. Переросший Федора почти на голову, он поражал сметкою и рассудительностью...

В атласных кафтанчиках, в собольих шапках княжичи одновременно вступили в распахнутые церковные врата и, сняв шапки, чинно перекрестились. К амвону вела красная дорожка, по обе стороны которой плотно стояли чинные бояре, дружинники, позванный на торжество честной люд. Тишина царила в соборе, щедро расписанном по стенам фресками. Горели свечи паникадила, горели на амвоне, освещая иконостас, горели в лампадах у самих икон. И представлялось: лики святых оживали в трепете огней, а фрески шевелились.

Все замерли, когда почтенный епископ Симон с амвона поочередно благословил чад, а затем их наставника и крестного отца боярина Федора Даниловича. Потом подвел братьев к престолу и усадил у царских врат на покрытые червленим бархатом скамеечки. Прочитав молитву и взяв ножницы, совершил обряд подстрижения – отрезал у каждого по прядке волос на затылке.

После торжественного молебна Ярослав Всеволодович нацепил на пояса сыновей по короткому мечу.

– Ну, чада мои, – произнес он, обнимая обоих, – отныне вы, ровно как и я, именуетесь князьями.

Они вышли на переяславскую Красную площадь, заполненную людом. Их встретили приветственными криками. К братьям подвели двух скакунов, покрытых алыми с золотым шитьем попонами. С помощью стремянных молодцов оба подстриженника оседлали коней и неспешно двинулись на них сквозь расступающуюся толпу вокруг вымощенной ровным камнем площади.

– Слава! Слава! Слава! – приветствовали их переяславцы, как было принято в таких случаях с незапамятных времен. Всеобщее внимание смущало братьев, но они держали себя, как подобало настоящим мужам, с достоинством и строгостью, ничем не выдавая своего трепета...

Впервые Федора и Александра усадили за пиршественный стол в красном углу рядом с отцом Ярославом Всеволодовичем и многоумудрым престарелым епископом Владимирским и Суздальским Симоном. Братья смиренно сидели, не шелохнувшись, слушая речи старших. Понравился им Симон, поразивший благообразием, снежно-белой се-

диной и восковым исхудалым лицом с необыкновенно ясными и приметливыми глазами.

– Помолимся, братья, Господу Богу нашему, – встал он, повернувшись к иконам. Все разом поднялись, совершая крестное знамение. Широко разводили руками, истово клали поклоны в строгом молчании и отрешении от всего земного, будто каждый пребывал наедине с собою перед светлым образом божьим. И, как один, вновь сели на лавки по обе стороны уставленного яствами стола, проведя ладонями по благолепным лопатистым, а у кого и коротким округлым бородам.

Никто не раскрыл рта. Блюли чинность, ждали от епископа настоятельного мудрого слова. И взирали на владыку, не притрагиваясь к брашну. Тишь стояла в трапезной благодная, чуткая, молитвенная, как и должно быть по обычаю. Негромко заговорил Симон, вовсе не назидая, а прямодушно рассуждая с чистосердечной доверительностью:

– Речено было, други мои, преславным игуменом обители Киево-Печерской благочестивым Феодосием, что-де подвизаться в православной вере пристало токмо благими деяниями. А уж коли придет час голову сложити, то всякому честь умереть с дерзновением за веру Христову. И не инако, не инако. Другой веры у нас несть. Что молвить, времена выпали нам с вами ох тяжкие. И может стать, настанут пуще того. А посему надо быти воедино, а не вразброс. Злосчастье-то наше, казнь египетская, что меж собою единомушья не обрели еще. Поделить поделили, да поделенное тож делим. И все-то у нас уже не вместе, а врозь. Нешто выстоять Руси нашей? Нешто выстояти, коли всяк за себя и никто за ближнего? Вот о чем, други, вящая скорбь моя, вот о чем скорблю да пекуся...

Ведать не ведали собравшиеся за столом, что всего год оставалось жить провидцу Симону и что внимали они последнему завету престарелого духовного наставника. На всей Владимиро-Суздальской земле да и в иных русских землях не было почитаемее святителя, чем Симон. В юные лета принявший монашеский постриг в Киево-Печерской обители, стал он в зрелые первым епископом Владимирским и Суздальским. С кончиною достопамятного великого князя Всеволода Большое Гнездо, рать коего, по преданию, на своих ладьях веслами могла расплескать Днепр, Симон тщился примирить его старших сыновей Константина и Юрия, взяв сторону последнего. Однако главенство осталось за первым. Симон же остался верен второму и разделил с ним все тяготы изгнанничества после позорной междуусобной схватки при реке Липице. И вот еще пяти лет не минуло с той поры, как заложил он вместе с благоверным Юрием Всеволодовичем – мир праху его! – на высокой приволжской круче храм Михаила Архангела, благословив тем самым основание нового града, назвав его в отличие от старого Новгорода на Волхове Новгородом Нижним на Волге. И что же? Стоит ныне та крепость-твердыня, опоясанная дубовым тыном, на бойком торговом пути. Нерушимо стоит, будто век уже стояла. Вот она – господня-то благодать!..

Только к ночи закончилась трапеза в княжьем терему, когда новоявленные князья Федор с Александром уже давно были в постелях. Однако на площади, нареченной Красной, еще не догорели костры и переяславский люд пировал да водил хороводы, хваля щедрость князя Ярослава, не пожалевшего брашна да зелена вина. К утру парни с девушками отправились гулять вдоль Плещеева озера, встречая новую зарю.

Как уж прижилось, так и велось. Чтимых обычаев в благословенном Переяславле не отменяли.

...Ведя всхрапывающего скакуна в поводу, семнадцатилетний Александр насупленно ходил по черному пепелищу, оставленному после себя лютыми ордынцами. Печаль наводили зачерненные копотью стены белокаменного собора, где он с братом Федором принимал постриг; обгорелый остов княжьего терема; порушенная въездная башня острога, сброшенный в горель вестовой колокол, широкие проломы в прясле на защитном валу и головни всюду, что, мнилось, еще не остыли.

Оставив свою малую дружину в лощине перед городом, Александр позволил себе слабину, не давая никому возможности увидеть его угнетенность и скорбь. Не всеми своими печальми делятся с другими, даже если те другие близки сердцу.

Былые чувства, надежды, упования воскрешала память, в ней оживали усопшие – из небытия доносились их голоса. И по тем голосам отличал Александр правых от неправых, своих от чужих, как и подсказывало ему сердце. И предстояло смириться ему с утратами, чтобы не поддаться лютой горести, не раскиснуть, не впасть в уныние.

Он выпустил из руки повод, покидая пепелище. Но послушный конь и без повода следовал за ним. Взойдя на вал, осыпанный золою, сквозь которую местами пробивалась изумрудная травка, Александр оглядел окрестности, где все ему было дорого, и облегченно вздохнул. Здесь уже не обдавало горелью, а ветер был тугой и распашистый.

Родные безмолвные просторы умиряли, как может умирать все, что оставалось незыблемым. Юный князь перевел взгляд на городские безлюдные окраины, еще не сознавая, что понадобилось ему там углядеть. И ободрился, вспомнив неказистую избенку на отшибе, где пребывал в опале и забвении не то дружинник, не то холоп Ярослава Всеволодовича острый на язык старец Даниил по прозванию Заточник, ибо считал себя и вправду в непрестанном заточении из-за обиды на своего господина, не пожелавшего стерпеть острого языка пересмешника-мудрована.

Сердобольные переяславцы помогали изгою кто чем мог, а он веселил честной люд своими прибаутками. Нередкими гостями стали у чудного старца и малые Федор с Александром, принося ему разное брашно.

– Ох, охи! – жаловался хилый старец мальчикам, отрываясь от своих писаний и откладывая гусиное перо в сторону. – Ни малого мне нету утешения. Я, друзи мои, аки трава сорная тута, никакою заступою не огражден. Всяк ходит по мне, нози об мя отирая. Одно ваше добросердие, чада, греет изгоя. И милость ваша отрада убогому.

Он влек их к себе, как влекут на свои прибаутки бродячие скоморохи, но все же братья разумели, что старец был не только потешником, но и великим мудрецом, да к тому же еще пострадавшим от немилости, и жалели его.

– Не желаете ли, чада милые, отведать моего брашна? – предлагал он. – Ряпушки поутре наловил в озере у синя камня. Скусна зело.

Старец причмокивал да подмигивал, и мелкие морщинки лучиками разбегались от его пытливых умных глаз.

Братья тоже веселили. Вольно им было у старого потешника.

– А что проку аз да буки писать, коли никто не чет? – как-то насмелился спросить Александр, кивнув на скрутившийся в трубку пергамент на столе.

– Тропу торят – след оставляют, дабы и другим был путь, – построжал мудрец. – Чаю, и моя тропка сгодится. Тьма-то страшит, а белый свет веселит. Свете живоносный. Паче того молвлю, не столь мечом, сколь разумением да молитвою земля хранима.

– Почто же тогда все кругом воюют?

– Почто? А почто корысть выше разумения?

Не всё понимали братья, что внушал им опальный старик, иной раз совсем уж мудрено глаголя, однако ум у каждого был схватчивый, памятливым и до всего нового жадный...

Увы, скособоченной избенки, на коей посеревшая от дождей и снегов копною топорщилась солома, Александр не узрел. Ее, как и все другое жилье вокруг, смел ненасытный пожар.

Неприкаянно побродив по горельщине, будто что-то важное держало его тут, не давая покинуть отеческие пенаты, он вышел за окраину и ступил на дорогу, по обе стороны которой нетронута зеленело широкое поле. И только здесь облегченно вздохнул всей грудью, словно до поры пребывал во сне и, наконец, проснулся.

Схожий порою с многомудрым волхвом, а иной раз с разгулявшимся проказником исхудалый маетный старец в поскони, с нечесаной сивой копной на голове и встрепанной бороною уже не занимал его мыслей, напоследок пробудив в памяти безутешную притчу: «Моль тканьину точит, а печаль – человек. Доколь же будем горстью соль вкушати?..»

Но давнее стариковское сетование не могло найти ответа.

Олег МАКОША

Родился в 1966 году в Горьком. Работал слесарем в трамвайном депо, охранником, строителем, заведующим гаражом, консультантом в книжном магазине. Лауреат премии журнала «Флорида» 2012 года. Живет в Нижнем Новгороде.

КОМПАС

Горан Петрович Семенов, Игорь Капор по прозвищу Момо и Тася Захудалова пили чай. Вприглядку, то есть без всего. Набуцкали кипятку в металлические кружки, бросили по щепотке заварки из прошлогодних трав – ромашка да мать-и-мачеха – и пьют в свое удовольствие.

А разговоры ведут такие:

– Видела Сему Вибраторова, – рассказывает Тася, – пешком шел в магазин.

– Угу-угу, – отвечает Горан Петрович, – а я Ваню Накацуку встретил.

– А разве он уже освободился? – удивляется Игорек.

– Третьего дня, – подтверждает Тася и дальше чаек мурызгает.

Хорошо. Душевно.

Вообще, у них любовный треугольник и все немного запутано, а так – хорошо. Единственный момент: Тася хочет стать крестной матерью только что родившейся дочке своей любимой подруги Липы, а Горан с Игорьком против. Объединили силы и выступают коалицией. Но речь не об этом. А о Семе Вибраторове, который чуть не поседел в одиночестве и зарекся за руль братья.

После того случая около универсама.

Вышел Сема из торгового зала, докатил коляску до автомобиля, открыл багажник и переложил покупки. У нас многие так делают – катят жратву до машины в универсамовских каталках, которые там же и бросают. У машин в смысле. Вся стоянка забита тележками.

Так вот, значит.

Перегрузил.

А вокруг – красота. День на загляденье – теплый, с легким ветерком, невнятным шевеление листьев на чудом сохранившихся деревьях вдоль соседней стройки и обещанием исполнения неких таинств и свершений давно задуманного.

Сел Сема в машину, вытащил ключ из кармана, а вставить и завести агрегат не может. Что-то не дает. Мешает. Посидел еще, подумал, ничего не надумал и попробовал опять. Ни в какую. Томление какое-то в груди и тревога в области селезенки – вибрирует она мелко-мелко и вытягивается в нитку.

Закурил тогда Сема сигарету (есть у него эта дурная привычка) и вылез из салона своей старой японской машины. Потянулся, огляделся и решил обойти автомобиль кругом. И, обойдя, нашел перед передним бампером мирно сидящего на асфальте мальчугана лет пяти-шести, рисующего белым мелком каляку-маляку. Симпатичного такого пацаненка.

От бешеного прилива адреналина показалось тогда Семе, что он на сотую долю секунды потерял сознание. (Да не показалось, действительно потерял.) От ужаса понимания того, что могло произойти. Через пару минут, запусти он двигатель и тронь тачку вперед.

Вот с тех пор Сема за руль и не садится. И вообще задумываться стал чаще. Нет, не закидываться, а именно задумываться.

А ребята пьют чай.

При чем здесь компас?

При том, что у каждого он в середине организма сидит и указывает, куда двигаться.

Надо только уметь слушать и правильно считывать показания.

КАНВА

У Ларисы всегда было ощущение, что все вокруг происходит не с ней. Или с ней, но не так. Или так, но не по-настоящему. А если по-настоящему, то напрасно. Куда бы ни пошла, чем бы ни занималась. Бывало, в перерыв берет в руки чашку с чаем, а в голове одно – елки-молалки, опять не успела Надьке сказать...

А чего сказать, уже и не важно.

Потому что бесполезно.

Вот! Нашлось слово – «бесполезно».

Любое действие как мультфильм. Встречает даже не противодействие, а ненастоящность воплощения, когда заправленная утром постель суть тень от настоящей заправки постели. И так везде.

На работе.

В любви.

В несчастьях, которые зачистили. С ней столько всего не должно было происходить. Вчера на рынке... а, ладно.

И даже в стенгазете (в поликлинике, редактор – Федюкова И.И.) пишут какую-то чушь. Например: «Умбрией обернулся, мглою лилейной – мир, розовый развернулся новый ассизский Рим» или «Казалось, становится небо жемчужной, мерцающей розой, родился игольчатый стебель из ветра, молчанья, мороза».

И так далее.

В автобусе едешь, засмотришься в окно, а в мелькании людей, машин, зданий – не то, не то, не то. Не так.

Или кашу варит овсяную, белье стирает – все ерунда какая-то.

На работу идет (она всю жизнь воспитателем в детском саду) – всюду сон.

Беременная была Юлькой, а беременные чуткие, как мембраны между мирами, – так вообще с ума сходила. Все кивали на капризы, а она чувствовала – не в капризах дело, не в черной икре с мороженой брусникой (тем паче, и взять ее (их) было негде).

Начала читать.

Потом много читать.

Постепенно дошла до Библии, и та ее ошеломила и перевернула. Вы только вслушайтесь: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит».

Все переносит.

Всему верит.

Муж Валерка, шибко ученый был (пока не сплыл), все что-то доказывал про подложность Библии, якобы переписанной из вавилонского эпоса. О выдуманных святых. А какие они выдуманные? Вон икона в углу на

поставце стоит. Великомученицы Варвары. Она всю жизнь терпела, и Лариска терпела, как же ей ее не любить?

И наоборот.

То есть Варваре Лариску.

А умирать стала, успела спросить у старшей сестры: меня сразу называли Ларисой? Нет, ответила старшая сестра, пока мама беременной ходила, она тебя называла Леной. А пошла в сельсовет записывать и передумала...

И тогда все встало на свои места.

Но было поздно.

Нет, не поздно, все, как всегда, было – вовремя.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

По утрам у них очередь в ванную. Севик, умывшись и почистив зубы, тщательно вытирается полосатым махровым полотенцем. Оля говорит: ну хватит мне тут демонстрировать мастер-класс медитативного вытирания. Севик обижается, бросает полотенце в таз с грязным бельем и выскакивает из ванной. На кухне поджигает под чайником газ, снимает чашку с сушилки над мойкой. Бросает пакетик, заваривает. А Оля пьет какао. Последним в ванную пролазит Ираклий.

Ираклий их крест. Ираклий в некотором смысле отчим Севика. Мама Севика после смерти Севиного отца, уже в приличных годах, вышла второй раз замуж. За Ираклия Арсеньевича. Потом мама умерла, а Ираклий остался. Куда его было девать? Живет с молодыми (не очень) людьми. Севик в этом никакого подвига не видит, а Оля видит. Оля многое в жизни воспринимает как чрезвычайное напряжение. И ее можно понять. При известном усилии.

Разговоры идут примерно такие. Оля: нафига он нам нужен? Севик: кто? Оля: смешно. Севик: а куда его? Оля: пусть домой едет. Севик: его дом давно здесь. Оля: а мой?

И так далее.

Ираклий выходит из ванной комнаты и присоединяется к завтракающим. Садится за стол и желает намазать хлеб маслом – сделать бутерброд.

Тут еще нюанс, квартира – Севика. Честно купленная (хотя чего тут честного?) в девяностые у алкашей на первые заработанные кооперативом деньги. Севиным кооперативом. А мамину квартиру продали сразу после ее смерти (на погашение накопившихся Севиных долгов), и Ираклий остался без крова. Неизвестно, где он мыкался полгода, но спустя шесть с половиной месяцев позвонил в Севину дверь, и тот его принял.

Значит, протягивает Ираклий руку с ножом к масленке. Правую, а в левой держит приготовленный кусок батона. По ходу стоит кружка с чаем. Кипяток.

Ираклий по образованию и профессии – инженер-химик. Всю жизнь (до развала СССР и некоторое время после) на одном предприятии. И мать Севина работала там же: Ираклий – начальником цеха, а мать – технологом. Но мать Севика была прочно и счастливо замужем за Севиным отцом. А потом он умер, отец, и Ираклий, который, оказывается, давно и тайно любил Севинову мать, стал за ней усиленно ухаживать. Сам-то он последние тридцать лет жил в общежитии от комбината (потому что холостой), а женившись на Севиной маме, переехал к ней. А потом, значит, и мама умерла, Сева квартиру за долги продал. А Ираклий остался.

Теперь они втроем живут в Севиной двухкомнатной. И волей-неволей вместе завтракают. Сева любит чай в пакетиках и колбасу с сала-

чом, Оля – детское какао из желтой веселой банки и диетические печенюшки, Ираклий – что дадут, но больше всего хлеб с маслом. Вот он и тянется к масленке. Не очень ловко – пожилой (старый и больной) человек. Понятно, задевает локтем чашку с чаем, та опрокидывается. Сейчас Оля будет орать.

Тут еще один нюанс. Сева одет в трусы и майку, Ираклий – в старый синий халат, а Оля уже при полном параде – ей раньше всех выходить. Работает администратором в салоне красоты, почему-то с восьми утра. Сева с девяти – программистом, а Ираклий нигде не работает, живет на пенсию. Он мог бы вставать и попозже, но: во-первых – не спится, а во-вторых – не успеет к завтраку.

И Оля боится (не без основания), что пролитый чай может попасть ей на одежду. Например, на юбку. Или блузку. Поэтому она вскакивает и кричит. То есть сначала кричит, потом вскакивает. Или делает это одновременно. Чай течет по столу. Ираклий замирает, Сева берет тряпку с плиты и накрывает лужу. Оля постепенно (довольно быстро – привыкла уже) успокаивается – некогда орать (да и не попало на нее), надо бежать на работу.

Руки у Ираклия дрожат, координация нарушена, глаза слезятся. Синий в красную полосу драный, застиранный халат, из ворота видна седая шерсть на груди, веревочка крестика. Рука с хлебом – толстые пальцы, толстые ногти совковой лопатой. Он смотрит на Севу, на Олю, на тряпку, набухающую чаем. Никто не знает, о чем он думает, что вспоминает и планирует ли будущее. Родился под Тбилиси, учился в Москве, живет здесь.

В общем, каждое утро он выходит из ванной и присоединяется к завтракающим.

ПАПА ВОВА И ПЕРСИК

Весна. Солнышко. Двор серой панельной пятиэтажки. Папа Вова, бородатый пузатый амбал, гуляет с ребенком, пятилетним пацаном Персиком в смешной вязаной шапочке с торчащими ушками. Ребенок с невыразимым кайфом (но и с некоторой опаской), наотмашь плюхается в лужу. Папа Вова говорит: конечно, выйти погулять и не упасть в грязь – это все равно что выпить и не закурить. И закуривает кстати. Персик поднимается из лужи и стоит – обтекает. Красный комбинезончик – убит.

У папы Вовы теща, которая выстроила свой идеал зятя. Зять утром встает, радостно приветствует божий день, умывается, бреется, завтракает и уходит на тяжелое производство (приветствуются: завод, забой, стройка, профессия танкиста). Вечером, придя с работы, умывается, бреется, ужинает и начинает трудиться по хозяйству (починяет краны, дверные ручки, дверца антресолей, вообще постоянно делает ремонт квартиры, усвершенствуя и без того первоклассный быт). В выходные летом два дня (субботу и воскресенье) вкалывает на огороде (даче, садовом участке), зимой – опять же отдыхает по хозяйству или предается безобидному, но созидательному хобби.

Понятно, что от такого идеала папа Вова лезет на стенку. Оттого и курит нервно, сидит на скамейке, думает и смотрит за сыном. А Персик играет – повторяет в сломанный, отданный ему на растерзанье, мобильный телефон: «Мона Лизу? Мона Лизу?» Зовет мать – Елизавету Маркеловну, Лизоньку – по-домашнему. Папа Вова бросает окурок, встает и предлагает Персику сходить на качелях покататься. Они топают в соседний двор, где в палисаднике установлены качели – два ржавых столба и доска-сидушка на веревках, продернутых сквозь.

Персик раскачивается, а папа Вова вспоминает свой двор, свое детство в соседнем областном городе. Они тогда любили с качелей прыгать, разгоняться изо всех сил и сигать на дальность – опасно, но и захватывающе. Слава богу, никто, если память папе Вове не изменяет, не пострадал за все время. А теперь теща – Варвара Исидоровна – оторваться ребятам не дает, как что, сразу начинает скандалить: туда не ходите, сюда не суйте, Персику это вредно, Персику то смертельно, а тебе, мордвороту, вообще надо бы еще одну работу поискать. Папа Вова трудится кондуктором на маршрутном такси, кореш Санек, водитель, пристроил. Со стороны, конечно, странно – огромный стодесятикилограммовый мужик на дамской работе. Кондукторы, известно, всегда или девчонки молоденькие, или их мамыши сильно пьющие, в общем, дамы.

Но на самом деле – это тяжелый и очень опасный труд. Столько за смену уродов повидаешь, со столькими неадекватными столкнешься, что к концу рабочего дня только стакан и спасет. Но папа Вова ни-ни, у него же ребенок. Ребята в гараже его за это уважают. Сейчас вообще в

автохозяйствах пить меньше стали, и выгнать могут тут же, а зарплаты хорошие, и не принято как-то стало – капитализм и частное предпринимательство. Поэтому не надо про немужскую работу, папа Вова считает, что очень даже мужская, особенно когда надо распоясавшегося хулигана приструнить или пьяному дебоширу выписать пинка для скорости. И платят хорошо, как уже говорилось, а это главное. Папе Вове без приличных денег никак, папа Вова мечтает расстаться с тещей Варварой Исидоровной.

Снять квартиру и зажить счастливо своей семьей, без поучений и ежедневного гундежа над ухом. Без этих: найди себе работу поприличней, как настоящему мужику полагается, а лучше еще одну. Без этих выяснений, кто виноват и что теперь делать. Без слез и скандалов. Лжи и вывертываний. Зажить вдвоем с Персиком. Мама-то у них умерла, Елизавета Маркеловна, полгода назад как. Остались папа Вова и теща, вот они вдвоем мальчишку и воспитывают на тещиной территории. Как умеют, конечно. Ну, а кто по-другому-то.

ЦЕЗАРЬ

В старом трехэтажном деревянном доме, двор которого выходит (сто лет назад заклинившими) воротами на проезжую часть, в центре города, живет пожилой артист областного драматического театра Михаил Анатольевич Ляхов, сценический псевдоним – Цезарь Подселенский.

Вот он возвращается после спектакля, слегка поддатый, прячущий нос в воротник черного пальтишки с вытертым каракулевым воротником, шаркающий ногами. В кармане у него бутылка недорогого пива, что купил ему приятель Санечка Подгрудов. Сейчас Михаил Анатольевич дойдет до подъезда, поднимется по деревянной вонючей лестнице на второй этаж, откроет дверь, разуется, скинет пальтецо, проскользнет на кухню и, задыхаясь, усугубит.

Перед этим он забежал к кафе, где в коридоре, ведущем на раздаток с брошенными официантами на столе железными подносами, принял стакан красного. Двести пятьдесят граммов – воскресная норма. Феечка налила в долг. Феечка она вообще... понимающий человек. А в зарплату он отдаст.

А завтра Михаила Анатольевича выходной – понедельник. Во всех театрах нашей могучей страны понедельник – единственный выходной. Михаил Анатольевич отправится гулять в парк. Там присядет на скамейку и, невзирая на осенний холод, просидит час или даже полтора, разглядывая проходящих мимо людей. Некоторые будут кивать ему, здороваясь, – у нас маленький город и все друг друга знают. Но большинство пройдет мимо равнодушно, подумаешь, еще один неухоженный старик, сохранивший в облике некое барское роскошество. Что смотрится жалко и постыдно – фальшивое достоинство хуже явного пофигизма.

Откуда им знать, каким блестящим был Михаил Анатольевич двадцать-тридцать лет назад. Сам Евстахий Египтянин-Логау – гений и законодатель – говорил: «Не суетись, Михрютка, талант у тебя мелкий, а амбиции как у слона, знай свое место, и все придет, если не сопьешься раньше времени». И смотрел, прищурясь сквозь пенсне, которое он называл через «э» оборотное – пэнснэ. И оттопыривал мизинец, прижимая кулак правой руки к низу живота. Намакая.

Михаил Анатольевич раньше времени не спился, но и место свое, а точнее, отведенное ему другими, знать не хотел. Потому что это несправедливо. Потому что у человека то место, которое он сам себе ответит, а не то, что ему укажут, как это думают некоторые.

А любовь? А томление сердца? А ожидание свидания? Вот это обмирание при виде предмета страсти? Дрожь в руках и испарина по всему телу...

Михаил Анатольевич вытянет уставшие ноги, полюбуется на свои бывшие белые, чуть сползшие носки в черных разбитых ботинках, вздыхает и поднимется со скамейки, чтобы идти домой. Надо еще за-

глянуть за хлебом. Денег мало, но на четвертинку он наскребет, а Анна Матвеевна отрежет – тоже понимающая женщина.

В хлебном народе никого, и продавщица, упершись локтями в прилавок, а сверху водрузив на кисти рук лицо, смотрит в пространство своей личной жизни. Здравствуйте, Анна Матвеевна, вежливо поздороваается Михаил Анатольевич. Ну, здравствуй, ответит та, разглядывая его зоб, вытянутое лицо и старческие мешки под глазами, – чего приперся? – Хлебушка. – Хлебушка? – Да. Анна Матвеевна демонстративно вздохнет, повернется, возьмет со стеллажа буханку ржаного, а из-под прилавка страшный невыносимо сизый тонкий, отточенный, как бритва, хлебный нож и отрежет четвертинку. Михаил Анатольевич расплатится, остро жалея о потраченных деньгах. Выйдет на улицу. Продавщица Анна Матвеевна что-то скажет ему вслед сквозь зубы.

А он побредет по улице. До дома – двести метров, но они почему-то особенно тяжелы. Побредет, уже не думает ни о чем. Нет сил. Во дворе ему навстречу попадутся молодые люди – местная шпана, они презрительно цыкнут на артиста, потом прижмут его к стене, быстро обшарят и толкнут дальше. Он поспешно переберет ногами.

Михаил Анатольевич – старый драматический актер, старый несчастный человек, известный всей округе под кличкой – Миша-пидор. Полученной давным-давно за несдержанность натуры и неординарное сексуальное влечение.

Как и трехлетний срок в семидесятые года прошлого века, после которого он вернулся в родной город с глазами большой косули и окончательно разбитой походкой.

Но это уже не наша история.

ТЫБЛОКО

Газовая колонка меня достала. Пятый год ломается как по расписанию, летом в июле, зимой в конце ноября. То есть не так, не ломается, а становится невыносимой. В буквальном смысле слова, летом – кипиток, зимой – жидкий лед. Соответственно вызывается профильная служба спасения. По бесплатной газете. Первый раз, зимой, приехал кучерявый пацан в красивом комбинезоне, снял переднюю панель, вынул запальную трубку, дунул в нее, плюнул и сказал: тыща рублей. Потом добавил: купите русскую «Астру». И уехал довольный. Я крепко задумался. В том смысле, что плевать и дуть сам умею, особенно за такие деньги. Затем включил воду в ванной, сунул руку... вода не то чтобы стала значительно горячее, но потраченная тысяча взывала не выпендриваться и вести себя скромнее. Так продолжалось неделю, наконец, я не выдержал и позвонил в следующую фирму, обещавшую выезд в любую точку города и разумные цены. Подумал, чего я буду дуть, когда это не помогает. Из фирмы приехал бритый наголо пухлый паренек, снял переднюю панель, запальную трубку, дунул в нее, плюнул и не успел ничего сказать. Потому что я опередил, сообщив: уже. Пацан поинтересовался: чего? Дули. Давно? Пару недель назад. Ну так это когда было... И добавил: с вас пятьсот рублей. Хотя цены падают, и то дело, подумал я и отдал деньги.

Летом, когда под раскаленную струю невозможно было сунуть руку, а стираемое белье сворачивалось как молоко, я позвонил в очередную контору. Приехал невзрачный мужичок в состоянии перманентного похмелья и... да, снял переднюю панель, запальную трубку и дунул в нее. Есть еще какие-нибудь способы? – напрямую спросил я у специалиста. Так говно же колонка, заверил специалист, рассчитана на пять лет эксплуатации. Купите фирменную. Ей два, ответил я тоном молодого отца, гуляющего с дочкой у чужого дома. Ну и что? С вас тыща рублей. Следующим явился крепенький невысокий седой дедок с портфелем и, с порога перейдя на «ты», поинтересовался: кто по профессии? Механик в трамвайном депо. Значит, не миллионер, сделал вывод дедок. Значит, я тебе покажу, а делать будешь сам. Дуть в трубку? – предположил я. Откуда знаешь? – поразился дедок. В общем, мы с ним сняли переднюю панель, вытащили запальную трубку, дунули в нее, включили воду и сунули руки. Да, елки-палки, констатировал дед, без изменений. Угу, согласился я. Но пламя ровнее стало, утешил меня мастер. Потом вздохнул и добавил: ладно, смотри и учись. И он разобрал водяную группу на несколько маленьких водяных группок и извлек из недр какой-то из них крохотный камешек, сродни почечному, что перекрывал ход. Вот такая у нас вода, сказал дед... вот так и живем... Сейчас все будет правильно, запомнил, как было? Ну, как сказать... Тогда собираем.

И мы собрали, и дедок получил четыреста (цена снова упала) рублей, а колонка работала как часы года полтора, пока опять не стала изрыгать из себя раскаленный пар. Но я уже не нервничал. Я был спо-

коен и уверен. Я тут же полез в записную книжку и набрал номер дедка Николая Евгеньевича. Номер, который он мне предусмотрительно оставил, напутствуя так: научишься на своей, всех соседей будешь обслуживать. Денег заработаешь уйму. Ага-ага, покивал я головой тогда, и угу-угу, покачал ею из стороны в сторону сейчас, когда попытался вспомнить хоть что-нибудь из манипуляций Евгеньича. Затем набрал номер и послушал гудки минут пять-десять. И слышал их еще два или три дня подряд. Потому что на том конце гипотетического моста никто не подходил, кнопок не нажимал и даже техническим голосом не разговаривал. Помер дедок, успокоил меня товарищ, которому я спустя неделю пожаловался на жизнь. То есть как? – поразился я. А что ты хочешь, все помирают, очень даже просто. И продолжил: у меня знакомая есть (у него очень много знакомых, другой наш товарищ говорит, что как у дурака фантиков), а у нее папа, а у папы друган, так вот, он чинит колонки. Дать номер? Давай.

Давай-то давай, но опыт подсказывал, что без Евгенича все пойдет по знакомому пути: снял, продул, получил деньги, ни хрена не сделал. Но и под кипятком не помоешься, поэтому, почесав репу, я позвонил товарищу, заставил его перезвонить подружке, ту брякнуть отцу и по кругу вернуть все мне. Мужик ответил сразу. Мы договорились назавтра, и он пообещал заглянуть после работы. Сказал, я перезвоню. После пяти. Меня устраивало, днем надо было сбежать в депо получить зарплату, а вечер соответственно оставался свободен, могу сидеть дома, ждать. Так и поступил. Сидел, ждал, еще ждал, потом позвонил сам. Мужик отозвался: а, черт, чуть не забыл, сейчас приеду. Я снял в коридоре с веревки сушившиеся трусы с носками, пересчитал деньги и только хотел попить чаю, как раздался звонок в домофон. Я открыл, мужик зашел. Я начал ржать. Мужик смотреть на меня. Что? – он оглянулся на дверь. Нет-нет, помахал я рукой, прошу прощения, проходите. Тапочки есть? Да-да, пожалуйста, я подал мужику тапки. Он переобулся, и мы пошли на кухню.

Мужичок все сделал от и до. Снял панель, запальную трубку, дунул в нее, вынул фильтр, промыл, отремонтировал регулятор напора воды, и колонка заработала как новая. Потом мы поговорили, он отсоветовал покупать «Астру», кляня ее за китайскую лицензию, и рекомендовал периодически проверять водяной фильтр, и если тот лопнет, купить новый и заменить самостоятельно. Спросил: ты кто по профессии? Механик в депо. В трамвайнном? Ага. Тогда запоминай, чай, не миллионер. Будешь сам делать. Конечно, Николай Евгеньевич, ответил я, и стал напоминать. Когда все закончили, он посмотрел на холодильник, где лежало налитое светом и медом яблоко, привезенное мамой из сада. Белый налив. Что это, тыблоко? Евгеньич аж сглотнул. Угощайтесь, предложил я, благодарный за все. За работающую колонку, за то, что стоит только захотеть, и все в твоей власти, за почти забытое слово из самого детства. За жаркое лето, за то, что он меня не узнал, наконец.

МУСЬКА

Он ей не понравился. Немолодой, некрасивый, с ужасным юмором. Понятным только ему. Скажет что-нибудь, никто не смеется (и он сам тоже). Но не злой и, в принципе, обходительный. Она дочку, шестилетнюю Муську, иногда вынуждена была брать с собой на работу, и он ничего, не морщился, не возражал, а потом даже подружился с девочкой. Для него эти приходы ребенка стали праздником, видно же, что человек радуется. Они Муську посадят за стол, дадут ей бумаги и фломастеры, а сами делами занимаются, она художник, и он художник, в рекламном агентстве «Иванов энд Сидоров». Но он все норовит побыстрее закончить и с Муськой возится. Накатает оракал и давай с ребенком что-нибудь мастерить. То робота из пластиковых бутылок клеят, а то сбегают в мастерскую к ребятам и сварят там железного дровосека из обрезков уголка. Потом сидят, красят красной краской, пока директриса не придет и не разорется.

А на нее ноль внимания, фунт презрения (про презрение она преувеличивает), ни малейшего интереса, так, приложение к Муське. Притащит книжку с картинками, огромную, дорогущую, сунет и просит: передай Мусе, а? Потом лезет в свой рюкзак драный дурацкий, вытаскивает пакет: я ей слив купил, ей ведь можно? И смотрит, как бассет-хаунд – бровки домиком и уголки глаз вниз. Как будто сахару просит. Можно, она берет пакет и автоматически лезет, пробует сливу. Он молчит, недовольный. Она убирает руку: обязательно передам.

В субботу ей, кровь из носа, надо съездить на новоселье к подружке. Купили с мужем квартиру, наконец, закончили отделку и справляют, не пойти неудобно, а дочку тащить не охота – не та компания. Думала недолго, попросила в пятницу: посидишь с Муськой в субботу, мне на новоселье? Да, обрадовался он. Они рано начинают, я часам к шести уже вернусь. Да. Я тебе ее приведу в обед? Да. Отвела, потом вернулась домой, долго собиралась, то это не так, то другое. Туфель к платью нет. А если туфли есть, то сумочки нет. А если и сумочка есть, то вместе смотрится – ужас. Шарфик, что ли, накинуть. Красивый же шарфик. Господи, какая я старая! Никуда не пойду.

Возвращалась, как обещала – засветло, хотя летом почти до двенадцати белый день. Удачно попала на маршрутку до дома, правда, дающую черт знает какие кругалю. Сидела, думала о чужом счастье и увидела их в окно. Он тащил Муську и рюкзак. Причем Муська сидела у него на одной руке (во второй он нес еще и пакет) спиной по ходу движения, прижавшись к груди, обняв за шею и уткнувшись головой куда-то в район ключицы. Почти спала. Разомлевшая и босая. В своем парадном голубеньком платьице с ромашками. Сандалеты болтались сзади, пристегнутые к карману рюкзака. Из другого кармана торчала бутылка воды. Она увидела их, и слезы потекли сами собой. И она не могла объяснить почему, не захотела бы, если б спросили. Но спрашивать-то некому.

Владимир ЗОЛОТАРЕВ

Родился в 1937 году в Ростове-на-Дону. Окончил Ростовский государственный университет. Доктор экономических наук, профессор Ростовского государственного экономического университета.

Заслуженный деятель науки РФ. Живет в Ростове-на-Дону.

ВРАЖЕСКИЙ БУТЕРБРОД

Далекий 1942 год. Окраина оккупированного немцами Армавира. Белые мазанки, утопающие в зелени садов, улица, уходящая в кубанскую степь. Солнце стоит в зените и нещадно палит, как будто стремится испепелить все живое.

Со стороны степи, урча моторами, в улицу втягивается колонна немецких автомашин. Впереди три мотоцикла с ручными пулеметами в колясках, за ними легковушка с открытым верхом, далее пять грузовиков, крытых брезентом. Колонна останавливается. У забора нашего дома глушит дизельный мотор самый большой, трехосный грузовик. Звучит команда – и из машины выпрыгивают солдаты охраны в серо-зеленой униформе и начинают разминать затекшие ноги.

Из-за штакетника забора за ними испуганно наблюдают пять пар настороженных детских глаз. У их обладателей война украла детство и «наградила» почти взрослым пониманием хрупкости окружающего мира и постоянным чувством незащищенности. Это Женя семи лет, Витя девяти лет – сыновья хозяйки дома тети Глаши, семилетки-близняшки Люда и Вера и я, пятилетний шкет. Девчонки и я – эвакуированные из Ростова. Со своими матерями нашли приют в этом доме.

С улицы от водоразборной колонки слышна непривычная чужая речь, шум, смех и плеск воды. Солдаты охлаждают свои разгоряченные головы и шеи. Кто-то уже разделся до пояса, а два арийца под гогот и крики товарищей прыгают под струями воды в чем мать родила. Держатся они без всякого стыда и смущения. Видимо, демонстративно показывают завоеванному населению, что представители высшей расы вовсе не обязаны перед ним соблюдать общепринятые нормы поведения.

К нам во двор заскакивают два молоденьких солдата. Они веселы и энергичны. Еще бы! Отлаженная машина вермахта неудержимо прет к Сталинграду, теснит наших на Кавказе. Увидев во дворе столько детей, солдаты куражатся: делают страшные глаза и вопрошают: «Рус золдат? Рус партизан?» Мы отрицательно качаем головами. Немцы говорят: «Гут» и со спортивной сноровкой залезают на большую шелковицу, ветки которой усыпаны спелыми плодами наподобие темных свисающих гусениц.

Витя, набычившись, молча наблюдает за тем, как солдаты поедают витаминные плоды и наполняют ими свои плоские котелки. Мы, малышня, осмелев, собираем с земли упавшие ягодки тютюны, так по-нашему называется шелковица.

«Алярм!» (тревога) – внезапно кричит немец сверху, и тут же раздается громкий сухой треск вроде расщепляемого дерева. Немцы гогочут, наблюдая, как детвора разбегается из-под шелковицы. Оказывается, молодой шутник, одетый в солдатскую форму, шумно выпустил из себя дурной воздух.

Но вот котелки наполнены, и солдаты, довольные собой, покидают наш двор. А в калитку протискивается высокий белесый и какой-то рыхловатый немец-обозник из большого грузовика.

– Матка, ком! Шнеля! – властно зовет он хозяйку дома, а сам вытирает носовым платком пот со лба и шеи.

Появляется из летней кухни тетя Глаша.

– Чего тебе? – не очень любезно спрашивает она непрошеного гостя.

– Матка, курка, яйка, млеко. Давай-давай! – безапелляционно требует немец и наставляет на нее толстый указательный палец.

– Давай давно подавился, – отвечает тетя Глаша. – Опоздал. Оглоеды вроде тебя уже все выгребли. Понял?

Тетя Глаша, конечно, говорит не всю правду. В дальнем сарае в клетках под тряпьем спрятаны оставшиеся пять курочек, а петух сидит в темном подвале, как в темнице, чтобы не выдал себя своим криком.

Белесый немец багровеет, топает ногами, пугает:

– Давай-давай. Паф-паф!

– Этот паразит просто так не отцепится, – вслух сокрушается тетя Глаша. Она уходит на кухню и приносит в лукошке пять штук сырых яиц.

– На, подавись, – говорит она. – У детей последнее забираешь, ирод.

Немец, шумно сопя, разбивает скорлупу и выпивает их одно за другим. Тряся своим рыхлым задом, он удаляется. Видимо, не очень доволен полученной контрибуцией. Не проходит и минуты, как он опять во дворе.

– Матка, шнеля! Шестног!

– Чего тебе еще? – удивляется тетя Глаша.

– Шестног! – злится оккупант и топает ногой. – Шестног. Паф-паф!

– Заладил черт-те чего! – почти кричит тетя Глаша. – Не пойму я тебя, гад. Таракана, что ли, из-за печки вымести?

По выражению ее лица немец понимает, что русская не может взять в толк, что от нее хотят. Он морщит лоб и через несколько мгновений выдает такой перл:

– Шестног – лукин брат. Давай-давай!

– Чеснок, – облегченно восклицает хозяйка. – Так бы сразу и сказал, сукин сын.

Она приносит из кухни головку чеснока и не очень вежливо сует ее мимо протянутой руки прямо в его огромный живот.

– На, подавись, чтоб тебе ни дна ни крышишки.

– Но-но! – предостерегающе рявкает немец. Берет чеснок и со словами «русиш швайн» убирается со двора.

В щели забора детям видно, как «шестног – лукин брат» лезет в кабину грузовика и опять возникает из нее с толстым портфелем. Щелкает замок – из недр портфеля извлекается бумажный сверток. Немец разворачивает вощеную бумагу, и нашим взорам предстает огромный

бутерброд. На толстом ломте белого хлеба размером в две ладони лежат нарезанные квадратики сала с прожилками мяса. Ни с чем не сравнимый запах щекочет наши детские ноздри. Мы непроизвольно глотаем слюну, когда белесый откусывает кусок. Немец размеренно жует и прищелкивает от удовольствия пальцами. Но что-то начинает его беспокоить. Он кладет бутерброд на бумагу, лежащую на крыле машины, и роется в своем портфеле. Видимо, ищет флягу. Не найдя ее, опять лезет в кабину.

И тут неожиданно для всех Витька, самый старший из нас, как лунатик, отклоняет штaketину и шагает за забор. Какой-то миг он стоит перед бутербродом, затем хватается его обеими руками, прижимает к груди и ныряет назад. Штaketина опускается на свое место, и мы, отбивая дробь босыми пятками, несемся за ним в дальний конец двора, где вырыт зигзагом окопчик – убежище от бомбежек. Там, в полутьме окопа, в один миг бутерброд растерзан. Как голодные галчата, глотаем его куски не разжевывая.

А во дворе уже разворачивается шумная драма. Разъяренный обозник кладает затвором карабина и кричит, что сопливые бандиты украли у него бутерброд, что эти выродки диких славянских племен начинают воровать уже с пеленок и потому их надо уничтожать в зародыше, и что сейчас он по законам военного времени проведет показательный расстрел всех, кто живет в этом доме, за оскорбление солдата вермахта и воровство провианта.

Тетя Глаша не понимает немецких слов, но сердцем осознает опасность, которая над всеми нависла. Она цепляется в немца мертвой хваткой, голосит во весь голос и умоляет пощадить неразумных детей, которые не ведали, что творили.

Неизвестно, чем бы это все кончилось, но тут звучит спасительная команда: «По машинам!» Ревут моторы. Немец, изрыгая проклятия, со всей силой отпихивает тетю Глашу так, что она падает на дорожку. Сам он выскакивает на улицу и при этом с мясом вырывает калитку. Колонна машин уезжает.

Через некоторое время, побитые, зареванные и зацелованные, мы как ни в чем не бывало бегаем по двору и радуемся, что все обошлось. В животах у нас приятная тяжесть от перевариваемой пищи, а Виктор с мстительным чувством уверяет нас, что злой и голодный немец наверняка перевернется со своей машиной где-нибудь в пути.

РЕКВИЗИЦИЯ

Через стенку с нашей комнатой проживала тетя Женя с двумя сыновьями. Моего одногодку звали Сашей, а второго, четырнадцатилетнего, – Славой. Нам, малышам, он казался совсем взрослым мужчиной, и мы бегали за ним по пятам и во всем старались ему подражать. Худой, мо-сластый, он был главным добытчиком в семье и помощником соседям. В начале войны во время бомбежки ему осколком отсекло кисть левой руки, и со своей культей он теперь не боялся попасть в облаву – Германии инвалиды были не нужны.

Слава шнырял по базару, крутился возле товарной станции и всегда что-то приносил в дом: то несколько картофелин, то кусок макухи, то шелуху от стручков гороха, в которых можно было найти уцелевшие зерна. Однажды он выменял на мужские наручные часы умершего дядьки пол свиной головы и, гордый своей добычей, нес ее, завернутую в мешковину, домой.

Наш дом располагался рядом с почтамтом, где немцы устроили узел связи. У входа стояла полосатая будка, возле которой и днем и ночью находился немецкий часовой.

В этот день на пост заступил рослый носатый солдат с рыбьими глазами и совершенно белесыми бровями. Он неторопливо прохаживался около будки, рядом с которой стояли галоши огромных размеров, изготовленные из спрессованной соломы. Ночью когда мороз крепчал, часовой вставлял в них свои сапожищи, чтобы не отморозить ноги. После того как завоевателей прогнали, множество соломенных галош – последнее достижение немецкой оборонной промышленности – хорошо пошло на растопку печей.

Часовой, увидев Славку, оживился.

– Хальт! – рявкнул он и поманил его к себе. – Комм!

Славка собрался было дать деру, но немец потянул с плеча ремень карабина. Пришлось мальчишке подчиниться и выполнить приказ показать, что он нес.

– Швайн, – одобрительно воскликнул часовой и прищелкнул языком.

В один момент сверток оказался в его ручищах. От рывка Славку развернуло, и он застыл вполоборота с протянутой рукой. Его усеченная рука выглядела жалко, а со стороны казалось, что немец вырвал у него сверток вместе с пятерней.

– Вэк! – грозно приказал часовой. Но Славку вроде разбил столбняк. Он все еще не верил, что его добыча пропала.

Немец оценил его поведение как нежелание подчиниться представителю вермахта и пинком сапога в зад отбросил Славку прочь.

Мальчишка громко вскрикнул от боли и, подволакивая ногу, спешно заковылял домой. На правой ягодице у него нарывал чирей «глубокого залегания», и от этого у Славки по вечерам даже температура повыша-

лась. Никакие примочки и народные средства не помогали. А немец ударом своего сапожища попал в больное место.

Мы с Сашкой вертелись в комнате и наблюдали, как тетя Женя обрабатывала рану своего старшенького бледным раствором марганцовки. А он размазывал по лицу злые слезы, но не от боли, а от обиды, что не донес домой свиную голову.

– Не горюй, сынок, – успокаивала его тетя Женя. – Оккупантов скоро наши прогонят. Главное, цел остался, а фашист пусть подавится свиным рылом. Не было счастья, да несчастье помогло. Он вместо хирурга тебе сапогом нарыв вскрыл. Будь он трижды проклят!

РИСУНОК РЕБЕНКА

Детское восприятие живо и непосредственно. Взгляд ребенка еще не замылен потоком сознания, как у взрослого, и потому фотографически точно отпечатывает в памяти яркие события с мельчайшими деталями.

По прошествии многих лет картины, наплывающие из детства, всегда волнуют душу, а порой заставляют учащенное биться сердце, и от воспоминаний перехватывает дыхание.

«Армавир – город чудес», – говорит мама и прижимает меня, пятилетнего мальчика, к своей груди. Эту фразу я слышу уже не первый раз. Мы лежим, одетые, в одной кровати, а сверху на нас навалено все, что может хоть как-то согреть, вернее, сохранить тепло наших тел.

В комнате чуть выше ноля, крошечная тьма, каганец давно погас, а в желудках привычно ноющая пустота.

«Засыпай скорей, сынок, – вместо колыбельной шепчет мама. – Бог даст, не пропадем, мир не без добрых людей. Жизнь нас бьет, но не добивает».

И правда, чудо заключается в том, что вот уже более полугодом мы выживаем в оккупированном немцами Армавире, где у нас нет ни родных, ни знакомых. Две песчинки, занесенные сюда с потоком беженцев из Ростова-на-Дону. Мы уже трижды меняли место жительства и теперь нашли приют возле Главпочтамта, в бывшем купеческом двухэтажном доме, который в результате довоенных уплотнений превратился в коммунальные соты с общими удобствами на первом этаже. Мы ютимся в маленькой комнате, брошенной законными хозяевами.

На дворе январь 1943 года. Немцы продолжают хозяйничать в Армавире, но возникает ощущение, что у них что-то разладилось. Потускнел лоск офицерских мундиров, солдаты не так старательно приветствуют на улицах старших по званию, но, главное, изменилось выражение глаз завоевателей: все чаще собственные взоры они обращают внутрь себя. Теперь наши бомбят военные объекты в городе покруче, чем это делали оккупанты, когда захватывали город.

На почте у немцев, вероятно, был узел связи, и потому бомбардировщики не обходили стороной район, где мы жили. Со злорадным удовольствием жильцы дома наблюдали, как немцы, услышав сигнал воздушной тревоги, кидались в укрытие наподобие обезумевших тараканов. Поскольку падающие с неба бомбы взрывались вовсе не по системе опознавания «свой–чужой», то приходилось прятаться всем. Бомбоубежищем для нас служила пустая угольная яма при маленькой котельной, которая давно не работала. Спускались в яму по лестнице-стремянке. Кто оказывался последним, задвигал за собой тяжелую чугунную крышку люка, которая была отлита еще при царском режиме. Люди прижимались к стенкам ямы, а наверху нарастал тяжелый, давящий гул самолетов, а затем начиналась свистопляска: выло, тарак-

тело, ухало так, что дрожала земля. Тяжелая крышка люка отбивала лихорадочную дробь, а то и с монетным звоном сигала вверх, как будто великан ударял ее игровой битой. Было страшно, но всех не покидала мысль, что не может случиться такой несправедливости: дожидаться конца оккупации – и погибнуть от своих.

При последнем ночном налете в яму буквально свалился худой и нескладный немец. Он не задвинул за собой крышку люка и остался стоять возле лестницы. Адский шум бомбежки оглушительно ворвался внутрь, дохнуло жаром преисподней, маленькое убежище временами озарялось нестерпимо ярким светом, и тогда было видно искаженное страхом лицо немца, который то смотрел на небо, то затравленно оборачивался и сдавленным голосом повторял, как с заигранной пластинки, одно слово: «руэ» (спокойствие). Вероятно, он больше боялся не прямого попадания, а быть задушенным русскими под шум бомбежки.

Утром горожане увидели долгожданную картину панического бегства оккупантов. Это было что-то невообразимое. В машины и повозки забрасывались какие-то мешки, железные ящики и сейфы, пишущие машинки и даже кресла.

Все благоразумно отсиживались по домам, чтобы, неровен час, не попасть под горячую руку озлобленных завоевателей, улепетывающих восояси.

Вскоре все опустело. Возле почты остались кучи мусора, какой-то хлам, битые стекла. Ветер гонял по двору и безлюдным улицам бумагу и сор. В конце квартала горело два дома, и дым пожара застилал все пространство улицы. Слышны были автоматные очереди и треск мотоцикла. Говорили, что это немецкие факельщики с ранцевыми огнеметами разъезжают по городу и поджигают все, что осталось целым, и стреляют во всех, кто попадаетея им на пути.

Горожане в напряжении всматривались через щели туда, откуда должно было прийти долгожданное освобождение.

Неожиданно, как призраки, из дыма стали возникать неясные фигуры людей. Они приближались перебежками. В руках у них были автоматы с круглыми, как консервные банки, дисками. Все были без погон и знаков различия, в ватниках, подпоясанных ремнями. Кто-то первым рассмотрел на шапках-ушанках звездочки.

– Наши!!!

И мгновенно, как по волшебству, улица заполнилась народом. В город вошли регулярные части Красной армии. Тут же саперы приступили к своему делу, и во многих местах появились таблички «Осторожно, мины». Пока военная комендатура не взяла под контроль город, люди кинулись утилизировать бесхозные предметы всеобщего разора. Инстинкт выживания толкал их к этому.

Мы с мамой бродили возле почты, надеясь найти что-нибудь съестное. Удалось разжиться только куском портъеры и отрезком пожарного рукава. Его потом распустили на суровые нитки и долго пользовались ими для бытовых нужд.

– Смотри, – сказала мама и указала на большой развал печатной продукции.

Это были немецкие карты небольшого формата, напечатанные на глянцево мелованной бумаге, оборотная сторона которой была чистая, вполне пригодная для письма и рисования. Мама собрала большую их пачку, а я подобрал с земли химический карандаш. Все эти трофеи

мы принесли домой, и мама из куска портьеры изготовила покрывало на кровать.

На другой день после скудного завтрака я сел за колченогий стол и принялся рисовать на обратной стороне трофейной карты, а мама собиралась на дежурство в детский дом, где она нашла работу воспитателя. Немцы всех детей от четырнадцати и старше угнали на работу в Германию, а в детском доме остались только малолетки, которых как могли спасали несколько женщин.

Неожиданно к нам в дверь громко постучали. «Войдите, не заперто!» – сказала мама. В комнату вошли трое военных. Один из них – в фуражке с синим околышком.

– Капитан Лигов из военной комендатуры города, – представился он. И затем, обернувшись к двери, добавил странную фразу: – Понятых прошу войти.

Однако вместо понятых в комнату зашли тетя Лиза, которая жила в комнате напротив, и Антонина Крохина, жиличка с верхнего этажа, худая женщина с маленькой головкой. Она часто заходила к нам, постоянно жаловалась на жизнь и вечно что-нибудь занимала: то пару картофелин, то полстакана пшена, то ложку подсолнечного масла – и, как правило, забывала отдавать взятое в долг.

– Документы, – попросил Лигов.

Мама передала ему свой паспорт. Полистав его страницы, капитан нахмурился. Он увидел черный штамп городской управы с немецким орлом о приеме на работу.

– Приступайте, – приказал он своим подчиненным.

Один солдат сел за стол напротив меня и собрался что-то писать. А второй как-то замешкался, оглядывая комнату.

В комнате была одна кровать, стол, этажерка, чемодан и четыре стула. Крохина глазами показала солдату на стопку карт, сваленных под этажеркой на полу.

– Немецкие полевые карты, да еще местности, где идут военные действия, – констатировал он.

– Так, – сказал Лигов, – прошу вас, гражданка, дать ответ, где вы их взяли и кто вам поручил их сохранность?

– Господи, да ими весь двор у почтамта был услан! – в волнении ответила мама. – На обороте их можно писать, вот сыну для рисования и взяла.

Тут впервые Лигов обратил внимание на меня и мой рисунок. Я не понимал, что происходит, и, насупившись, мусолил карандаш во рту. На обороте немецкой карты был изображен финал воздушного боя. Самолет с крестами и отвалившимся хвостом уткнулся носом в землю, а сверху на него пикировал ястребок со звездами на крыльях. От него шли жирные строчки-тире пулеметных трасс.

– Хорошо ты его долбанул! – одобрительно сказал Лигов. – Летчиком стать хочешь?

– Угу. Буду бить фашистов!

– Молодец! – похвалил капитан.

Он обвел всех находящихся в комнате повеселевшим взглядом и попытожил:

– Малец делом геройским занят. Не будем ему мешать. Все, уходим. Извини, хозяйка, за беспокойство. Расти большой, сынок!

Все вышли из комнаты во двор под скрип разошедшегося паркета. Я выскочил за ними следом.

Во дворе Лигов в сердцах сказал:

– Ты что, Крохина, думаешь, нам делать нечего?! Выслужиться захотелось?! Нашла шпионку. Нагородила черт-те чего: на немцев работала, карты секретные хранит. Она в детском доме работает, сама знаешь. Сирот наших и пацаненка своего сберегла. А ты вот что, стульчики-то, которые я у тебя заметил, отнеси, откуда взяла, – на них инвентарные номера. Смотри, проверю – по статье за мародерство пойдешь. Эх, люди, люди! Неужели вам мало горя?

ПРИБЛУДА

Ни свет ни заря мама уходила на работу, а ее сын, не полных восьми лет, весь день познавал окружающий мир и был предоставлен сам себе. Мир, правда, ограничивался двором, так как существовало строгое мамино табу: на улицу без надобности не выходить и с незнакомыми людьми в разговоры не вступать.

Во дворе, в двухэтажном и одноэтажном домах, проживало восемь семей, и во всех были дети в возрасте от пяти до двенадцати лет – целый коллектив для игр и забав.

Единственным и обязательным поручением для мальчика было не пропустить хлебную развозку. Завидев ее через забор, он все бросал, надевал через плечо холщовую сумку, брал из-под чайного блюдца на обеденном столе деньги и хлебные карточки и бежал в угловой магазин.

Прежде чем зайти в него, мальчик останавливался возле повозки, запряженной старой клячей какого-то мышиного цвета, со впалыми боками и выпирающими наружу ребрами. Благодаря своему почтенному возрасту лошадь избежала реквизиции для нужд фронта и отбывала трудовую повинность в тылу. Кроме мух, которых она тщетно пыталась прогнать со своей спины вялыми взмахами хвоста, она никого не интересовала, разве что работников живодерни.

Из сомнамбулического состояния обреченной покорности ее выводило появление мальчика. Кляча поворачивала к нему голову, ноздри ее слабо трепетали, а в больших слезящихся глазах вспыхивали на миг и тут же угасали искры интереса и надежды.

Лошадь была голодна, и мальчик хорошо понимал это чувство, но ничего не мог ей предложить, кроме детского любопытства к братьям меньшим по разуму. «Как, должно быть, противно, – думал он, – целый день перекатывать во рту стальной мундштук уздечки!» – и от сочувствия к лошади у него самого на кончике языка возникал металлический привкус.

Мальчик заходил в магазин, где за прилавком хозяйничала тетя Валя. Во всех выступающих на ее теле округлостях под платьем точно было спрятано по хлебному караваю. Живот еще более увеличивал большой карман на фартуке, куда она запихивала деньги. Он выглядел как сумка у кенгуру со спрятым в ней детенышем.

– Пришел, иждивенец! – приветствовала она мальчика, и ее улыбка казалась ему кровожадной.

Тетя Валя разлепливала его пальцы, зажатые в кулачок, и забирала из него деньги и хлебные карточки. Она ловко выстригала ножницами два талончика: один, четыреста пятьдесят грамм, на работника и другой, двести пятьдесят грамм, на иждивенца.

– Положи карточки в сумку, – строго приказывала продавщица. – Смотри, не потеряй.

Само собой! Потерять карточки в военное время – это было равносильно катастрофе.

Мама строго настроено запрещала сыну отламывать куски от буханки или обгрызать ее края. Разрешалось по дороге домой съесть только довесок.

Тетя Валя так взвешивала хлеб, что всегда оставались довески разной величины.

Конечно, мальчик мог проглотить любой из них целиком, но этого не делал, а растягивал удовольствие. Как от плитки шоколада, он отламывал от довеска кусочек, разжевывал до чудесно пахнущей кашицы, смаковал ее во рту и только затем проглатывал.

Однажды от этого сладострастного занятия мальчика оторвал чей-то взгляд. Это была небольшая собачка светло-коричневого цвета, с лисьей мордочкой. Она сидела под деревом и вожделенно смотрела ему в рот. Она ни о чем не просила, а, видимо, пыталась представить, что сама проглатывает хлеб.

По рассказам старших мальчик знал, что в давние времена в бедных крестьянских семьях так пили чай с сахаром вприглядку. Грудку сахара ставили на середину стола или подвешивали к потолку. Всем можно было только смотреть на него во время чаепития и силой воображения вызывать сладость во рту.

Повинуясь какому-то внутреннему чувству, мальчик отломил кусочек от довеска и кинул его собачке. Ее реакция была столь молниеносной, что хлеб вроде испарился в воздухе. Собачка теперь смотрела на мальчика во все глаза, все еще не веря случившемуся. Он кинул ей еще кусок и еще, а сам, как замороженный, смотрел, с каким проворством псина проглатывала хлеб.

Опомнился он, когда от довеска ничего не осталось.

– Все! – разозлился мальчик на собачку и на себя. – Гуляй дальше!

Он побежал к дому, а прикормленная собачонка рванула за ним, и только калитка преградила ей путь во двор.

В течение дня мальчик несколько раз подбегал к забору и смотрел на улицу. Собачка, похожая на лисичку, и не думала уходить. Всякий раз, увидев своего благодетеля, она вежливо поднималась на лапках и приветливо виляла хвостом.

Вечером, когда мама пришла с работы и управилась с неотложными делами по дому, сын стал тянуть ее на улицу.

– Мама, – канючил он, – я нашел собачку. Она хорошая, и у нее нет хозяев. Пойдем посмотрим.

Они вышли на улицу, к несказанной радости приблудившейся собачки.

– Хорошая псина, ласковая, – сказала мама. – Ты чья? Как тебя зовут? Настоящая Каштанка!

А псина как будто понимала, что это смотрины, от которых зависит ее судьба. Она выказывала необычайное дружелюбие. Виляла всю хвостом, извивалась всем телом, повизгивала и наконец перевернулась на спину, представив на обозрение свой розовый живот – самое незащищенное место. Это был знак полного доверия к людям.

Мама колебалась, а сын усилил натиск.

– Давай возьмем. Наступает ночь. Где ей, бедной, ночевать?

... Так Каштанка – ее нарекли этим именем – обрела своих хозяев.

Свою любовь и преданность до остатка она отдала им. От мальчика она не отходила ни на шаг. Теперь он не боялся остаться дома вечером

в темной комнате. С Каштанкой ему был не страшен домовый и другие вредные потусторонние сущности, которые, по рассказам сверстников, таятся во тьме и замышляют всяческие гадости.

Однажды мама с соседками уехала в деревню менять вещи на продукты и вернулась на другой день. Утром мальчик был разбужен от торможения и строгих слов мамы: «Я же тебя просила никогда этого не делать!»

Он открыл глаза и увидел возле своего лица полбуханки хлеба, которая была обкусана по краям.

Под кроватью что-то зашевелилось. Каштанка! Это ее шкода!

Однако друг не сдал свою подружку и молча принял вину на себя. А когда «гром и молния» стихли, Каштанка вылезла из своего укрытия и долго лизала своему заступнику руки и лицо и преданно смотрела ему в глаза.

Так они жили, пока в их доме не прозвучало слово «отъезд». Мама сообщила, что Ростов освободили от немцев и она хлопочет насчет документов, чтобы вернуться к постоянному месту жительства. А вскоре были куплены билеты и названа дата отъезда. Их вещи уместились в дерматиновом чемодане, который пришлось обвязывать веревкой.

– Мама, а ты купила билет Каштанке? – спрашивал сын. – Или собакам он не положен?

Мама отводила глаза и отвечала туманно: поедет как все.

Но в день отъезда Каштанка пропала. В ужасе мальчик облазил все закоулки двора, выглядывал на улицу и призывно свистел. Ему даже показалось, что он услышал откуда-то ее приглушенный лай.

Мама торопила. В отчаянии сын заявил, что остается и без собаки никуда не поедет. Но «бунт на корабле» был подавлен, и его насильно увели на вокзал с повернутой назад головой.

Вагон, в котором им предстояло ехать, оказался теплушкой, пол которой был завален соломой. Кое-как они забрались в вагон через широкую раздвижную дверь. Мальчик неотрывно смотрел на перрон, все еще надеясь на что-то.

– Гляди, Каштанка! – радостно закричал он.

Это была она, их собачка. Каким-то неведомым образом она нашла своих хозяев.

Каштанка рванулась на крик, но строгий усатый дядька в сапогах прогнал ее: «Куда, приبلуда!? Пошла вон!»

Мальчик попытался выпрыгнуть из вагона, но мать крепко держала его, и по ее щекам катились слезы. Стриженная под ноль женщина в косынке, тоже пассажирка, гладила мальчика по голове и увещевала: «Пойми, миленький, собакам на поезде ездить нельзя. Сыпняк людей косит, карантин...»

Мальчик отталкивался от тетки, боясь потерять из вида свою собаку, а та смотрела на своих хозяев. В ее взгляде были радость и какое-то недоумение: «Почему мои хозяева в каком-то доме на колесах, а меня к ним не пускают? Скоро они спустятся вниз, и мы опять будем вместе».

Но поезд тронулся, и Каштанка, не спуская с хозяев глаз, пошла рядом с вагоном. Поезд все ускорял и ускорял ход, и собачка побежала. Скоро закончился перрон, но она продолжала бежать уже по насыпи. Но очень быстро она начала отставать и, наконец, выбившись из сил, остановилась.

Каштанка поняла, что ей не угнаться за этим страшным чудовищем на колесах, которое с ужасным грохотом навсегда увозит в неизвест-

ность ее мир. Мир несравнимых ни с чем запахов своих хозяев, по которым она безошибочно определяла их настроения, страхи и тревоги, радости и даже болезни. Никогда больше она не услышит их голоса, по интонациям которых она безошибочно определяла, что от нее хотят. Ей уже не почувствовать прикосновения их ласковых рук, перед которыми вначале замирает сердце, а затем наступает блаженство.

Мальчик между тем уткнулся лицом в солому и молча страдал, пока не забылся в тяжелом сне. Ему снилось, что он пронесит в вагон Каштанку, прячет ее в соломе и до самого места прибытия она едет никем не замеченная. То она, как сказочный персонаж, бежит рядом с вагоном без всякой усталости и все расстояния ей нипочем. И почти наяву – как на перроне в Ростове-на-Дону его встречает верная собачка и нет предела их обоюдной радости.

Однако пробуждение было тягостным. Хмурым утром под скрипы вагона, стук и скрежет колес, чей-то надсадный кашель мальчик окончательно осознал, что чуда не случится, а сам он стал не по своей воле соучастником предательства близкого существа.

Напрасно мать пыталась его успокоить. Она говорила, что Каштанка на улице не останется, что ее согласилась взять соседка, Клавдия Васильевна, которая спрятала ее у себя в квартире в момент их отъезда, что иначе поступить было нельзя, что обстоятельства бывают выше желаний людей и их привязанностей. Мальчик замкнулся в себе и не реагировал на ее слова. И только всепоглощающее время залечило боль утраты, но рубец от душевного ожога остался навсегда.

Прошло много лет, мальчик давно стал мужчиной. Теперь ему приходится принимать сложные решения, затрагивающие интересы и судьбы других людей. И в такие минуты перед его мысленным взором возникает железнодорожная насыпь и на ней удаляющийся одинокий светло-каштановый комочек приблудившейся собачки, оставленной своими хозяевами. И при всех раскладах и обстоятельствах мужчина поступает так, и только так, чтобы больше никогда не запятнать свою совесть предательством.

Александр КОВАЛЕВ

Поэт, публицист. Родился в 1949 году в Донецке. По образованию инженер-энергетик, Окончил Московский энергетический институт, доктор технических наук, профессор.

Более 30 лет профессионально работает и в литературе. автор двух десятков книг поэзии и прозы, лауреат премии Ленинского комсомола (1988) и Всероссийской литературной премии им. Б. Корнилова (2008).

Член Союза писателей России. Живет в Санкт-Петербурге.

...И КЛАВИШИ ТРОНУТЬ, И ВМЕСТЕ СВЕСТИ**Корни**

Вдруг полночью питерской белой
привиделось, кровь леденя,
летающее белое тело
летающего степью коня.

Проснулся в сознание мятежном –
откуда тот сон залетел?
Я степью не хаживал прежде,
в седле отродясь не сидел.

Тот стебель под корень отхвачен –
не сыщется даже жнивья.
Последние песни казачьи
отпели мои дедовья.

На кольском, чужом полустанке,
обочь от колючих оград
последние шапки-кубанки
с дядьями в могилах лежат.

Другие слова и мотивы
поет, собираясь, родня.
Откуда же белая грива
летающего степью коня?

...Так думалось мне одиноко
в ту долгую белую ночь.
А ночь суетилась у окон,
пыталась, как прежде, помочь.

Но в жилах – скажите на милость,
откуда?
с какой стороны? –
кровиночка странная билась,
привычные путала сны.

* * *

Всего-то и дел, что рукой дотянуться
и нужные в россыпи клавиш найти,
пока необузданный
сиюминутный
в душе не остыл,
не распался мотив.

Но, видимо, в жизни, поспешной и шалой,
такая нам выпала доля уже:
хотелось,
мечталось,
но что-то мешало
прислушаться к нежно поющей душе.

Какой-то пустяк –
сквознячок, мелочовка –
некстати по краешку прошебаршил.
А песня меж тем отболела
и смолкла,
и, может быть, лучшая песня души.

Теперь не осилить, назад не вернуться,
не вспомнить,
не вырвать –
свести не свисти.
А стоило только рукой дотянуться,
и клавиши тронуть,
и вместе свести.

Промашка

Снова в жизни случилась промашка –
перепутан с подъемом уклон.
Шел я к людям – душа нараспашку,
да не тот оказался сезон.

Подивился народ на дурашку
да по избам – из мерзлых сеней.
Эка невидаль – весь нараспашку
посередке зимы дуралей.

Ну а я повздыхал, да – под горку,
восвояси сквозь холод и глушь.
Знать, и вправду,
в стране моей горькой
не сезон для распахнутых душ.

Знать, и вправду,
не след суетиться,
и себе приказать есть резон:
пережить,
переждать,
перебиться
до иных, подходящих времен.

Так я шел через мрак снегопада,
воротник подымал до ушей.
И себе объяснял все, как надо,
и с собой соглашался уже.

Но щемило и жгло под рубашкой,
билось в ребра у левой руки,
словно что-то рвалось нараспашку
всем сезонам земным вопреки.

Лыжный след

Чей лыжный след неверный,
осторожный,
растерянный,
на всей земле один
бледнеет после утренней пороши
меж этих редких елей и осин?

Зачем он здесь,
зачем петляет ложно
где – ни жилья,
ни путного зверья?
Что ищет он,
что отыскать возможно
в такой глуши к исходу января?

А ветер кружит,
снеги намедает –
ему нет дела до чужих потерь.
Чей лыжный след?
Куда?
Зачем петляет?..
Ищи-свищи свой собственный теперь.

* * *

Пойдем мимо ветхой ограды
в осенний, заброшенный сад,
где так упоительно сладок
был первой листвы аромат.

Где в тихой тенистой аллейке,
однажды открывшейся нам,

синицы играли на флейте,
приветствуя нас по утрам.

Пойдем вдоль акаций и кленов
туда, где у сонной воды
в опавшей листве золоченой
теряются наши следы.

Туда, где с душою флейтиста
садовник еще и теперь
слетевшее золото числит
горчайшей из наших потерь.

Прозрачное

Вот и пришло опять
время пустых скворешен.
Листья сгребает мать,
пилит отец черешню.

Ходит в руке пила,
точит кору сухую –
жалко, а все ж пора,
время сажать другую.

Где-то сквозь листопад
плачет чуть слышно птица.
Ветер летит сквозь сад –
не за что зацепиться.

* * *

Как эта оттепель некстати,
нежданна и нехороша,
когда природа – на закате,
когда на паперти – душа.

Когда круженье первой вьюги
не улеглось еще окрест.
Когда смиренная округа
уже несет предзимья крест.

Когда перед остудой слепо
души мутнеют зеркала...
Как эта оттепель нелепа,
но как отчаянно смела!

Эльвира КУКЛИНА

Родилась в Нижнем Новгороде. Окончила Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского в 1989 году. Двадцать лет проработала в средней школе преподавателем литературы. Сейчас методист централизованной библиотечной системы Нижегородского района Н. Новгорода.

Стихи публиковались в журналах «Аврора», «Волга», «Смена», «Север», «Наш современник».

КАК ТОСКУ ПЕРЕПЛАВЛЯЮТ В СИЛУ...

Сентябрь

Этот день ни на что не меняй,
Ни мгновения не упусти,
Рощу рыжую, солнце, меня –
Уноси осторожно в горсти.

Воздух плотен и свеж, просто режь
На ломти – и вдыхай – и глотай!
Листопадом и облаком – меж –
Пролетай, мой сентябрь, пролетай...

На серебряной нити-струне
Пролетай, паучок-пилигрим,
Пролетай по родной стороне...
Мы с тобой – над тобой воспарим!

Рядом – кладбище. Память и тлен.
Только синь в вышине – как во сне.
Моя роща – в руне до колен,
Вышей пробы – червонном руне.

Моя речка течет – навсегда.
Моя церковь стоит – на века.
Моя роща – шумна, молода.
И сентябрь. И глаза. И рука.

* * *

Соседка мне сказала: – Дочка,
На, угостись.
...Десяток вишен из кулечка
В моей горсти.

И словно от воздушной ямы
Сердечко – вниз.
Была я дочкой лишь для мамы –
Как ни зовись...

И дочь своя у тети Нины,
И сын, и зять.
И мамой никого отныне
Нельзя назвать.

Болеро. Памяти Н. Заболоцкого

О болеро, священный танец боя!
Н. Заболоцкий

Всё начиналось мирно. Духовые
Вели мотив, а барабан стучал.
Услышав эту музыку впервые,
Иной почти дремал бы и скучал.

Но звук всё рос – неспешно, постепенно,
Как снежный ком. Тревожный, властный звук.
И как судьбы бетховенская тема,
Долбил ударник, не жалея рук.

Зануда-барабан, стукач упорный,
Вершил усердно свой ударный труд.
Он знал, что все гобой и валторны
Слоновым стадом бешено взревет.

В том реве будут – горечь и бессилье,
Предчувствие кончины роковой.
Какие хабанеры-сегидильи?
То будет скорбный похоронный вой...

А помните, как мирно начиналось?
Равель нас убаюкивал почти –
Чтоб беспощадно, позабыв про жалость
К невольному прозренью подвести:

Всё оборвется на высокой ноте –
С размаху рухнет доблестный герой,
С оружием в руках, в крови и поте –
Не завершив последний славный бой...

Так, к роковому приближаясь сроку.
Поэт, еще не ведая того,
Чуть щурясь (от очков немного проку),
Пред зеркалом намыливает щёку –
В минуте от бессмертья своего.

* * *

Как тоску переплавляют в силу?
 Господи, ответь.
 ...Как-то в бане женщина спросила:
 – Спину потереть?
 Славно тёрла лыковым мочалом –
 Пена до ушей.
 Всё о чём-то думала, молчала –
 Что там на душе?
 Под конец водичкой окатила
 Щедрою рукой –
 Чтобы на неделю мне хватило
 Чистоты такой.
 И, мочало в шайку опуская,
 Молвила одно:
 Дочка у меня была такая.
 Померла давно.
 Промолчала я. А что добавить?
 ...Господи, позволь.
 Помоги мне тоже переплавить
 В чью-то радость – боль.

Июль. Город

Сквозь веток тесное сплетенье
 Вдали синее дымка крыш –
 И возникает ощущение,
 Что ты на озеро глядишь.

Почти деревня: разнотравье
 И этот призрак озера...
 И меж иллюзией и явью
 Граница призрачно хрупка.

На время город размыкает
 Объятий потное кольцо,
 Но зазевайся – и поймает,
 Дыша реальностью в лицо.

* * *

...А я б узнать тебя могла,
 Наверно, через пять столетий,
 Но не развяжешь ты узла,
 Где ты и я – и кто-то третий.
 Как ни беги, что ни меняй –
 Не продохнуть, не отключиться,
 Ведь этот узел у меня
 На шее – в ямке над ключицей.

* * *

Счастливая, в коротком плащике,
Ты мне помашешь, уходя...
А через месяц в темном ящике
Тебя забудут на три гвоздя.

Когда ж отскочит в глину скользкую
Четвертый, скорчившийся гвоздь,
Не выдержу – и память скомкаю
Платочком, вымокшим насквозь.

И только гвоздик скособоченный
Перед глазами всё стоит...
Те три – в сосновый гроб вколочены.
В меня
 четвертый этот
 вбит.

* * *

Как под снегом копит силы озимь.
Чтоб пробиться в свой урочный час,
Так улыбка женская сквозь слезы
Проступает, солнечно лучась.

Сердце как подранок издыхает,
Корчится, пробито тут и там,
Но – улыбка женская порхает
По ещё измученным чертам...

Евгений ОВСЯННИКОВ

Родился в 1963 году в городе Глазове Удмуртской АССР. Окончил факультет романо-германской филологии Удмуртского государственного университета. Переводчик-фрилансер.

Стихи публиковались в глазовском литературном альманахе «Галерея» (№5, 2000 г.) и поэтическом альманахе «Берег» (г. Глазов, 2002). Лауреат I степени Пятого юбилейного фестиваля авторской песни «Музыка сердец» в номинации «Автор стихов» (2014.). Живёт в Нижнем Новгороде.

ВЫБЕРИ ВЕК И ДОМ, ГДЕ ПРОСНУТЬСЯ СНОВА...

Никогдабрь

Это месяц твой – Никогдабрь,
 Это город твой – Навсегдад.
 Это в горних чертогах – дождь,
 а на твёрдой земле – вода.

Где листвы был обрушен флёр,
 Амальгама сошла с небес,
 Серебря зеркала озёр,
 Паутинкой стянула лес.

То ли сплин в ребро, то ли бес, бес-
 козырная дама тьмы,
 С каждым вздохом теряя вес,
 Испаряются наши сны.

В слюдяном окошке рассвет.
 Час сиреневый. Всё как встарь.
 Белый жемчуг далёких лет.
 Это месяц твой – Никогдабрь.

Нет солнца этому миру

Нет солнца этому миру, и нет ему тени,
 Пока ты взлетаешь вверх, минуя мосты, ступени,
 Узрев под застывшим дождём, что шёпотов нет и песен,
 Что слишком велик простор и тем уже тесен,

Что встречный ветер захлёб – текуч, ну а воздух – вязок,
 Что реперов нет, маяков и вех и иных привязок,
 Ведь рад бы упасть, запнуться, застрять на строке отточий,
 Но нет: всё – сим-салабим, а не авва отче.

Так выбери век и дом, где проснуться снова,
Примерить – веночек лавровый? венец терновый?
И солнцем стать для кого-то (живущим, жившим?)...

В мире без тени, под этим дождем застывшим.

Чиж мой деревянный

В туман, как сталкер, вброд ступая, уходит лес,
Он в кружелях тенёт истаял, во мгле исчез,

В эфирных прядях хлорофилла, в узорах жил,
«Куда попал ты, робин крузо, и где ты был?»

До родникового соседства, до естества,
Щекочет нос от пуха детства – едва-едва,

Где одуванчики хмельные, пыльца дерев,
И цвет шафрана и кипрея, и львиный зев,

И шмель, качавшийся на вербе, в янтарный дром
С последним чеховским Ich sterbe... ушёл добром,

И деревянный чиж, летящий через года,
Мальчишкой брошенный, попавший ко мне, сюда.

Первопуток

Ты эхо той звенящей тишины,
Что возникает перед первым звуком –
Быть может, метронома мерным стуком,
А может быть – дрожанием струны.

И белый шум, и вечные снега,
По первопутку вдаль скользящий полоз,
И голос... нет, пусть позже будет голос,
За кадром, а пока – лишь берега,

На дни и мили длинные поля,
Вернее, то, что было берегами,
И не зима, а осень бело знамя
Повесила, укрыта им земля,

Урочища, где пепел очагов
Под слоем обжигающего снега,
Как касса букв ледовых и слогов –
Речная дельта, альфа и омега.

Николай БЕНЕДИКТОВ

Российский политический деятель, писатель, философ. Родился в 1949 году в Горьком. Окончил историко-филологический факультет Горьковского государственного университета. Доктор философских наук, профессор кафедры социальной философии Нижегородского госуниверситета. Избирался депутатом Государственной думы третьего и четвертого созывов.

Автор ряда книг, в том числе «Русские святые» (Москва, 2003) – о системе ценностей русского народа. Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

**ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕВРОПЫ
ПРИДЕТ ИЗ РОССИИ****Пушкин об историческом и культурном пути Отечества**

А.С. Пушкин – мыслитель, а не только «сладкопевец». Эта мысль все меньше встречает возражений и все больше сторонников. Великое явление русского духа Пушкин размышлял о сути человека, его истории, развитии разных стран и, конечно, о России. И если самобытную русскую философию начинают нередко с Чаадаева, то уж придется скорее признать первым самобытным или одним из первых Пушкина.

На самом деле, Чаадаев заговорил о сути русской истории в первую очередь с предельно западной точки зрения. Эта точка зрения не исчерпывает полностью его воззрений, однако именно ее публикация превратила Чаадаева в фигуру весьма преувеличенного масштаба. Нетрудно понять, что западная точка зрения вряд ли может считаться началом русской философии. Скорее наоборот: началом может считаться отрицание нерусской точки зрения, которая выражена обоснованными суждениями об истории, утверждающими иную, в данном случае русскую, точку зрения. А в таком случае – это Пушкин. Мысль, к сожалению, не очень привычная, и непривычность эта объясняется, видимо, двумя обстоятельствами. Пушкин в массовом сознании представляется сказочником, поэтом, легким человеком, повесой, дуэлянтом и т. п.

Другой ряд ассоциаций, связанных с Пушкиным, – писатель, редактор, мыслитель, философ, властитель дум, публицист, критик – этот ряд принадлежит сознанию очень узкого круга людей – исследователей. Однако вряд ли можно ограничиваться первым массовым рядом ассоциаций, ведь Пушкин есть и человеческая, и профессиональная

задача нашей литературы, как выразился П.В. Палиевский, и русский человек в его развитии через 200 лет по словам Н.В. Гоголя. Отсюда и тема нашего исследования: Пушкин и философия истории. Тема касается столь многого, что не может быть раскрыта в одной статье. Однако мы можем обозначить ключевые подходы Пушкина, выделить важное и неважное, выявить его оценки. Думается, важно выписать мысли Пушкина его прямыми текстами, а не считать произнесенное героями произведений словами самого Пушкина. У каждого свой – «мой» (М. Цветаева) Пушкин, однако это не весь Пушкин, а то лишь, что М. Цветаева или какой-либо иной читатель воспринял из громадного пушкинского мира. Поэтому важно прямую речь Пушкина (мыслителя, теоретика, редактора, публициста, философа, историка) четко обозначить, а уже во-вторых, через выявленные очертания его мировоззрения, изучать его художественные произведения. В данном случае вторая часть задачи останется вне рамок данной статьи.

Пушкин о русском слове

Первое требование к русскому слову дается у Пушкина в статье «О прозе»: «Точность и краткость – вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей – без них блестящие выражения ни к чему не служат. Стихи дело другое (впрочем, в них не мешало бы нашим поэтам иметь сумму идей позначительнее, чем у них обыкновенно водится...)» (VI, 10–11). Здесь, как и далее, цитируется собрание сочинений А.С. Пушкина издательства «Правда», М., 1981. Римская цифра – номер тома, а арабские – страницы. И Пушкин смеется над теми, кто «никогда не скажут *дружба*, не прибавляя: сие священное чувство, ко-его благородный пламень и пр. Должно бы сказать: рано поутру – а они пишут: "Едва первые лучи восходящего солнца озарили восточные края лазурного неба" – ах как это все ново и свежо, разве оно лучше потому только, что оно длиннее» (VI, 10).

Краткость вовсе не означает отсутствия пластичности. Пушкин очень гордится возможностями русского языка: «Как материал словесности, язык славяно-русский имеет неоспоримое преимущество перед всеми европейскими: судьба его была чрезвычайно счастлива. В XI веке древний греческий язык вдруг открыл ему свой лексикон, сокровищницу гармонии, даровал ему законы обдуманной своей грамматики, свои прекрасные обороты, величественное течение речи; словом, усыновил его, избавляя таким образом от медленных усовершенствований времени. Сам по себе звучный и выразительный, отседе заимлет он гибкость и правильность».

И далее Пушкин продолжает разговор о других возможных влияниях на русский язык: «Чуждый язык распространяется не саблею и пожарами, но собственным обилием и превосходством. Какие же новые понятия, требовавшие новых слов, могло принести нам кочующее племя варваров, не имевших ни словесности, ни торговли, ни законодательства? Их (татар. – *Н.Б.*) нашествие не оставило никаких следов в языке образованных китайцев, и предки наши, в течение двух веков стоная под татарским игом, на языке родном молились русскому богу, проклинали грозных властителей и передавали друг другу свои сетования, едва ли полсотни татарских слов перешло в русский язык. Войны литовские не имели также влияния на судьбу нашего языка... В царствование Петра I

начал он приметно искажаться от необходимого введения голландских, немецких и французских слов. Сия мода распространяла свое влияние и на писателей, в то время покровительствуемых государями и вельможами; к счастью, явился Ломоносов» (VI, 18–19).

Что же замедляет ход нашего духовного развития? По мнению Пушкина: «Причинами, замедлившими ход нашей словесности, обыкновенно почитаются: 1) общее употребление французского языка и пренебрежение русского. Все наши писатели на то жаловались, – но кто же виноват, как не они сами. Исключая тех, которые занимаются стихами, русский язык ни для кого не может быть довольно привлекателен. У нас еще нет ни словесности, ни книг, все наши знания почерпнули мы в книгах иностранных, мы привыкли мыслить на чужом языке; просвещение века требует важных предметов размышления для пищи умов, которые уже не могут довольствоваться блестящими играми воображения и гармонии, но ученость, политика и философия еще по-русски не изъяснялись – метафизического языка у нас вовсе не существует; проза наша так еще мало обработана, что даже в простой переписке мы принуждены *создавать* обороты слов для изъяснения понятий самых обыкновенных; и леность наша охотнее выражается на языке чужом, коего механические формы уже давно готовы и всем известны» (VI, 12; см. также: VI, 21).

Как видим, для Пушкина ключ вопроса в том состоит, что сферы жизни (ученость, политика, философия) и сама обыкновенная жизнь не создали нужные нам обороты слов, не отразились в достаточной степени в словах.

Пушкин-патриот

Пушкин больно переживает за русский народ: «вечный предмет невежественной клеветы писателей иностранных» и добавляет: «Уважен хочешь быть, умеи других уважить» (VI, 15–17). Эта мысль у Пушкина появляется многократно, она обдумана в разных вариантах, он много раз возвращается к разным сторонам этой темы: «Простительно выходцу не любить ни русских, ни России, ни истории ее, ни славы ее. Но не похвально ему за русскую ласку марать грязью священные страницы наших летописей, поносить лучших сограждан и, не довольствуясь современниками, издеваться над гробами праотцев» (VI, 125–126). Пушкин отстаивает достоинство русского народа и свое собственное, размышляет над нашей леностью и своей (при его трудолюбии нетрудно заметить, что это явное преувеличение и излишне строгий подход к себе). Пушкин пытается обозначить место русского народа в истории, оценить различные влияния и возможности дальнейшие.

Пушкин о французском влиянии

Для Пушкина переоценка французского влияния и роли французской культуры была весьма кардинальной.

Напомню, что он начал говорить на французском языке, а потом научился говорить на русском. Его кличка в Лицее была Француз. Дворяне в основном владели французским языком. Французская культура выступала как законодатель мод. Однако Отечественная война 1812

года с французами привела к великой переоценке этой части Европы. Франция в то время нередко выступала синонимом высшей, европейской, цивилизации и культуры. Пушкин оценивает XVIII век как век торжества французской культуры, «когда все возвышенные умы следуют за Вольтером» и его «разрушительный гений» привел к тому, что «старое общество созрело для великого разрушения» (VI, 210–211).

Какова же роль Франции, ее культуры, Европы вообще?

«Европа в отношении к России всегда была столь же невежественна, как и неблагодарна» (VI, 206), – пишет Пушкин, имея в виду спасение Европы от монголо-татарского нашествия. Мы сегодня можем добавить, что чувства благодарности не добавилось у Европы после спасения ее русскими от Наполеона и Гитлера, впрочем, как и у США после русской помощи в освобождении от английского владычества и помощи Линкольну.

Весьма резко Пушкин оценивает французскую культуру, которая господствовала в XVIII веке.

Так, по его мнению: «Французская словесность родилась в передней и далее гостиной не доходила» (VI, 43), или «Всем известно, что французы народ самый антипоэтический» (VI, 177). Даже для лучших французских писателей чувство изящного «чуждо и непонятно» (там же). Оценки французской литературы, словесности, философии, по Пушкину: «ничтожность», «натянутасть и манерность», «тошная и вялая», «посредственная» (там же), «холодный скептицизм французской философии» с ее «упойтельными и вредными мечтаниями, которые имели столь ужасное влияние на лучший цвет предшествующего поколения» (VI, 186). Люди с талантами, по мнению Пушкина, были поражены «ничтожностью и, должно сказать, *подлостью* французского стихотворства» (VI, 208). Все попытки принципиально изменить положение во французской словесности были тщетны: «Такова участь, ожидающая писателей, которые пекутся более о наружных формах слова, нежели о мысли, истинной жизни его, не зависящей от употребления!» (там же).

В результате в XVIII веке мы видим философию, чьим главным и любимым орудием стали «ирония холодная и осторожная и насмешка бешеная и площадная» и гений века Вольтер излился в «цинической поэме, где все высокие чувства, драгоценные человечеству, были принесены в жертву демону смеха и иронии, греческая древность осмеяна, святыня обоих заветов обругана...» (VI, 210). Вольтер «не имел самоуважения и не чувствовал необходимости в уважении людей» (там же, 278). Пушкин в достаточной резких словах отзывается о французской философии ушедшего века: «Нам уже слишком известна французская философия 18-го столетия; она рассмотрена со всех сторон и оценена», и дает оценку на примере влиятельного Гельвеция: «холодный и сухой», «пошлая и бесплодная метафизика» (там же, 232), «скептицизм Вольтера, филантропия Руссо, политический цинизм Дидрота и Реналья» (там же, 237–238).

Итак, век XVIII для Пушкина есть век французский и принесший свои плоды в виде войн Наполеона, которые несли страшную опасность России. Суть этого века, по его мнению, античеловеческая, разрушительная, циническая, сухая, холодная, площадная, демоническая, и в ней нет беспокойства о мысли и об истинной жизни, о святынях. Все это проповедовалось в итоге «с высоты гильотины при гнусных рукоплесканиях черни» и было «*Ужасом*» (там же, 236). Как известно,

Достоевский в своей известной речи о Пушкине говорил: «О, народы Европы и не знают, как они нам дороги!»

Действительно, не знают и знать не хотят. И Пушкин это понимал.

Повторю слова о якобы «дорогой» его сердцу Европе-Франции: гнусная, бесплодная, холодная, сухая, пошлая, циническая, бешеная, площадная, подлая, вредная, посредственная, тощая и вялая, анти-поэтическая, натянутая, манерная, невежественная и неблагодарная! Говорят ли такие слова о дорогом, о святыне?! Достоевский явно приписал свое искаженное мнение Пушкину. Александр Сергеевич же словно видел европейское влияние на майдане в Киеве, видел убийства детей на Донбассе, видел, наконец, Кончиту Вурст и карикатуры «Шарли»!

Пушкин о немецком влиянии

Иное отношение у Пушкина к германской философии того времени. Как все помним, в то время немецкая философия была высшим достижением человечества: «влияние ее благотворно», хотя она «нашла в Москве, может быть, слишком много молодых последователей» (там же, 186, 187, 270).

Романтизм кажется Пушкину много более живым смыслом жизни, хотя эти «другие мысли, столь же детские, другие мечты, столь же несбыточные, заменили мысли и мечты учеников Дидрота и Руссо, и легкомысленный поклонник молвы видит в них опять и цель человечества, и разрешение вечной загадки, не воображая, что в свою очередь они заменятся другими» (там же, 232).

Пушкин о сути западного общества и Америке

Свет будущего не видится Пушкину ни во Франции, ни в Германии, ни в Англии: «Фонвизин, лет за пятнадцать пред тем путешествовавший по Франции, говорит, что, по чистой совести, судьба русского крестьянина показалась ему счастливее судьбы французского земледельца. Верю. ...Судьба французского крестьянина не улучшилась в царствование Людовика XV и его преемника...

Прочтите жалобы английских фабричных работников: волосы встанут дыбом от ужаса. Сколько отвратительных истязаний, непонятных мучений! какое холодное варварство с одной стороны, с другой какая страшная бедность! Вы подумаете, что речь идет о строении фараоновых пирамид, о евреях, работающих под бичами египтян. Совсем нет: дело идет о сукнах г-на Смита или об иголках г-на Джаксона. Кажется, что нет в мире несчастнее английского работника, но посмотрите, что делается там при изобретении новой машины, избавляющей вдруг от каторжной работы тысяч пять или шесть народу и лишаящей их последнего средства к пропитанию» (там же, 195). Такова Европа, но оценкой ее Пушкин не ограничился.

«С некоторого времени Северо-Американские Штаты обращают на себя внимание людей наиболее мыслящих, — пишет Пушкин. — Не политические происшествия тому виною: Америка спокойно совершает свое поприще, доныне безопасная и цветущая, сильная миром,

упроченным ей географическим ее положением, гордая своими учреждениями. Но несколько глубоких умов в недавнее время занялись исследованием нравов и постановлений американских, и их наблюдения возбудили снова вопросы, которые полагали давно уже решенными. Уважение к сему новому народу и к его уложению, плоду новейшего просвещения, сильно поколебалось. С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую – подавленное неумолимым эгоизмом и страстию к довольству (comfort); большинство, нагло притесняющее общество; рабство негров посреди образованности и свободы; родословные гонения в народе, не имеющем дворянства; со стороны избирателей алчность и зависть; со стороны управляющих робость и подобострастие; талант, из уважения к равенству, принужденный к добровольному остракизму; богач, надевающий оборванный кафтан, дабы на улице не оскорбить надменной нищеты, им втайне презираемой; такова картина Американских Штатов, недавно выставленная перед нами.

Отношения Штатов к индийским племенам, древним владельцам земли, ныне заселенной европейскими выходцами, подвергались также строгому разбору новых наблюдателей. Явная несправедливость, ябеда и бесчеловечие американского Конгресса осуждены с негодованием...» (VII, 161).

Пушкин о мировом значении России

Какой видится Россия и ее роль и значение Пушкину?

Вот малоиспользуемое высказывание: «Освобождение Европы придет из России, потому что только там совершенно не существует предрассудков аристократии. В других странах верят в аристократию, одни, презирая ее, другие, ненавидя, третьи из выгоды, тщеславия и т. д. В России ничего подобного. В нее не верят» (VI, 393), тем более что, по словам Пушкина, «высшее общество, как справедливо заметил один из новейших писателей, составляет во всей Европе одно семейство» (там же, 209).

Но Россия не похожа на Европу. Пушкин отмечает эту мысль особо: «Поймите же и то, что Россия никогда ничего не имела общего с остальною Европою; что история ее требует другой мысли, другой формулы, как мысли и формулы, выведенные Гизотом из истории христианского Запада. Не говорите: *иначе нельзя было быть*. Коли было бы это правда, то историк был бы астроном и события жизни человечества были бы предсказаны в календарях, как и затмения солнечные. Но провидение не алгебра. Ум человеческий, по простонародному выражению, не пророк, а угадчик, он видит общий ход вещей и может выводить из ононого глубокие предположения, часто оправданные временем, но невозможно ему предвидеть *случая*. – мощного, мгновенного орудия провидения» (там же, 99–100).

Но это вовсе не значит, что Россия не имеет своей значительности в истории.

В споре с Чаадаевым Пушкин пишет: «Но у нас было свое особое предназначение... Нашим мученичеством энергическое развитие католической Европы было избавлено от всяких помех... У греков мы взяли евангелие и предания, но не дух ребяческой мелочности

и словопрений. Нравы Византии никогда не были нравами Киева. Наше духовенство, до Феофана, было достойно уважения, оно никогда не пятнало себя низостями папизма и, конечно, никогда не вызвало бы реформации в тот момент, когда человечество больше всего нуждалось в единстве... Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться. Войны Олега и Святослава и даже удельные усобицы – разве это не та жизнь, полная кипучего брожения и пылкой и бесцельной деятельности, которой отличается юность всех народов? Татарское нашествие – печальное и великое зрелище. Пробуждение России, развитие ее могущества, ее движение к единству (к русскому единству, разумеется), оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в Угличе и закончившаяся в Ипатьевском монастыре, – как, неужели все это не история, а лишь бледный и полузабытый сон? А Петр Великий, который один есть целая всемирная история! А Екатерина II, которая поставила Россию на пороге Европы? А Александр, который привел нас в Париж? ... Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора – меня раздражают, как человека с предрассудками – я оскорблен, – но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам бог ее дал» (X, 336–337).

Вот эта мысль Пушкину была столь нужна и важна, что он возвращался к ней много раз: «Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность от дикости: кочующие племена не имеют ни истории, ни дворянства» (VI, 155); «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие. ... Предрассудок сей, утвержденный демократической завистью некоторых философов, служит только к распространению низкого эгоизма. Бескорыстная мысль, что внуки будут уважены за имя, нами переданное, не есть ли благороднейшая надежда человеческого сердца?» (там же, 39–40).

И Пушкин с гордостью описывал своих предков и при этом разъянял свою позицию: «Но что есть общего между привязанностью лорда к своим феодальным преимуществам и бескорыстным уважением к мертвым прадедам, коих минувшая знаменитость не может доставить нам ни чинов, ни покровительства? ... Но от кого бы я ни происходил – от разночинцев, вышедших во дворяне, или от исторического боярского рода, одного из самых старинных русских родов, от предков, коих имя встречается почти на каждой странице истории нашей, образ мнений моих от этого никак бы не зависел; и хоть нигде доньше я его не обнаруживал и никому до него нужды нет, но отказываться от него я ничуть не намерен.

Каков бы ни был образ моих мыслей, никогда не разделял я с кем бы то ни было демократической ненависти к дворянству. Оно всегда казалось мне необходимым и естественным сословием великого образованного народа. ... Дикость, подлость и невежество не уважает прошедшего, пресмыкаясь пред одним настоящим. ... Конечно, есть достоинства выше знатности рода, именно: достоинство личное, но я видел родословную Суворова, писанную им самим; Суворов не презирал своим дворянским происхождением.

Имена Минина и Ломоносова вдвоем перевесят, может быть, все наши старинные родословные. Но неужто потомству их смешно было бы гордиться сими именами» (там же, 134–135).

Пушкин о Радищеве

Показательным для Пушкина является его отношение к Радищеву, из-за чего Пушкин даже написал полемическое произведение «Путешествие из Москвы в Петербург». Радищев, как известно, революционер, Пушкин же считает: «Лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от одного улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества...» (там же, 196). Однако это вовсе не значит, что Пушкин выступает за рабство. Так, приведя большую выдержку из сочинения Радищева о рабстве, Пушкин добавляет: «Следует картина, ужасная тем, что она правдоподобна. Не стану теряться вслед за Радищевым в его надутых, но искренних мечтаниях... с которыми на сей раз соглашаюсь поневоле...» (там же, 201). И все же основная тональность отношения к Радищеву другая: «Мы никогда не почитали Радищева великим человеком. Поступок его всегда казался нам преступлением, ничем не извиняемым, а «Путешествие в Москву» весьма посредственной книгой; но со всем тем не можем в нем не признать преступника с духом необыкновенным; политического фанатика, заблуждающегося, конечно, но действующего с удивительным самоотвержением и с какой-то рыцарскою совестливостью» (там же, 234). О философии Радищева Пушкин пишет так: «Умствования его пошлы и не оживлены слогом» (там же, 236). И далее о главном произведении Радищева: «Очень посредственное произведение, не говоря даже о варварском слоге. Сетования на несчастное состояние народа, на насилие вельмож и проч. преувеличены и пошлы. ...В Радищеве отразилась вся французская философия его века...» (там же, 237). Радищев «есть истинный представитель полупросвещения. Невежественное презрение ко всему прошедшему, слабоумное изумление перед своим веком, слепое пристрастие к новизне, частные поверхностные сведения, набум приносившие ко всему... влияние его было ничтожно... ибо нет убедительности в поношениях, и нет истины, где нет любви» (там же, 238).

Пушкин совершенно не согласен с оценками Радищева о положении русского крестьянина в сравнении с западными мерками. Описав положение французов и англичан, Пушкин пишет: «Повинности вообще не тягостны. Подушная платится миром; барщина определена законом; оброк не разорителен (кроме как в близости Москвы и Петербурга, где разнообразие оборотов промышленности усиливает и раздражает корыстолюбие владельцев). Помещик, наложив оброк, оставляет на произвол своего крестьянина доставать оный, как и где он хочет. Крестьянин промышляет чем вздумает и уходит иногда за 2000 верст выработать себе деньгу... Злоупотреблений везде много; уголовные дела везде ужасны.

Взгляните на русского крестьянина: есть ли и тень рабского унижения в его поступи и речи? О его смелости и смысленности и говорить нечего. Переимчивость его известна. Проворство и ловкость удивительны. Путешественник ездит из края в край по России, не зная ни одного слова по-русски. И везде его понимают, исполняют его требования, заключают с ним условия. Никогда не встретите вы в нашем народе того, что французы называют *un badaud* (ротозей. – Н.Б.); никогда не заметите в нем ни грубого удивления, ни невежественного

презрения к чужому. В России нет человека, который бы не имел своего *собственного жилища*. Нищий, уходя скитаться по миру, оставляет *свою избу*. Этого нет в чужих краях. Иметь корову везде в Европе есть знак роскоши; у нас не иметь коровы есть знак ужасной бедности. Наш крестьянин опрятен по привычке и по правилу: каждую субботу ходит он в баню; умывается по нескольку раз в день... Судьба крестьянина улучшается со дня на день по мере распространения просвещения...» (там же, 195–196).

Пушкин и сегодня живее всех живых, он все увидел и все понял, именно поэтому он казался Гоголю русским человеком в его развитии через 200 лет. Его мнение – это не мнение, а предсказание. Его суждения должно изучать и не ограничиваться при этом его поэтическими или художественными произведениями.

Поэт в России больше, чем поэт, а Пушкин в России много больше, чем поэт...

Культурный код

Андрей БОЧКАРЕВ

Родился в 1955 году в Казани. Окончил переводческий факультет Горьковского государственного педагогического института иностранных языков.

Доктор Парижского университета Сорбонна (Париж IV), доктор филологических наук, профессор кафедры прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» (Нижний Новгород).

Сфера научных интересов: семиотика языка, литературы и искусства.

Автор книг: «Растительный мотив в творчестве Марселя Пруста» (1998), «Семантический словарь» (2003), «В поисках смысла. Живопись В. Грачева» (2004), «Эпистемологические аспекты значения» (2007), «Русское в русском искусстве. XVIII–XX вв.» (2007), «Семантика. Основной лексикон» (2014).

Живет в Нижнем Новгороде.

НОВАТОРЫ VS АРХАИСТЫ: ЭВОЛЮЦИЯ ИЛИ ДЕГРАДАЦИЯ? О понятии культуры и культурной экологии

Культура – гетерогенное полифункциональное целое. Под понятие культуры можно подвести самые разнообразные явления – и нормы бытового поведения, и язык, и произведения литературы и искусства, и национальные традиции, обычаи и обряды, и социальные и политические институты, и хранимые в памяти схемы повседневного опыта. При, казалось бы, разительном отличии общим для всех областей и реализаций культуры остается вместе с тем общность культурного кода, кода памяти, как и брошенный экологии культуры вызов – коммерциализация, засорение псевдокультурными симулякрами и пастишами, разрушительная трансгрессия постмодернистских реинтерпретаций.

В связи участвовавшими в последнее время разговорами о культуре, культурном пространстве, культурных кодах, отношении культуры к идеологии, роли государства в регулировании культурных процессов нелишне разобраться, что такое культура, можно ли отнести сюда, помимо духовных благ, и материальные блага или, довольствуясь научно-техническим прогрессом, обойтись вообще без того, что называют обычно культурой.

Подобные вопросы возникают периодически на сломках исторических эпох, когда традиционная культура, покидая область предсказуемости, становится с увеличением степеней свободы хаотически

непредсказуемой, теснится не-культурой, превращается в товар или, что не менее симптоматично, подменяется псевдокультурными симулякрами, пастишами и постмодернистскими реинтерпретациями. Чем больше таких выпадающих из привычного культурного ряда событий и фактов, тем больше ощущение возрастающего хаоса – «вторичного исторического хаоса».

Определения культуры. Определений культуры много, как много и вкладываемых в определяемое понятие смыслов*. Под культурой можно понимать и разнообразные ее реализации в виде засвидетельствованных в общественной практике произведений, действий и поступков, и построенную на их основе исторически подвижную нормативную реконструкцию в статусе возведенной в абсолюте инвариантной модели**.

В качестве эмпирически данных фактов культура существует в виде конкретных своих проявлений: верований, обрядов, литературных текстов, музыкальных произведений, устного народного творчества, памятников архитектуры, рецептов национальной кухни и т. п., в качестве концептуального каркаса фильтрует заданные на разных предметных областях наиболее значимые для всех реализаций специфически «культурные» свойства и функции: регламентировать межличностные отношения, обладать способностью к символизации, быть программой поведения, ненаследственной памятью коллектива, социальным механизмом координации, средоточием национальной памяти, связующим звеном между прошлым и будущим и т. д. И даже когда какое-то привлекаемое для разбора явление расходится с этими принципами, всякое отклонение трактуется неизбежно как подтверждение общего правила. Например, использование нецензурной лексики в произведениях литературы и кино, телевизионных передачах или речевом обиходе чиновников подтверждает а *contrario* требования к литературной норме, переход проезжей части на красный свет – требование соблюдения правил дорожного движения, неумение пользоваться вилок и ножом – требования к этикету, сервировке стола и т. п.

Культура vs не-культура. Во всех случаях подводимые под культуру явления складываются в некие особым образом организованные множества, а точнее: подмножества, образованные по какому-то избираемому по случаю общему признаку. По данному признаку одна культурная парадигма отличается, как «свой» от «чужого», от другой культурной парадигмы. По справедливому замечанию Ю.М. Лотма-

* Восходя к лат. *cultura*, культура определяется в ближайшем этимологическом значении по такому весьма примечательному для определяемого понятия свойству, как возделывание, обработка, уход: ср. *сельскохозяйственные культуры*. В этом смысле культура противостоит природе, прежде всего необработанной, как «вторая природа». К другим определениям см., в частности, Антология исследований культуры. Т. 1. Интерпретации культуры. СПб.: Университетская книга, 1997.

** В этом смысле можно, безусловно, говорить, что «культура вообще» – это абстракция, полученная путем отвлечения от несущественных с точки зрения идеальной модели свойств с целью выделения наиболее релевантных свойств, которыми обладают по определению все или почти все культурные реализации. В противном случае нельзя понять, почему некоторые западные культурологи, в том числе А.Л. Крёбер и К. Клакхон, утверждают, что «культура есть не само поведение, а его абстракция» (Л.А. Уайт. Понятие культуры // Антология исследований культуры. С. 18–19).

на, культура нуждается в таком противопоставлении*. Разделительная линия по признаку «свой» – «чужой» может проходить и по национальности, и по вероисповеданию, и по партийной принадлежности, и по социальному статусу, и по роду службы, и по месту жительства, и по спортивным интересам, любимой футбольной команде, банному дню...**

В таком разбросе мнений, когда в одном сознании уживаются разные модели, и не составляет труда перейти от одной модели к другой, характер противопоставления может меняться вместе с востребованным сейчас и здесь свойством. «Свой» в одном отношении может становиться «чужим» в другом отношении: вместе ходим в баню – «свой», болеет за «Спартак» – «чужой», за воссоединение Крыма с Россией – опять «свой»***, и так до тех пор, пока чаша весов не склонится в пользу оценочного суждения со знаком «-» или «+». Не-культура предстает в таком случае как непричастность определенному мировоззрению, социальному статусу, укладу, образу жизни, нормам поведения, по которым задается причастность своему кругу, кругу своей культуры. Поэтому далеко небезразлично, какие возобладают в ситуации выбора частнооценочные свойства. Как и гоголевской невесте, выбирающей между губами Никанора Ивановича, носом Ивана Кузьмича, развязностью Бальтазара Бальтазарыча и дородностью Ивана Павловича, принципиально важно определиться, чему отдать предпочтение: этносу, нации, роду, вероисповеданию, цеховой принадлежности, спортивной команде, банному дню или общему делу. В идеальном раскладе «недостатки» если и не подавляются, то хотя бы компенсируются достоинствами в уступительных конъюнкциях с возмещающей частицей *зато*: *напр. пусть болеет за «Зенит», зато нашей веры* или *вечно опаздывает в баню, зато всегда за наших*. Предельно убедительной общая положительная оценка становится при этом лишь тогда, когда приводимое в качестве контраргумента достоинство возобладает над частными «недостатками», поскольку занимает в иерархии ценностей куда более важное место.

* Ю.М. Лотман. О семиотическом механизме культуры // Семиосфера. СПб.: Искусство – СПб, 2000. С. 485–503.

** Акцидентные множества могут даже создаваться и по какому-то востребованному в контексте случайному признаку, как это происходит, например, в повести Чехова «Степь»:

– Дед, зачем ты пьешь из лампадки? – удивился Егорушка.

– Кто пьет из ведра, а кто из лампадки.

С точки зрения отвечающего, поясняет В. Г. Гак, люди делятся здесь на два взаимно исключающих класса: «тех, кто пьет из ведра» и «тех, кто пьет из лампадки»; причем основанием такого деления служат присоединенные в контексте предикаты в отношении дизъюнкции: *пить из ведра* и *пить из лампадки* (В.Г. Гак Онтологические прагматические классы // Языковые преобразования. М.: Языки русской культуры, 1998. С. 32–40). Такие образования легко создаются и так же быстро исчезают, когда в них отпадает необходимость, но остаются вместе с тем множествами, структурированными по признаку «мы» – «они», «свой» – «чужой», «наши» – «не наши».

*** Вопреки непреложному закону тождества один и тот же объект оказывается, таким образом, не равным самому себе в разных контекстах мнения. Так подтверждается принципиальное различие между экстенционалом и интенционалом, а вместе с тем и следующее из этого различия положение: экстенциональное тождество не влечет обязательно интенциональное тождество. В зависимости от того, как определяется в суждении объект, меняется и мнение об объекте, объект мнения, его выделение и спецификация.

Культура как коллективная память. По свидетельству историков культуры, культура функционирует во многом по законам человеческой памяти. В культурной памяти прошлое если и не исчезает, не уходит в небытие, то подвергается постоянно отбору и пересмотру вплоть до вытеснения каких-то текстов, событий и фактов в область глубинного подсознания, пока не возникнут более благоприятные обстоятельства для их извлечения из подвалов памяти. В известном смысле культурная память сродни палимпсесту (Ш. Бодлер), археологии знаний (М. Фуко) или огромной библиотеке (У. Эко) с множеством зачитанных или подолгу пылящихся на полках невостребованных книг.

Культурная память – это и память времени, и память места, и память события. Кто из нижегородцев, кроме историков-краеведов, помнит сегодня, что было на месте World Trade Center на ул. Ковалихинской, как выглядел до перестройки особняк в стиле модерн на ул. Минина, что размещалось в прежние времена в здании областной библиотеки, в каком году была Куликовская битва, кто основал Нижегородский художественный музей. Когда память отбрасывает за ненадобностью какие-то случившиеся в прошлом события, нельзя не задаться вопросом, почему забываются такие, а не какие-то другие тексты, события и факты и до каких пределов может дойти в забвении культура, чтобы не утратить при этом главного своего свойства – быть коллективной памятью семьи, рода, нации, этноса, социума. За редким исключением забвению подлежат обычно внешне несущественные для сообщества события и факты, активации – востребованные по случаю воспоминания, прежде всего о таких событиях и фактах, в которых отражается наилучшим образом настоящее в релевантном для человека контексте жизни. В воспоминаниях о таких свершившихся в прошлом событиях – объяснение, а иногда и оправдание настоящего, и прогнозирование ближайшего будущего. Ибо, как и в человеческой памяти, только так можно «извлечь выгоду из своего прошлого опыта»*. С падением СССР предельно актуальным становится восстановление разорванных звеньев цепи времен, с воссоединением Крыма с Россией – доселе забытая история Новороссии, с активизацией реваншизма в бывших советских республиках – победа над фашизмом в Великой Отечественной войне.

Потребность в постоянной актуализации текстов прошлого в синхронном срезе настоящего – свойство культуры. По свидетельству историков и семиотиков культуры, коды памяти, по которым культура отбирает актуальные для нее тексты из близкого или далекого прошлого, так же принадлежат к современной эпохе, как и коды, по которым создаются новые тексты**. В таком обмене, точнее: диалоге между прошлым и настоящим – залог существования любой культуры.

Без культурной памяти не обйтись и в чтении даже, казалось бы, хорошо знакомых со школьной скамьи книг. Например, современному школьнику невдомек, почему в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин» сосед Ленского по деревне сравнивается с римским поэтом

* По определению А. Бергсона, «живое существо заинтересовано в том, чтобы схватить в настоящем положении то, что сходно с положением предшествующим, и затем сблизить предшествовавшее с последующим, – ибо только таким образом может оно извлечь выгоду из своего прошлого опыта. <...> ассоциации по сходству и по смежности суть единственные, имеющие жизненную полезность» (А. Бергсон. Материя и память // Собрание сочинений. Т. 3. СПб.: Издание М. И. Семенова, 1912. С. 241).

** Ю.М. Лотман. Память культуры // Семиосфера. СПб.: Искусство – СПб, 2000. С. 614–621.

и как надобно понимать выражение *сажать капусту* во фразе *Капусту садит, как Гораций* (гл. 6, VII). Действительно, почему Зарецкий сравнивается с Горацием и почему сажает капусту, а не привычную для русской деревни картошку? В. Набоков поясняет: «На самом деле это – распространенный галлицизм *planter des (ses) choux*, означающий "жить в деревне"»*.

Без необходимых «археологических» знаний нельзя также понять, почему Зарецкий характеризуется еще и как *отец семейства холостой* (гл. 6, IV). С точки зрения формальной логики это противоречивая дефиниция. По определению отец семейства не может быть холостым, холостой – отцом семейства. Чтобы снять противоречие, необходимо нейтрализовать контрарные признаки: «холостой» – «женатый». В этом случае одно из определений будет восприниматься в прямом смысле, другое – в переносном смысле: холостой (формально) – отец семейства (фактически). Но чтобы быть уверенным в правильности толкования, без реконструкции культурно-исторической ситуации – того, что иногда называют «правильным историческим горизонтом» (Х.-Г. Гадамер), не обойтись. Ю.М. Лотман поясняет: «Несмотря на иронический характер, это выражение являлось почти термином для обозначения владельца крепостного гарема и могло употребляться в нейтральном контексте»**. И современники Пушкина не видели, стало быть, противоречия; и не было никаких сложностей для понимания: коль скоро помещик владеет крепостными, то вправе ими распоряжаться, оставаясь при этом «честным и хорошим человеком» (франц. *honnête homme*), по своему усмотрению вплоть до создания гарема из крепостных девок.

Не меньшие сложности для понимания вызывает, кроме того, и *облатка розовая*, которая *сохнет на воспаленном языке* Татьяны Лариной. Обратившись к «Словарю русского языка», читаем, что облатка – это «небольшой полый внутри шарик из крахмальной муки, желатина и т. п. для приема лекарств в порошках. Хинин в облатках» (С. И. Ожегов). Неужели, возникает вопрос, Татьяна страдала малярией? Заглянув в энциклопедический словарь, узнаем, что облатка имеет отношение к обряду причащения в католической церкви. Означает ли это, вопрошает известный отечественный исследователь, что Татьяна была тайной католичкой? Между тем В. Набоков поясняет: «Конверты еще не были изобретены; сложенное письмо запечатывалось специальной клейкой пастой с розовым оттенком в форме кружка, как в данном случае»***. Реконструкция культурно-исторической ситуации позволяет, таким образом, воссоздать «правильный исторический горизонт», без учета которого даже самое что ни на есть обычное выражение может показаться если не аномальным, то весьма странным.

Культура как специфический класс явлений с символическим значением. По свидетельству историков и семиотиков культуры, культура – специфический класс явлений, наделенных символическим значением****. Символическим можно назвать, в частности, такое поведение, в котором совершаемое человеком действие не ограничивается выражаемым его формой тривиальным значением, а означает в системе

* В. Набоков. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». СПб.: Искусство-СПб, 1998. С. 442.

** Ю.М. Лотман. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. Л.: Просвещение, 1980. С. 289

*** В. Набоков. Цит. произв. С. 333–334.

**** Ср., в частности, Л.А. Уайт. Цит. произв. С. 21–23

межличностных отношений нечто большее, чем просто произвольное движение тела или отдельных его частей. Например, наклон головы в сторону повстречавшегося вам знакомого – это не просто случайное движение головой, но еще и узаконенный культурой знак приветствия, а церемониальный поклон с наклоном верхней части туловища в сторону собеседника – знак благодарности, покорности или признания высокого социального статуса, которым обладает повстречавшийся вам человек. Действительная значимость подобных действий задается не ситуативным контекстом и даже не самим по себе действием, а опосредованной им конвенциональной системой с указанием на ассоциируемые с ним символические смыслы. Правильно идентифицировать их можно только при условии, если известно, что за ними стоит и к чему они отсылают. За отсутствием такого специфически культурного знания наклон головы можно принять за резкую боль в шее, чмоканье в щеку – за прилив чувств или любовную связь, похлопывание по плечу – за непростительную фамильярность, подмигивание – за попавшую в глаз соринку, крепкое рукопожатие – за знак агрессии, стремление подавить собеседника и т. п.

Тенденция к символизации – неотъемлемое свойство культуры. Символическое значение здесь принимают даже самые, казалось бы, обыденные вещи: торговые марки, атрибуты туалета, спиртные напитки, авто, марки парфюма и т. д. Марка автомобиля указывает на социальный статус, обладание богатой библиотекой – на образованность владельца, административная функция – на место в социальной иерархии. И даже явления природы могут наделяться в символической проекции сверх-значением при условии, если им можно подобрать в качестве аналога какое-то поверье, предзнаменование или особо ценный художественный факт. Так, в неизвестном романе М. Пруста небо восхищает не само по себе, а потому что напоминает картины Тернера; нормандская яблоня прекрасна, потому что ассоциируется с японской ширмой; случайно повстречавшаяся девушка хороша, потому что напоминает модель с картины Ренуара*.

Значимость порождаемых культурой символов возрастает по мере сакрализации предметной области, к которой они относятся в системе культуры: чем сакральнее область – тем значительнее в пропорциональной зависимости мощность ассоциируемого с ней символа. Это не просто случайно подобранные знаки-ярлыки. Такие символы преисполнены особой эмоциональной значимости, поскольку аккумулируют в себе фундаментальные культурные ценности и идеалы, относительно которых совершается самоидентификация как коллективного, так и индивидуального сознания. Вот почему неправомочные манипуляции с символами особой мощности – атрибутами веры, национальными реликвиями, местами памяти, государственной символикой, классическими произведениями национальной литературы – воспринимаются культурным сообществом как абсолютно враждебное поведение, как посягательство на непреложные ценности, как стремление нанести урон всем и вся, а не просто как девиантное поведение или хулиганская выходка. Сами того не ведая, подростки, выложившие в Интернет фото с надувной куклой у памятника павшим в Великой Отечественной войне, медсестры, позирующие на фоне человеческих органов, наносят

* В терминах св. Августина это *transcensus sui ipse* «переступание пределов самого себя», в терминах Ч. Пирса – «перевод в другие символы», в терминах Р.О. Якобсона – перекодировка.

культуре куда более серьезный урон, чем несоблюдение дресс-кода или правил застольного этикета.

Культура как аксиологическая система. Какой бы ни была предметная область, культура строится как некая возводимая в абсолют система ценностей с «базисными суждениями», призванными ответить в актуальном для человека контексте жизни на извечный вопрос, что есть благо, добро, красота. Поэтому понять, почему нечто квалифицируется говорящими таким, а не каким-то другим образом, почему для русского хорошо, для немца смерть, можно только путем подгонки к исторически сложившейся в культурном сообществе системе представлений, которыми говорящие руководствуются, пока не появятся более веские причины для отказа от них, в повседневной деятельности. В таких представлениях кроется не только информация об окружающих нас в мире вещах, но и мнение по поводу этих вещей в виде какого-то определенного ценностного суждения*.

В качестве примера возьмем такое высказывание поморского охотника и рыбака: *Мало того что малый ребенок умеет веслом владать, баба, самая баба – уж чего бы, кажись, человека хуже?! – а и та, что белуга, что нерьпа, – лихая в море. Смело давай ей руль в лапу и спать ложись, не выдаст: не опружит и слезинки тебе единыя не покажет...* (С.В. Максимов). Будучи в целом противоречивой, оценка задается оценочными предикатами *человека хуже, лихая в море, не выдаст* и др. в отношении уступительной конъюнкции, позволяющей если не подавить, то хотя бы компенсировать общеприятную оценку какими-то частными достоинствами. Причем понять, почему в суждении о женах и дочерях поморов отбираются такие, а не какие-то другие свойства, почему рус. *баба* характеризуется в общей оценке отрицательно (*человека хуже*), в частной – положительно (*лихая в море, не выдаст...*) и почему положительная оценка задается, наконец, в сравнении с морскими животными (*что белуга, что нерьпа*) можно только обратившись к сложившимся в аксиологической системе поморов нормативным установкам. Интерпретантом отношения *баба* → /-/ (в контексте «человека хуже») является, по всей видимости, мнение: *по сравнению с мужиком баба слаба*; интерпретантом отношения *баба* → /+/ (в контексте «не выдаст: не опружит и слезинки тебе единыя не покажет») – *баба вынослива и терпелива, на нее можно положиться в трудной ситуации*; интерпретантом транспозиции *баба* → *белуха* («белуга»), *баба* → *нерпа* («нерьпа») – такое весьма существенное обстоятельство, что для обозначения отважных гребцов в речевом обиходе поморов нет иного класса вспомогательных существ, кроме разве только морских млекопитающих подотряда зубатых китов или ластоногих млекопитающих семейства тюленей.

Культура как норма. В качестве узуального типа, детерминирующего поведение человека, культура предстает и как средоточие множества социальных норм. В предельно общем виде это точка отсчета в виде какой-то возведенной в абсолют институциональной модели, относительно которой устанавливают соответствие в границах

* Недаром в определении Э. Гуссерля *вещи* – это не просто-таки вещи природы, а непосредственное видение – не просто чувственно, постигающее опытным путем зрение: «мир для меня – не просто *мир вещей*, но <...> и *мир ценностей, мир благ, практический мир*» (Э. Гуссерль. Общее введение в чистую феноменологию // Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Т. 1. М.: Дом интеллектуальной книги, 1999: 52–53, 67).

между «можно» – «нельзя», «допустимо» – «недопустимо», в сугубо специальном смысле – система унифицированных установлений прескриптивного характера в приложении к какой-то определенно сфере социальной деятельности: *норма поведения*, *правовые нормы*, *языковая норма*. В известном смысле это общепринятые представления типа *doxa*: «мнение большинства» в определении Платона, «что кажется правильным всем или большинству людей» в определении Аристотеля*, «подразумеваемое» семьи, рода, нации, класса в определении В.Н. Волошинова**. Достоверны или нет такие системы в смысле объективном, заранее знать нельзя; зато можно утверждать безусловную их достоверность как данного коллективного сознания***. В феноменологическом отношении они образуют, говоря словами Гуссерля, всеохватывающий горизонт «жизненного мира», в который мы вживаемся и на котором только можем понять, что представляют для нас «в модусе актуальной обращенности» все лежащие внутри этого горизонта вещи****.

Идею нормативности лучше всего иллюстрируют этика, эстетика и юриспруденция. В приложении к этике это нравственные регуляторы поведения человека; в приложении к эстетике – исторически переменчивые представления о прекрасном; в приложении к праву – свод законов, постановлений и прочих нормативных актов, регулирующих общественные отношения. Например, чтобы понять тавтологичное высказывание вида *Война есть война*, необходимо знать, замечает Ю.Д. Апресян, чем «наблюдаемое положение вещей отклоняется от нормы добра, человечности, морали, порядка»****. Не менее показательны и широко используемые в качестве «инструмента идеологического воспитания» так называемые упражнения с *пропусками* во французской школьной практике. Учащимся младших классов предлагается, например, установить наиболее подходящий вариант сочетаемости существительных *prisonnier* «заключенный» и *directeur de prison* «начальник тюрьмы» с прилагательными *bienveillant* «доброжелательный» и *repentant* «раскаивающийся», а затем привести соответствующие доводы в пользу «правильного» выбора: (i) если заключенный, значит виновный; (ii) если виновный, значит должен раскаяться. С помощью таких упражнений нельзя, конечно, обучиться языку, зато можно усвоить, заключает Ф. Растье, некоторые социальные, в данном случае этические нормы*****.

Взаимодействие между разными видами нормирования слишком сложно и многообразно, чтобы представлять его как заведомо простой конгломерат в отношении сложения, ни тем более утверждать выполнимость сразу всех входящих сюда норм-формулировок*****. Разные си-

* Аристотель. Топика // Сочинения в четырех томах. Т. 2. М.: Мысль, 1978. С. 349.

** В. Н. Волошинов. Философия и социология гуманитарных наук. СПб.: Аста-пресс Ltd, 1995.

*** В этом смысле норма подменяет собой истинностное значение.

**** Э. Гуссерль. Цит. произв. С. 65–69, 116–118.

***** Ю.Д. Апресян. Интегральное описание языка и системная лексикография // Избранные труды. Т. 2. М.: Языки русской культуры, 1995. С. 167.

***** Ф. Растье. Интерпретирующая семантика. Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2001. С. 143.

***** Ополной выполнимости можно, очевидно, говорить только в отношении какого-то одного вида нормирования. И только при условии, если все образующие его формулировки актуальны и непротиворечивы. Ср. «Норма *О- выполняема*, если и только если возможно, что действия и/или воздержания от действия, которые являются содержанием нормы, имеют место при *всех* событиях (в истории нормы), которые

стемы нормирования могут соотноситься между собой по принципу дополнительности, входить в противоречие, одна норма – преобразовываться или подавляться другой. Нельзя исключать, кроме того, и случаи, когда затруднительно или нельзя вообще сказать, каким социальным нормам удовлетворяет или должны удовлетворять те или иные действия, поступки или высказывания.

Рассмотрим наиболее типичные случаи.

• *Социальные нормы в отношении конъюнкции.* При участии нескольких видов нормирования разные нормы могут входить в отношения дополнительности* и образовывать совместно систему, например систему представлений о мире, отдельные составляющие которой предполагают друг друга в необходимом различии как формулировки дополняющих друг друга системных инстанций. В идеальном раскладе учитывать приходится в таком случае все без исключения систематики, а в «сокращенном» толковании – такие и только такие, с которыми согласуются базисные установки интерпретатора. Показательным тому примером служат, в частности, разные толкования того же художественного произведения, выполненные в зависимости от избираемой стратегии интерпретации в идеологическом, морально-этическом, мифопоэтическом, психоаналитическом или каком-то другом ключе. Обратившись, например, к «Человеческой комедии» Бальзака, все входящие сюда сюжетные линии можно ограничить в вульгарно-социологическом прочтении социальными отношениями, поступки действующих лиц соизмерить с бытовавшими во французском обществе нравами и обычаями, прически и наряды проверить на соответствие моде, а всепоглощающую страсть к наживе соотнести в психоаналитическом прочтении с подавленными сексуальными желаниями.

• *Социальные нормы в отношении дизъюнкции.* При участии нескольких видов нормирования разные нормативные системы могут входить в отношения дизъюнкции. В качестве примера возьмем рассуждения о пользе шахмат в романе В. Набокова «Защита Лужина» (1929): *Дочь показала ей последний номер берлинского иллюстрированного журнала, где в отделе загадок и крестословиц была приведена чем-то замечательная партия, недавно выигранная Лужиным. «Но разве можно увлекаться такими пустяками?» – воскликнула она, растерянно глядя на дочь, – всю жизнь ухлопать на такие пустяки. <...> Вот у тебя был дядя, он тоже хорошо играл во всякие игры, – в шахматы, в карты, на бильярде, – но у него была и служба, и карьера, и все». — «У него тоже карьера, – ответила дочь, – и право же он очень известен. Никто не виноват, что ты шахматами никогда не интересовалась». — «Фокусники тоже бывают известные», – ворчливо проговорила она, но все же призадумалась и решила про себя, что известность Лужина отчасти оправдывает его существование (гл. VII).*

В интенционально-ориентированной рефлексии оценка Лужина задается по роду деятельности, а точнее: по высказанному в отношении его деятельности мнению: (1) *занятие шахматами – пустое времяпрепровождение* и (2) *занятие шахматами – тоже профессия.*

предоставляют возможности (заинтересованному действующему лицу) для таких действий и/или воздержаний от действий, то есть при всех событиях, когда условия применения нормы выполняются» (Вригт Г. Х фон. Логико-философские исследования: Избранные труды. М.: Прогресс, 1986. С. 376).

* При условии, разумеется, если все входящие в сообщение нормы-формулировки непротиворечивы.

В первом случае *шахматы* подводятся наряду с *загадками*, *кресто-словицами*, *картами* и *бильярдом* под развлечения, а будущий зять расценивается как человек никчемный («разве можно увлекаться такими пустяками?»); во втором – под какую-никакую, но профессию, а Лужин расценивается как человек серьезный и даже успешный («У него тоже карьера <...> и право же он очень известен»). Причем судить, какому нормативному суждению отдавать предпочтение, можно только в рамках заданной системы представлений.

• *Нарушение одной нормы в интересах другой.* При участии нескольких видов нормирования одна норма может подавляться другой. Показательным тому примером являются отступления от норм литературного языка в целях создания особого художественного эффекта в литературной практике. Действительно, будь то ненормативная лексика, смещенное словоупотребление, морфологические ошибки, нарушение правил лексической сочетаемости или какие-то иные языковые погрешности, всякое отступление от нормы в оперировании языковым кодом симптоматично в той мере, в какой предстает как условие литературности. Недаром в знаменитой статье В. Шкловского «Искусство как прием» (1919), поэтический язык определяется преимущественно в плане деформации языка практического как результат совершенной над ним операции деконструкции – «остранения». Так деконструкция возводится в достоинство «конструктивного фактора»*.

• *Преобразование одной нормы другой.* Не менее показательны и случаи преобразования, когда какая-то норма служит основанием утверждения другой нормы. Так, по свидетельству Я. Мукаржовского, нравственная норма, представленная в романе через противопоставление положительного и отрицательного героев, может восприниматься в качестве «конструктивного фактора» художественного произведения и тем самым преобразовываться в норму эстетическую**. Не исключаются и противоположные случаи, когда эстетические нормы трансформируются в нормы неэстетические. Например, эстетическая норма становится языковой, когда какое-то сугубо поэтическое использование языка вроде специфического оборота речи, неконвенционального словосочетания или употребления автоматизируется в речевом обиходе вплоть до возведения в достоинство общезначимой языковой нормы. Поведенческой эстетическая норма становится в свою очередь, когда избирается в повседневной деятельности в качестве программы чуть ли не бытового поведения. Весьма примечательна в этой связи роль театра, литературы и искусства в жизни общества в конце XVIII – начале XIX вв. с обыкновением перевоплощаться в соответствии с приличествующим занимаемому положению амплуа в Катона, Брута или Мельмота. По наблюдениям Ю.М. Лотмана, «театр вторгается в жизнь, активно перестраивая бытовое поведение людей. Монолог проникает в письмо, дневник и бытовую речь. То, что вчера показалось бы напыщенным и смешным, поскольку приписано было лишь сфере

* Из этого, разумеется, не следует, что всякое нарушение нормы в оперировании языковым кодом становится непременно эстетической нормой. Отступление от языковой нормы может также использоваться в целях дискредитации предмета речи, для социальной характеристики говорящего или в интересах языковой игры для достижения, например, комического эффекта.

** Я. Мукаржовский. Эстетическая функция, норма и ценность как социальные факты // Исследования по эстетике и теории искусства. М.: Искусство, 1994. С. 35–121

театрального пространства, становится нормой бытовой речи и бытового поведения»^{*}.

Экология культуры. По определению акад. Д.С. Лихачева, экологию нельзя ограничить заботой об охране природной среды. Не менее важной задачей является также сохранение культурной среды, столь же необходимой для духовной, нравственной жизни человека, как и природа. В одном случае речь идет о лесах, озерах, морях и реках, качестве воздуха, воды и земли, в другом – о веками складывающемся культурном пространстве. Несоблюдение законов биологической экологии может, заключает Д.С. Лихачев, убить человека биологически, несоблюдение законов экологии культурной – убить нравственно^{**}. И то и другое страшно.

Вопрос о сохранении культурной среды не ограничивается, конечно же, заботой о памятниках культуры. Культурную экологию нельзя сводить исключительно только к сохранению и реставрации отдельных памятников. «Культурное прошлое нашей страны должно рассматриваться не по частям, как повелось, а в его целом». «По частям» – это защита и сохранение отдельных памятников и областей культуры, «в целом» – сохранение общего для всего наследия культурного кода, кода памяти, так или иначе выражающего дух народа, защита от коммерциализации и «загрязнения» псевдокультурными симулякрами, пастишами и постмодернистскими инновациями как наиболее опасными для экологии культуры угрозами и вызовами.

Возможно, согласимся с Ю.М. Лотманом, создаваемые в ходе художественной эволюции принципиально новые тексты ни физически, ни семиотически не уничтожают тексты предшествующих эпох, а разве только деактуализируют их на какое-то неопределенное время в интересах новой эстетики, новой культуры, новой идеологии^{***26}. Но так ли обстоит с «новаторским» преобразованием классических художественных образцов? Или с ними происходит, возьмем другую предлагаемую семиотиком параллель, что и с мышью, поедаемой кошкой, старым техническим изобретением, хотя и сохраняющим свое физическое бытие, но «съедаемым» новым техническим изобретением?

Иначе говоря, подвергается ли культурное наследие в подобных случаях информационно-смысловому уничтожению? Например, когда Мане создает «Завтрак на траве» с оглядкой на хранимые в Лувре классические образцы, когда Дюшан подрисовывает Моне Лизе усы, когда Пикассо переиначивает на свой вкус инфант Веласкеса, остается ли информационно неизменным взятый в качестве образца подлинник? Или, вступая в новые отношения с совершенной с ним трансформацией,

^{*} Ю.М. Лотман. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века). СПб.: Искусство – СПб, 1994. С. 183. Весьма примечательна, кроме того, история, рассказанная про князя Григория Голицына, разыгрывавшего из себя в Пензе по примеру Людовика XIV владетельную особу. В подражание Королю-Солнцу князь завел себе, несмотря на то, что искренне любил и уважал жену, двух мнимых пожилых метресс – Монтеспан и Лавальер, которым жена должна была оказывать в соответствии с отводимой ей ролью чрезвычайную холодность. Кроме Людовика XIV, образцом служил и царь Давида. В соответствующем одеянии князь распевал, аккомпанируя себе на арфе, псалмы на мотивы «При долинушке стояла» или «Lison dormait dans un bocage». Подробнее см. В. А. Верещагин. Разоренное гнездо // Памяти прошлого. СПб.: Сириус, 1914. С. 9–24.

^{**} Д.С. Лихачев. Экология культуры // Памятники Отечества». 1980. № 2.

^{***} Ю.М. Лотман. Культура как субъект и сама-себе объект // Семиосфера. СПб.: Искусство – СПб, 2000. С. 639–647.

обрастает, будто снежный ком, новыми напластованиями; и мы взираем на него сквозь призму чуждых смыслов, заслоняющих собой изначально заданный, культурно значимый смысл?

Разумеется, старые художественные формы эволюционируют, как эволюционирует с увеличением степеней свободы и последующая их рецепция. Каждая эпоха вычитывает, а порой и привносит в тексты прошлого свои смыслы. Генерирование новых смыслов – неотъемлемое свойство культуры. Но как избежать эрозии культурного наследия, не нанести ущерб культурной экологии, не переиначить в деконструктивистском порыве классические тексты, как это происходит, например, с психоаналитическими интерпретациями произведений Пушкина и Гоголя, постмодернистским переосмыслением картины Левитана «Над вечным покоем», оперы Чайковского «Евгений Онегин» или пьесы Чехова «Три сестры»?

В деконструктивистских реинтерпретациях классических произведений можно при желании усмотреть и извечный спор древних и новых, и привычные разногласия архаистов и новаторов, и борьбу культуры с не-культурой, и соответственно истолковать сообразно ценностным приоритетам как необходимое условие культурной эволюции или как моральную деградацию культуры. Но, каким бы ни было решение, нельзя не отметить такое весьма существенное для культуры обстоятельство. Чем больше размываются и расшатываются во имя индивидуальной творческой свободы узаконенные культурой запреты и ограничения, тем значительнее предстает и совершаемая с классическим текстом трансгрессия, а вместе с ней и наносимый культуре ущерб. Взятый в качестве исходного материала образец, пусть и сохраняется физически в первоначальном своем виде, подвергается в процессе «употребления» необратимым информационно-смысловым преобразованиям вплоть до слома культурного кода и забвения общей культурной памяти.

Для понимания сути такой коллизии уместна широко обсуждаемая с недавних пор аналогия с ситуацией из «Книги джунглей» Р. Киплинга – беспощадной войной между героизированными разумными животными и непредсказуемыми безнравственными бандарлогами. Одни руководствуются в своем поведении узаконенной системой нормативных предписаний, правил и законов; другие, не ведая запретов, ведут «войну без правил». Возводя нарушение правил в норму, можно, конечно, одержать победу над врагом, но вряд ли построить сколь-нибудь эффективную модель культурного поведения.

Александр ИЛИЧЕВСКИЙ

Родился в 1970 году в Сумгаите. Окончил Московский физико-технический институт.

Прозаик, поэт. Лауреат премии имени Ю. Казакова (2005), премии журнала «Новый мир» (2005), «Русский Букер» (2007), «Большая Книга» (2010). Живет в Москве.

О НЕВОЗМОЖНОСТИ ТОЛСТОГО

Я давно задумывался о «невозможности Толстого». Не только трудно поверить, что род людской оказался способен породить такого писателя. Здесь все серьезней. Ибо литература есть вера слова. В литературе содержится зерно феномена веры. Логос возник не из веры. А для веры.

Сущность, порожденная словами, порой достоверней близлежащей реальности. Толстой это понимал лучше, чем кто-либо. Вот почему он стремился переписать Евангелие. Я думаю, оно не устраивало его как литературный механизм: он подспудно считал, что степень порождаемого Евангелием доверия могла быть и выше.

Но очевидно существование верхней границы веры. Есть такая вера, которая хуже безверия. В качестве верхнего ограничителя, запускающего парадоксальную реакцию сознания, Василий Гроссман устами своего героя приводит мнение Толстого о его собственном творчестве. Точно приводит или нет – я не знаю, такой фразы я у автора «Холстомера» не встречал, но она обязана ему принадлежать, и, думаю, Гроссман передает смысл без искажений. Штрум, главный герой «Жизни и судьбы», говорит: «Толстой считал свои гениальные творения пустой игрой».

Это тоже относится к категории невозможности Толстого, ибо глубоким истинам могут противостоять только другие глубокие истины. Порождаемый этим противостоянием смысл Нильс Бор назвал «отношением дополнительности».

У меня есть знакомая – школьный учитель русской литературы, совершенный подвижник русского языка. Навсегда запомнил ее рассказ о том, как она впервые приехала в Ясную Поляну. Она рассказывала: когда экскурсия закончилась и она, погуляв вместе со всеми по усадьбе, шла к воротам по аллее; вдруг увидела сверху над деревьями огромную, до облаков, фигуру Толстого. И очень испугалась. Великим страхом испугалась.

Когда я оказался в комнате, где была написана «Анна Каренина», я поразился именно ее размеру. Поразился не простоте и обыкновенности,

я вполне мог представить себе Толстого похожим на смертных, однако я не мог представить себе, что «Анна Каренина» могла бы поместиться в этой комнате с невысокими потолками. Это, на первый взгляд, забавное ощущение заставляет задуматься глубже.

Ибо литература есть производство свободы смысла. Точка выбора должна порождаться внутри романа, как точка росы. Литература утоляет человека подлинностью его существования. Литература не обязана учить, она обязана обучать свободе. Экзистенциальный опыт осуществления выбора – награда за чтение.

Вот откуда мощное ощущение свободы в «Анне Карениной». Роман, питаемый верой читателя, подобно океанским волнам, широко и высоко дышит пространством человеческого существования. Роман подобен искусственным легким мира. Роман в конце концов говорит о мире больше, чем мир способен сам рассказать – кому бы то ни было.

Хорошо, когда роман больше, чем способ познания. Когда романский мир, порожденный словом и верой, оказывается истиной, то это говорит о том, что разум, созданный по образу и подобию Творца, естественным способом воспроизводит и заменяет мироздание, согласно обратной функции подобия; и проблема устройства вселенной и человека формулируется как поиск своего рода соответствия, соотношения с этим преобразованием подобия. Иными словами: то, что разум способен создать роман, это и есть доказательство существования Всевышнего.

Следующим шагом остается только рассудить, что искусство должно заниматься повышением ранга существенности реальности – при взаимодействии с реальностью слова; однако длина этого шага может оказаться больше жизни.

Главный урок Толстого для человеческого сознания состоит в том, что этот писатель мало того что стал плотью русского языка, он еще и обучил его той выразительности, с помощью которой можно выразить невозможное. Возможность невозможного – свободы, понимания, любви, возможность самого человека как такового, сути сердца – дорогого стоит.

Я бы сравнил отношения Толстого и читателя как отношения хозяина и работника в одноименном рассказе. Трудно поверить в то, что выражает этот рассказ: хозяин, замерзая вместе с работником во время метели, спасает работника ценой своей жизни. Трудно настолько, насколько вообще трудно читать. И в этом как раз и суть работы Толстого как писателя: он накрывает собой читателя посреди снежной бури и позволяет небытию добраться до себя раньше.

Он сберегает читателя.

И это лучшее, что может произойти. С работником. И хозяином.

Non-fiction

Александр ХОРТ

Родился в 1941 году в Москве. В 1964 году окончил МИНХ им. Г.В. Плеханова. 13 лет работал по специальности, затем перешёл на литературную работу. Затем занялся литературой. Работал в «Московский комсомолец», «Литературной газете», «Литературной России», в журнале «Юность». Заведовал отделом в журнале «Крокодил». Автор сценария ряда сюжетов киножурнала «Фитиль».

Ведущий рубрики «Клуб 12 стульев» в «Литературной газете». Живет в Москве.

Автор 20 книг. В настоящее время пишет биографию выдающегося драматурга, комедиографа Николая Эрдмана. Предлагаем вниманию читателей главы из будущей книги.

У СИНЬОРА ГОРЬКОГО

Заботы не могут потревожить нас здесь. Мы вне их юрисдикции.

Марк Твен. «Простаки за границей». Пер. И. Гуровой

После триумфа «Мандата» Эрдман оказался в фаворе у наркома просвещения Луначарского, и Анатолий Васильевич сделал драматургу царский подарок – отправил его в двухмесячную заграничную командировку, да не куда-нибудь, а в Германию и в Италию: «для исследовательской работы в области театра и драматургии». Его спутником был заведующий литературной частью МХАТа, критик Павел Марков.

Начавшееся в июле 1925 года двухмесячное путешествие произвело на драматурга ошеломляющее впечатление. Он словно ребёнок восторгался всем окружающим – проплывающим за окнами вагона аккуратным немецким ландшафтом, архитектурой, автомобилями, театрами. Перед отъездом у него в Москве появилась зазноба – эстрадная танцовщица Надя Воронцова. Николай Робертович насмешливо описывал своей «маленькой малютке» Дине – так называли её близкие – впечатления о мюзик-холлах: «Танцует Берлин всего два па. Первое па: правая нога на земле, левая – выше головы. Второе па: левая нога на земле, правая – выше головы. Для третьего па у них не хватает ног. То положение, что у женщины ноги выше головы, известно всякому, но для этого их вовсе не следует задирать. Но немец любит поставить точку даже над «и» с точкой. Имеется здесь обозрение «Тысяча сладких ножек». Сотни раздетых баб в продолжение трёх часов демонстрируют свои конечности. Пахнет на этом обозрении как в цирке. Во всех других

театрах, кафах и кабаках идёт то же самое обозрение, только под другими названиями и с меньшим количеством ног и запаха»*.

В Берлине приятели остановились в пансионе некой фрау Лей. Их гидом по городу стал живший неподалёку артист Степан Леонидович Кузнецов, бывший одессит. Жара в тот июль стояла несусветная. Поэтому свой экскурсионный маршрут троица обычно заканчивала в какой-нибудь пивной. Заказ у них всегда был одинаковый: «Два светлых и одно тёмное» – тёмное любил Эрдман. Друзья сидели и слушали байки из актёрской жизни, Степан Леонидович знал их великое множество.

– У нас в Одессе был администратор Раевский, – вспоминал Кузнецов. – Он устраивал гастроли, благотворительные вечера. Но главным его занятием являлась организация похорон по обрядам. Тут ему равных не было. Как-то он присутствовал на моём бенефисе. Я и не знал, что он сидит в зале. После спектакля было много приветствий. Я очень растрогался, в ответном слове сказал, что после такого чествования и умереть не жалко. Вдруг, вижу, поднимается со своего места Раевский и кричит на весь зал: «Степан Леонидович, я здесь!»

Ещё большее впечатление произвела Италия. «Родные мои, какая изумительная и беспощадная красота Венеция. Ни разу в жизни я не испытывал такой грусти, такой печали, – писал не склонный к сантиментам Эрдман родителям. – Я всегда переносил прекрасное очень тоскливо, но я никогда не думал, что можно тосковать до такой степени. Площадь Св. Марка. На ней можно сидеть часами без слов и движения. Вообще в Венеции хочется говорить шёпотом, как на кладбище. Прямо перед нашими окнами залив, и вечером видно, как зажигаются огни на Лидо. Но самое прекрасное – это гондолы, мне почему-то они больше всего напоминают скрипку, хотя на неё совсем не похожи. Когда лежишь в гондоле и едешь маленькими каналами, чувствуешь, до чего страшна и великолепна была та эпоха, когда каким-то безумцам запало в голову выстроить этот фантастический город»**.

Помимо культурной программы, в Берлине у Николая имелась ещё и деловая – он подписал договор о переводе и издании «Мандата». Пьеса на немецком вышла через год.

Затем были Рим (где он в посольстве читал свой «Мандат»), Ватикан, Флоренция и, наконец, Сорренто, где жил Горький.

Здесь Эрдман и Марков прекрасно провели две недели. Они прибыли туда 19 августа и остановились в гостинице рядом с виллой Алексея Максимовича, которая называлась Il Sorito, так по-итальянски «улыбка». Каждый вечер проводили у писателя, тот читал свои произведения или рассказывал всякие житейские истории. Помимо семейства Горького, там постоянно обитали многочисленные гости. Например, во время визита Эрдмана там жили гармонист Рамша, профессор Старков с семьёй, жена писателя Вольнова и ещё несколько человек.

Вилла Il Sorito была расположена в красивейшем месте – с балкона открывался вид на Неаполитанский залив, на противоположном берегу красовался вулкан Везувий, иногда виновник гибели Помпеи дымился. Безобидно, сейчас это не вызывало опасений. Ближе к воде там и сям рассыпаны рыбацкие посёлки. Их черепичные крыши краснеют среди зелени. По вечерам с балкона можно наблюдать столь излюбленные

* Эрдман Н. «Пьесы. Интермедии. Письма. Документы. Воспоминания современников», стр. 232.

** Там же, стр. 234-235.

итальянцами фейерверки. Иногда зрелище длится несколько часов, огни эффектно отражаются в воде залива...

Днём по дороге мимо виллы снуют извозчичьи пролётки. Седоки норовят хоть глазком увидеть знаменитость. Художница Валентина Ходасевич, часто гостившая у пролетарского писателя, вспоминала: «Популярность Горького у неаполитанцев была столь велика, а любовь их так экспансивна, что ходить с ним по улицам было почти невозможно. Многие проходящие мимо или увидевшие его из окон магазинов бросались на улицу, хватили его руки, пожимали, целовали, на ходу становились перед ним на колени... Во время одной из поездок в Неаполь, чтобы спастись от этого, увидев извозчика, мы сели в пролётку, но экипаж был окружён людьми, кто-то уже выпряг лошадь, и несколько человек, схватив оглобли, лёгкой рысцой потащили экипаж. Кругом бежали «охранявшие покой синьора Горького» поклонники и во весь голос кричали: Viva Gorki! Caro! Carino! Che Cello! (Да здравствует Горький! Дорогой! Дорогуша! Какой красавец!) Многие вскакивали на подножку пролётки, чтобы хоть на секунду приблизиться к любимому *Illustrissimo scriptore* (знаменитейшему писателю)»*.

Местные жители с завистью смотрели на двух молодых людей, регулярно ходивших на виллу Горького словно к себе домой.

Как позже признавался Эрдман, он и Марков всю использовали безотказность писателя, полагая, что им лишать себя общества Горького тяжелее, чем Алексею Максимовичу терпеть назойливых гостей. Всё-таки москвичи приехали на пару недель и неизвестно, когда ещё подвернётся возможность общаться с классиком в частной обстановке. Грешно упускать такой шанс.

В один из тёплых вечеров они втроём допоздна бродили по окружающему виллу саду, и вдруг Алексей Максимович с напускной строгостью обратился к автору «Мандата»:

– Почему вы не хотите, чтобы я прочитал вашу пьесу? Утаиваете её от меня. Мне о ней все уши прожужжали, а до сих пор не читал.

Николай не стал объяснять, что ему неудобно навязывать своё творение, отрывать писателя от работы. Вместо ответа он ринулся в гостиницу и через несколько минут вернулся с машинописным экземпляром «Мандата».

Ранним утром драматурга неожиданно разбудил настойчивый стук в дверь, и появившаяся в номере итальянка сообщила, что синьор Горький просит синьора Эрдмана немедленно прийти к нему. Итальянского языка Николай не знал, но по интонации и энергичной жестикуляции женщины всё понял. Он прямо в пижаме побежал на соседнюю виллу.

В отличие от Эрдмана Алексей Максимович несмотря на ранний час, начало восьмого, был уже облачён в костюм. Он сидел за столом, на котором лежал экземпляр «Мандата». Рядом лежал лист бумаги с пометками писателя. Там были записаны номера страниц с неудачными, по его мнению, фразами. Замечаний было много, но в общем и целом пьеса ему понравилась.

– Умно. Смешно. Разговаривают у вас люди интересно, – говорил Горький и неожиданно спросил: – Вы когда-нибудь пробовали писать рассказы?

– Нет.

– И не пробуйте. Пишите пьесы. Вот я ни одной хорошей пьесы не написал, – улыбнулся он и, жестом остановив попытавшегося было запротестовать собеседника, продолжил: – А вы, по-моему, напишете. Обязательно напишете. Потому что вы драматург. Настоящий драматург.

* «Портреты словами: Очерки», стр. 226-227.

НЕМАЯ ПЯТЁРКА

Дело не в том, чтобы быстро бегать, а в том, чтобы выбежать пораньше.
Франсуа Рабле

В конце 1926 года Эрдман женился на эстрадной танцовщице Надежде Александровне Яшке. Это её настоящая фамилия (она из семьи обрусевших чехов), на сцене же выступала под удобоваримым псевдонимом Воронцова – по названию улицы, на которой жила.

Надежда Александровна на два года старше мужа. У неё миловидное лицо с тонкими чертами, хорошая «танцевальная» фигура.

«Мандат» пользовался триумфальным успехом. Его ставили во многих театрах страны, и он шёл с завидной регулярностью. Достаточно сказать, что 20 марта 1926 года в ГОСТИМе* состоялось уже сотое представление. (На него, кстати, администрация театра забыла пригласить автора, и деликатный Николай Робертович письменно извинялся перед Мейерхольдом и труппой за то, что не был на юбилейном спектакле.) В этом же году пьеса была издана в Берлине в переводе на немецкий.

Благодаря успеху «Мандата» имя Эрдмана в театральных и эстрадных кругах приобретало всё больший авторитет. От заказов отбоя не было. Качеством своих новых вещей Николай Робертович не давал повод для разочарований. Написанные после «Мандата» обозрения для мюзик-холлов, либретто оперетт, интермедии для театров буффонады – всё было выше всяких похвал.

Закрепился он и в кинематографе. В «великом немом» Эрдман дебютировал фильмом «Турбина № 3», сценарий которого он написал в соавторстве с ленинградцем Адрианом Пиотровским (тем самым, который считал «Мандат» всего лишь разминкой Мейерхольда перед постановкой «Ревизора»). Картина представляла собой экранизацию популярного в то время производственного романа Фёдора Гладкова «Цемент», премьера состоялась 28 июня 1927 года. Эта 50-минутная производственная драма была поставлена на ленинградской студии «Совкино».

Основная тема гладковского романа – восстановление заброшенного во время Гражданской войны завода. Возглавляют работы преданные производству партийцы. Они с трудом преодолевают саботаж спецов «из прошлого» и равнодушные советских бюрократов новой формации. В основе сюжета «Турбины № 3» – сооружение Волховской гидроэлектростанции (там, кстати, проходили натурные съёмки), строители которой героическими усилиями спасают плотину от разрушения ледоходом. К сожалению, этот фильм режиссёра Семёна Тимошенко («Три товарища», «Вратарь», «Небесный тихоход») не сохранился. Критики хвалили его за образцовый монтаж, однако большой заслуги Семёна Алексеевича тут нет. Как раз сделанный им первоначальный вариант получился неудовлетворительным. Похвал фильм был удостоен лишь

* Государственный театр имени Вс. Мейерхольда, под разными названиями существовавший в Москве в 1920–1938 годах.

после того, как его перемонтировали режиссёры братья Васильевы, будущие создатели «Чапаева».

В 1926 году Эрдман закончил сценарий гротесковой комедии «Митя». У него имелась своя предыстория. Николай Робертович дружил с мейерхольдовским актёром Михаилом Жаровым. Когда тот начал сниматься в кино, то как-то пригласил на премьеру драматурга. Эрдману очень понравилась игра Жарова. Он сразу сказал, что специально для него напишет сценарий и там у него будет главная роль. Оба загорелись этой идеей и в течение трёх месяцев почти не разлучались. Артист ежедневно приезжал к драматургу домой, тот читал ему новые сцены, они обсуждали, спорили, исправляли, доводили «до ума». Михаил Иванович мечтал об этой роли, он уже растворился в ней. Но человек предполагает, а бог располагает. После прохождения по разным инстанциям сценарий «Мити» попал в руки бывшему актёру театра Мейерхольда Николаю Охлопкову. Причём это было не результатом каких-либо интриг. Это явилось итогом бюрократически-творческих процессов, которые сопровождают появление чуть ли не каждого фильма, а найти логику подобных действий очень трудно. Так либо иначе сценарий оказался у тёзки Эрдмана, тот ему понравился. На следующий год Охлопков поставил на Одесской киностудии фильм и сам сыграл в нём заглавную роль.

Этот сибиряк, человек богатырского сложения, сыграл в кино несколько эпизодических ролей, у него были новые заманчивые предложения, однако он увлёкся режиссурой. По свидетельствам очевидцев, Николай Павлович создал редкий для комедии образ положительного героя. Его Митя, неглупый и хороший человек, бесконечно попадал в нелепые ситуации. Вот что писал о фильме журнал «Советский экран» в номере от 5 февраля 1927 года:

«Мандат» Эрдмана, прекрасная бытовая комедия, был радостно встречен повсюду и ставился в сотнях театров. И возможно, что фильм ВУФКУ* «Митя», сделанная по сценарию того же Эрдмана и рассказывающая о наивном, добром телефонном технике, попавшем в тину обывательской провинции, явится для кино такой же отдушиной, какой был в свое время «Мандат» для театра.

В то время как большие города живут бодрой новой жизнью, которую им дала революция, в маленьких провинциальных городах обывательская жизнь идет «по-старому». Внешне как будто ничто не изменилось за последние двадцать лет: так же грязные немощёные тротуары, так же болтаются на окнах сильно накрахмаленные тюлевые гардины и так же из-за них выглядывают на улочки мирные обыватели. Они живут от пасхи до рождества, от свадьбы до крестин, от именин до смерти родственников, оставляющих барахлишко в наследство. Спокойные, серенькие дни, тягучие и липкие, как грязь на улицах. Единственное развлечение – семейные скандалы соседей, окруженные сложным клубком сплетен, да ещё – травля людей, случайно оказавшихся лучше, выше обывательской среды. «Митя» – комедия, рассказывающая о всех «трагедиях» такого случайного для обывательской массы человека».

Мите решительно не везёт: все его «благие начинания» в результате создают ему непримиримый конфликт со всеми окружающими. Начинается с мелочей: хотел помочь братишке своей невесты, Шурочки Грязновой, у которого кот съел мясо, – очутился сам в положении вора, укравшего в лавке мясо. Одолжил товарищу брюки на свадьбу – попал

* Всеукраинское фотокиноуправление – государственная кинематографическая организация, период существования с 1922 по 1930 год.

в некрасивую историю. У Шурочки парадная вечеринка – приготовлен стол, полный яств. Однако Митя, как назло, оставил в кармане отданных товарищу брюк ключ от столовой. Гости решают, что это подстроено умышленно, и, почесывая языки, расходятся, возмущенные, по домам.

Митя случайно встречает одинокую больную женщину с ребёнком. Он хочет ей помочь, но женщина внезапно умирает. Митя несёт ребенка Шурочке. Гости и Шурочка убеждены, что это ребёнок Мити. Обыватели возмущены его поведением. Шурочка лежит в обмороке и, когда приходит в себя, порывает с женихом. Митя в отчаянии, он хочет покончить с собой и идет топиться.

Мимо реки проходит «неизвестный» с повязкой на глазу. Дулом револьвера он принуждает Митю выйти из воды. Когда дрожащий Митя чувствует, что он остался жив, его охватывает радость жизни. «Неизвестный» доказывает Мите, что жизнь прекрасна. На другой день он роет на площади могилу Мите, оплакивая «самоубийцу». Ханжествующие обыватели щедро жертвуют деньги и устраивают Мите пышные похороны, забыв о том, что они сами довели его до самоубийства.

Во время похоронной процессии Митя встает из гроба, благодарит за пышные похороны и отправляется на вокзал. Его мать и Шурочка, искренне оплакивавшая Митю, уезжают с ним.

У Охлопкова было страстное желание сделать цикл картин о недотёпе Мите. Но поскольку большинство критиков встретили фильм враждебно, обвинив режиссёра в формализме и отсутствии классового самосознания, то дело заглохло.

К сожалению, ранние картины Охлопкова не сохранились, сгорели во время войны. И «Митя», и следующий, научно-фантастический фильм «Проданный аппетит», поставленный по сценарию Эрдмана и Мариенгофа.

«Проданный аппетит» (другое название «Филантроп») был написан сценаристами по мотивам известного одноимённого памфлета Поля Лафарга – французского экономиста и крупного марксистского теоретика (к тому же и зятя К. Маркса). Главный персонаж рассказа безработный, говоря по-современному, бомж Эмиль Детуш. Он голоден до предела – не ел уже три дня. И вдруг незнакомый солидный прохожий привёл его в ресторан, где накормил до отвала. Сам же при этом толстяк ничего не ел – у него полное отсутствие аппетита, из-за чего пожилой человек страдал.

Но пир для Эмиля – это не просто филантропия. Крупный промышленник толстосум Ш. предлагает Детушу сделку: он, Ш., купит у молодого человека аппетит, будет охотно есть, а насыщаться без всякой еды станет Эмиль. Нужно только подписать контракт у нотариуса.

«Не разглядывайте меня так. Я не сатана, чёрт возьми! Я такой же смертный, как и вы. Но ни одно живое существо не обладает тем, что я могу сделать. Мои познания превосходят знания других людей. Все могущество Наполеона I и все знания Дарвина не давали им возможности обедать два раза в день. Я же обладаю этой таинственной и ценной способностью. XIX век, как заявил великий философ буржуазии, Огюст Конт, есть век альтруизма. И действительно, ни одна другая эпоха не знала такого крайнего использования одних людей другими. Эксплуатация человека капиталистом так усовершенствована, что наиболее индивидуальные качества, способности, присущие данной личности, могут быть использованы для других. Даже для защиты своей собственности капиталист полагается уже не на свое мужество, а на мужество пролетари-

ев, переодетых в солдат. Банкир потребляет честность своего кассира, а промышленник – жизненную силу своих рабочих, как развратник пользуется женщинами с мостовой. Однако две способности ускользают еще от капиталистического алтруизма: способность женщины к деторождению и пищеварительная способность. Никто не мог еще превратить их в товар, сделать их способными быть продаваемыми и покупаемыми, как уже продаются и покупаются невинность девушки, добродетель священника, совесть депутата, талант писателя и знания химика. Человек, который совершит это чудо, будет более велик, чем Карл Великий, и более великий ученый, чем Ньютон... Бедняк не будет больше опасаться своего ужасного врага – голода: он будет развивать свой аппетит, который станет желанным товаром для миллионера, всегда жаждущего этого верховного блага, которого не могла открыть греческая философия. Какой заработок будет тогда у бедняков! Я же знаю благодетельное искусство заставлять других переваривать то, что я ем». (Честно говоря, цитирую этот рассказ по Интернету, переводчик там не указан.)

Эмиль продал свой аппетит на пять лет. Отныне он никогда не ел, этим с удовольствием занимался Ш., но был всегда сыт. Через какое-то время желудок Детуша от бездействия стал дряблым. Позже Ш. пристрастился к выпивке, пьянел же при этом Эмиль, который в конце концов угодил за хулиганство на два года за решётку. Правда, всесильный Ш. тотчас его освободил.

Обозлившийся Детуш хотел было разорвать контракт, однако нотариус не позволил. Тогда он решил покончить с собой – его спасли, да вдобавок приставили надзирателя. Теперь подавленный своими неудачами Эмиль жил по команде надсмотрщика. Однажды, напоив того, Эмиль убежал, чтобы застрелить Ш. Но, промахнувшись, только ранил его, а сам угодил в сумасшедший дом...

Эрдман и Мариенгоф недалеко ушли от схемы оригинала. В их сценарии, изрядно переев, обжора-миллионер понял, что загубил собственный желудок. Нанятый ученый – профессор Фукс – предлагает больному новый хирургический способ лечения, который бы позволил разделить процесс насыщения и процесс пищеварения. Для этого необходимо найти здорового человека, согласившегося предоставить свой желудок в распоряжение хирурга. Такого человека нашли, и вскоре миллионер уже демонстрировал гостям фантастические способности поглощения пицци. Мучительные ощущения перегруженного желудка испытывал при этом не обжора, а подвергшийся операции безразличный шофер.

Из тех пяти немых фильмов, к которым имел отношение Эрдман-сценарист, сохранился лишь «Дом на Трубной». Сейчас его без проблем можно даже посмотреть в Интернете. Причём эта картина, выпущенная в 1928 году, не просто сохранилась, а стала поистине классической, непременно упоминается в учебниках по киноискусству и энциклопедиях.

В наши дни «Дом на Трубной» смотрится с интересом в отличие от большинства современных комедий. В декабре 2009-го я был аккредитован на ежегодном фестивале отечественных комедийных фильмов «Улыбнись, Россия!». На нём зрителям представили 17 фильмов, сделанных «за отчётный период». Один скучней другого. Все демонстрировались при гробовой тишине зала. Лишь изредка, когда с экрана доносилась ненормативная лексика, заржут какие-нибудь подростки. И снова – тишина. Думается, показанный сегодня «Дом на Трубной» вызвал бы более оживлённую реакцию.

У этой картины много плюсов. Она прекрасно поставлена режиссёром Борисом Барнетом. Здесь великолепная операторская работа

Евгения Алексеева – каждый кадр чёрно-белой ленты сродни отличной художественной фотографии. Главные роли вдохновенно исполняют Вера Марецкая (это её вторая кинороль после «Закройщика из Торжка») и скончавшийся через год, не доживший до тридцати талантливый комик Владимир Фогель («Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков», «Шахматная горячка», «Кукла с миллионами»).

В Энциклопедическом словаре об этой картине Барнета говорится: «В 1928 Б. пост. комедийный ф. «Дом на Трубной», где с большой искренностью и теплотой рассказал о судьбе деревенской девушки, становящейся участницей строительства новой жизни. Актёрское исполнение (в гл. ролях В. П. Марецкая и В. П. Фогель, мастерство и выразительность натуральных съёмки, достоверность в передаче атмосферы времени отличали эту работу Б.»

Даже столь скупая характеристика способна привлечь внимание к картине, вызывает желание узнать о ней побольше.

Основное действие происходит в большом жилом доме, одну из квартир которого занимает семья Голиковых. Жена – бездельница, из породы тех мешанок в халате, днями напролёт валящихся на кровати да с жеманным видом слушающих патефон. Муж работает парикмахером, а в свободное время дома вынужден заниматься хозяйством. В принципе Голиковы намерены взять себе домработницу. Но с условием, чтобы та не состояла в профсоюзе. Такой безропотной легче помыкать, она не пожалуется, не будет убежать на собрания.

В это время в Москву прибывает деревенская девушка Параша Питунова. Она приехала, надеясь остановиться у своего родственника. Однако тот, как назло, только что покинул столицу и вернулся в деревню, они разминулись. Но тут бездомной Параше повезло – она случайно столкнулась на улице с другим деревенским земляком. Сейчас Семён работает шофёром и живёт на Трубной, в одном доме с Голиковыми. Он временно приютил девушку.

Естественно, ни о каком профсоюзе деревенская девушка знать не знает, и она устраивается домработницей к Голиковым. Супруги действительно обращаются с ней довольно сурово.

Между тем под влиянием активистки Фени Параша втайне от своих хозяев вступает в профсоюз домработниц. Феня уговаривает её пойти в клуб на спектакль. Голиков запретил, велел сидеть в квартире, но она ослушалась – пошла.

Самодельные артисты давали спектакль «Взятие Бастилии». Однако не всё было готово к премьере, в частности не хватало париков. Спешно поехали в парикмахерскую, где работал Голиков. В этом месте идёт потрясающий титр: «Нет ли у вас паричков для французской революции?» Найдутся. Голиков привёз парики в клуб. В это время выяснилось, что один из артистов напился в стельку, и молодёжь уговорила парикмахера вместо него сыграть короля. Голиков согласился, а в зале увидел бурно реагирующую на спектакль простодушную Парашу. Вот безобразница – он же приказал ей сидеть и стеречь квартиру!

Разгневанные супруги выгоняют Парашу из дому. Убитая горем девушка бредёт по ночной Москве куда глаза глядят. А город к утру преобразается, здесь царит праздничное настроение – сегодня выборы в Моссовет. И к вечеру буквально весь дом на Трубной узнаёт, что Прасковья Питунова, служанка Голиковых, избрана депутатом.

Что тут началось! Все соседи лебезят перед Голиковыми, завалили их подарками, украсили квартиру, навели порядок на лестничной клет-

ке. Хозяйка прикрепил на двери её конурёнки бумажку с надписью «Без доклада не входить!». Параша и домой-то не хотела возвращаться, а там «нового члена обожаемого Моссовета» встречают с оркестром...

Естественно, вскоре выяснилось, что никто Парашу не выбирал. Депутатом стала её тёзка и однофамилица. Хозяева выгоняют домработницу, но профсоюз тут как тут – не даёт в обиду. А вот нанимателям Голиковым придётся раскошелиться за нарушение финансовой дисциплины...

Сценарий «Дома на Трубной» писали пять человек: Бэлла Зорич, Анатолий Мариенгоф, Вадим Шершеневич, Виктор Шкловский и Николай Эрдман. Кроме Зорич, имена все известные.

Когда соавторы подписывают свои фамилии под произведением, считается, что их вклад в создание одинаков. Тут уже нечего делить – кто сделал больше, кто меньше, кому конкретно принадлежит тот либо иной эпизод, та либо иная реприза. На бестактный вопрос о степени участия в общей работе, если таковой последует, каждый автор ответит, мол, одинакова. Или отшутится, как Ильф и Петров: «Эдмонд бегаёт по редакциям, а Жюль стережёт рукопись, чтобы не украли знакомые».

Поэтому, возможно, не совсем корректно ставить вопрос о том, что сделал Эрдман в «Доме на Трубной». И всё же лепта, внесённая им в сценарий, просматривается.

Начнём с того, что здесь есть персонаж Семён Бывалов. Через десять лет эта фамилия перекочевала в «Волгу-Волгу». Вряд ли Николай Робертович взял чужую придумку. Себя же процитировать не грех.

Затем коллизия с ложным возвышением домработницы в «Доме на Трубной». Она чем-то отдалённо напоминает ситуацию вокруг кухарки Насти из «Мандата», которую обряжали в императрицу.

Да и вообще отношение жильцов дома на Трубной к лжедепутатке мало чем отличается от отношения персонажей пьесы к Гулячкину. Только если Павел Сергеевич самозванец, то Параша считается обладательницей депутатского мандата не по своей воле, а в результате случайного совпадения. (Кстати, Параша из «Дома на Трубной» стала первой представительницей когорты советских киношных Золушек, то бишь замарашек, постепенно обретающих классовую сознательность и уходящих в бурную общественную жизнь. Из самых известных таковыми потом будут героини «Весёлых ребят» и «Светлого пути». И забытая деревенская женщина той же Марецкой в «Члене правительства» дойдёт до того, что станет управлять государством.)

Второй сценарий, который Эрдман написал в соавторстве со своим другом Анатолием Мариенгофом в 1928 году, когда «имажинистские» страсти остались далеко позади, назывался «Посторонняя женщина». (К сожалению, тоже не сохранился. Благо хоть есть сценарий, опубликован.) Он представлял собой нечто среднее между комедией и мелодрамой. Как и в «Доме на Трубной», действие разворачивается в годы нэпа. Проводив беременную жену в деревню, комсомолец Павел Кудряшов приютил у себя отставшую от поезда молодую женщину. В чисто дружеских отношениях Павла к «посторонней» женщине местное мещанство усмотрело преступную связь. Ревнители морали разослали кому положено письма, и вскоре в городе появились прокурор Казаринов (муж «посторонней») и жена Павла. Блестяще выступив в служебной обстановке, защитник женского равноправия тем не менее не смог полностью освободиться от чувства ревности и недоверия к собственной жене...

Писать сценарии для немых фильмов гораздо сложнее, чем для звуковых, где действие можно заменить рассказом о них, словами. Сценаристы

немых фильмов – настоящие пионеры кинодраматургии, первопроходцы её извилистых путей. Сценарии звуковых фильмов ближе к литературе, немых – порой напоминают инструкцию режиссёрам и актёрам. Здесь авторы продумывают содержание кадра, продумывают каждое движение персонажей. Любой эпизод, подобно пантомиме, должен быть выразительным. Надписями злоупотреблять не рекомендуется, они должны появляться лишь в крайних случаях. Да и к надписям особые требования – количество букв на экране ограничено, не станешь же заставлять кинозрителей читать книгу.

Для примера посмотрим фрагмент из «Посторонней женщины». Каждый план пронумерован.

Главная героиня отстала от поезда и видит мужчину с чемоданом. Она не знает, что это воришка, который только что стащил из вагона её чемодан.

«124. Елена Николаевна с чайником в руке бежит к поезду. Всё скорей, скорей.

Колёса вагонов движутся всё скорей, скорей (в одном кадре – пассажиры).

125. Удаляющийся поезд открывает стоящего с другой стороны пути против Елены Николаевны молодого человека с её вещами. 126. Елена Николаевна стоит со своим чайником и безнадежно смотрит на убегающий огонёк. Переводит взгляд на молодого человека.

127. Молодой человек, тоже посмотрев вслед удаляющемуся поезду, перевёл взгляд на Елену Николаевну и, узнав её, от неожиданности садится на чемодан...

128. Платформа. Елена Николаевна смотрит на молодого человека и решительными шагами направляется к нему.

129. Молодой человек ни жив ни мёртв сидит на чемодане. Елена Николаевна подошла к нему.

130. Молодой человек вскакивает и собирается потихоньку улизнуть. Чемодан на шпалах.

131. Елена Николаевна в волнении хватается за руку и, волнуясь, говорит:

«Помогите мне – мои вещи остались в поезде».

132. Молодой человек приходит в себя, соображает и, загородив собой вещи, советует:

«Пока не поздно, бегите к дежурному».

133. Елена Николаевна соглашается и бежит к дежурному, поблагодарив на ходу любезного молодого человека. Молодой человек хватается за вещи и удирает в другую сторону»*.

Всего в сценарии 668 планов.

«Постороннюю женщину» собирались ставить на московской фабрике «Совкино» несколько режиссёров, в том числе А. Разумный и А. Роом, потом все по тем либо иным причинам отказывались. Лишь осенью 1928 года согласился работавший в должности ассистента режиссёра молодой Иван Пырьев, мечтавший о самостоятельной постановке. Эрдман знал его, поскольку тот работал в театре Мейерхольда, играл в «Лесе». Как ассистент Пырьев был на хорошем счету, на «Совкино» его называли «королём ассистентов», считали, что любому режиссёру он приносит удачу. Наступала осень, и чтобы не было лишних сложностей с натурными съёмками, Пырьев быстро переписал сценарий – теперь его действие происходило зимой.

* «Киносценарий», стр. 113–114.

Картина была благосклонно принята зрителями. Тому есть и документальные подтверждения. Например, сохранившаяся стенограмма диспута об этой бытовой комедии, организованного ячейкой общества друзей советского кино (ОДСК) при Таганском кинотеатре 4 сентября 1929 года. Выступающие говорили о том, что в «Посторонней женщине» зримо высмеяно проявление мещанства, пошлость старого быта, сплетники новой формации, интересно показаны взаимоотношения комсомольцев, их там 15 человек, с остальными жителями захолустного городка (некоторым участникам дискуссии не понравилось, что комсомольцев так мало). Были претензии и к обывателям, которые получили излишне лубочными. Есть и другие натяжки. Но главная заслуга авторов в том, что они обрушились на такие пережитки прошлого, как сплетня и ревность*.

После успеха «Мандата» Эрдман без дела не сидел. Он фонтанировал идеями, был соавтором обозрения «Житьишко человечье» в Ленинградском театре сатиры (с Д. Гутманом, Н. Смирновым-Сокольским и В. Типотом), обозрения «Одиссея» в Ленинградском мюзик-холле (с В. Массом), либретто оперетты «Боккаччио» в Ленинградском Малом оперном театре (с В. Массом). Это то, что увидели зрители. А ведь были ещё готовы вещи, запрещённые цензурой к постановке, – сценарий антирелигиозного обозрения «Божественная комедия» и одноактного представления «Телемак». Обе были написаны в соавторстве с В. Массом, творческий союз с которым продолжался почти десять лет. И – кино. Всё-таки за плечами пять фильмов, правда, четыре из них в соавторстве. «Митя» же на сто процентов свой. Вот эта картина отняла у Эрдмана много времени, поскольку он помогал Охлопкову на съёмках и в монтаже. В принципе Николай Робертович считал, что своё дело сделал, за съёмками ему следить не обязательно. Вернулся было в Москву, как опять слёзное письмо от режиссёра. 3 октября 1926 года Охлопков просил: «Напиши, когда тебе удобнее будет приехать сюда. А приехать ты должен обязательно, конечно. Мне трудно без тебя. Не с кем советоваться, а в этом крайняя нужда. Особенно теперь, когда уже с достаточной очевидностью «выяснилось», что при заснятии всех сцен, всего сценария и уложении всего этого заснятого в одну серию – монтировать «гексаметром» не придётся. А значит, и ставить некоторые сцены нельзя спокойно. Понятно, что трудно первые 40–50 лет, потом уже найдёшь сразу мерку для объёма. Ты, пожалуйста, от ухода от «гексаметра» не хандри. Материал сценария замечателен и так ловко скроен драматургически, что ничего не выкинешь. Одно цепляется за другое. Значит, снимать надо будет в большинстве случаев всё – ну а это пойдёт уже невольно в ущерб принятой установке на спокойный монтаж, на эпическое развёртывание сюжета»**.

Именно из-за «Мити», снимавшегося в Одессе, Николай Робертович провёл в городе у Чёрного моря вторую половину 1926 года. Хотелось в Москву, хотелось увидеть у Мейерхольда премьеру «Ревизора», которая состоялась 9 декабря. Но не сумел вырваться. Послал шутивную телеграмму, поздравив Всеволода Эмильевича «с первой постановкой «Ревизора» на русском театре». Жил в гостинице и в свободное время работал над новой пьесой. Пьеса это называлась «Самоубийца».

* РГАЛИ, ф. 2494, оп. 1, ед. хр. 275.

** РГАЛИ, ф. 2570, оп. 2, дело 24.

Александр КОТЮСОВ

Родился в 1965 году в Нижнем Новгороде. По образованию физик. Кандидат физико-математических наук. Работал в федеральном правительстве, был заместителем министра, депутатом Государственной Думы (фракция «Союз правых сил»). В настоящее время депутат Думы Нижнего Новгорода.

Автор двух сборников прозы, рассказы печатались в журналах «Нева», «Знамя», «День и ночь», «Сибирские огни» и др. Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде

МЫ УЖЕ ЖИЛИ В ПОХОЖЕЙ СТРАНЕ...

О романе Евгения Чижова «Перевод с подстрочника»

В переводе с татарского «коштыр» означает «подобие резкому шороху, хрусту». Впрочем, татарский здесь ни при чем, речь в романе Евгения Чижова не о Татарстане вовсе, повествование совсем о другом, о несуществующей стране, Коштырбастане, которую невозможно найти ни на какой карте мира. Однако! Однако чем дальше читатель уходит в глубь романа, тем чаще посещает его мысль – что-то в этой книге знакомо и близко. Что?

«Перевод с подстрочника» номинировался на самые главные российские премии: «Национальный бестселлер» и «Большая книга». Первый раз попал только в лонг-лист. Во втором случае шагнул дальше и оказался в финале, пожалуй, самой престижной литературной премии. Оказался, но не занял там ничего. Ни первого места, ни второго, ни третьего. Да и не мог, на мой взгляд, ничего занять. Почему? – спросит читатель, – неужели столь плохая книга? Вовсе нет, отвечу я, наоборот. Слишком хорошая. Проблема в том, что книга эта только на первый взгляд художественная. В романе больше политики. Намного больше. Просто рассыпана она на страницах литературного произведения и читается иносказательно, словно у Салтыкова-Щедрина.

Сюжет произведения прост – переводчик-поэт Олег Печигин отправляется в неведомую страну из Москвы (подчеркну здесь, что из Москвы, это важно, имеет значение) для того, чтобы на месте начать работать над переводами стихов самого великого поэта Коштырбастана, Президента Рахматкула Гулимова, или, как все называют его здесь, на родине, – Народного Вожатого. Далека от России страна Коштырбастан. Ехать до нее на поезде не один день. Когда-то Россия и Коштырбастан были частями единого государства. Но это все в прошлом.

Потом пути разошлись. Переводчик не знает коштырского. Он везет с собой подстрочник, дословный перевод, сделанный кем-то до него. Задача Печигина – задать размер, выстроить рифму, передать настроение. От переводчика зависит многое. Он должен чувствовать того, кого переводит, вжиться в поэта. Печигин едет по приглашению старого друга, коштыра Тимура, с которым они когда-то учились в одном классе. Тимур – важное лицо в стране, один из руководителей государственного канала, известная медийная персона, человек, по долгу службы призванный «толковать» каждый шаг Президента, формировать его имидж в средствах массовой информации. Это его идея перевести стихи Народного Вожатого на русский. Зачем? Образ Президента в России не идеален. Россияне считают Рахматкула Гулимова деспотом, тираном. «Все, что вы читали и слышали о нашей стране, – только часть правды. В действительности все гораздо хуже, – рассказывает Олегу случайный попутчик в поезде. – Прошлой зимой, в холода, вымерли сотни людей. Все средства массовой информации под железным контролем власти, в них нет ничего, кроме славословий Гулимову. Разрушенное гражданской войной хозяйство не восстановлено, дехкане живут впроголодь, все, кто может, уезжают из страны». Тимур Касымов призван участвовать в очеловечивании образа лидера государства. Деспот, считает Тимур, не может писать стихи. Тем более хорошие. А раз он пишет – значит, он не деспот. Значит он – Человек. Самый человечный из людей. Все просто. Между строк романа начинает мелькать что-то знакомое.

Читая роман, не можешь отделаться от впечатления, что написан он вовсе не про далекую и несуществующую страну. Автор словно специально, многократно, часто, регулярно, излишне часто подчеркивает, что страна эта Коштырбастан – бывшая республика в составе СССР. Коштырбастан. Сколько на первый взгляд знакомого в его описании. Жара, пустыни, бедность. Узкие глаза, плоские лица. Таджикистан, Узбекистан, Казахстан? Не обобщенный ли образ бывшей среднеазиатской республики Союза рисует нам автор? Словно пытаюсь убедить (вертится слово – обмануть) цензора (а разве они есть сегодня?), Чижов раз за разом, чаще, чем того требует сюжет, произносит название нашей страны, России, название столицы, Москвы. Роман не про Россию, словно мантру произносит автор, видите, вот и Печигин едет не откуда-то, а из Москвы. И все же! И все же, чем дальше углубляешься в чтение, тем ярче становится ощущение, словно автор подмигивает тебе, подмигивает незаметно, одним глазом. И губы его шепчут – не верь.

Жизнь дает Печигину неожиданный шанс. «Коштырбастан – страна, где нет ничего невозможного». В Москве он заурядный поэт, выпустивший всего одну собственную книгу тиражом в несколько сотен экземпляров. Его фамилия никому неизвестна, разве что несколькими его почитателям из личных друзей. От него ушла любимая девушка. Он живет один, зарабатывает переводами. В Москве, в России, его ничего не держит. Касымов приглашает Олега в страну из восточной сказки, «полную плещущих в тени фонтанов, прохладных фруктов и таинственных женщин». Коштырбастан дает шанс изменить жизнь и, главное, дает возможность стать великим. Великим поэтом! «Только на коштырских просторах еще осталось место для величия». Конечно, не таким великим, как Народный Вожатый. Он вне конкуренции. Впрочем, в Коштырбастане все поэты.

Коштырбастан встречает Олега своим колоритом. Современная восточная столица. «Мужчины в строгих костюмах или белых рубашках

с галстуками и тюбетейках, женщины в длинных платьях из ярких тканей». Башенные краны, люди в спецовках, несмолкаемый гул строек, самосвалы, горы свежего дымящегося асфальта. Над всем этим памятник Президенту. «На две головы выше статуи Свободы в Нью-Йорке». Вот как! Отец всех народов смотрит за тобой, думает о тебе. Вспоминается Оруэлл. А еще много-много портретов лидера, в магазинах, ресторанах, государственных учреждениях и далее везде... Снова, снова что-то родное видит читатель.

Чем дальше углубляешься в чтение, тем отчетливее начинаешь понимать, что Чижов пишет не восточную сказку. Если бы он хотел написать про режим в одной из бывших стран Советского Союза, то, возможно, назвал бы ее открыто. Многие из тех, кто интересуется жизнью Таджикистана или Узбекистана, знают про то, как нелегко живется в этих государствах. Почитание первого лица, культ личности, золотые памятники лидеру при жизни, тщеславные стройки и проекты, отсутствие оппозиции, внешний блеск снаружи и глубочайшая нищета внутри. Чижов пишет не про бывшую советскую республику. И роман его вовсе не антиутопия в стиле Оруэлла или Замятина, как пытаются подать книгу некоторые рецензенты. Произнесу крайне крамольную мысль. Чижов пишет предостережение России. Узкие глаза, плоские лица, пустыня, жара, неизвестный язык – вся эта иносказательность лишь упаковка, сняв которую, ты начинаешь понимать, что роман Чижова – роман-предостережение. Да-да, именно предостережение.

Подчеркну снова, Чижова неправильно ставить в один ряд вместе с Оруэллом и Замятиным. Классики художественной антиутопии рисовали гротеск, страшный мир, который невозможен даже теоретически. Мир тотального контроля за каждым, мир в котором любой человек виден, слышен и управляем. Читая их, мы чувствовали себя защищенными, понимающими, что описанные в тех романах события, ни при каких обстоятельствах в нашем государстве невозможны. Роман Чижова намного более страшен. Страшен, потому что правдив и многое в нем узнаваемо. Те, кто жил в тридцатые или читал о них, узнают подозрительную и карающую сталинскую эпоху, люди среднего поколения вспомнят застой семидесятых, культ личности Брежнева. Все происходящее в книге знакомо, не вызывает ни удивления, ни недоумения, кажется чем-то домашним и близким. Мы читаем роман, словно происходящее в нем – это действительность уже прожитых нами или нашими родителями лет. Или же действительность жизни в сегодняшних восточных странах бывшего СССР? Восток – дело тонкое, вспоминаются слова героя фильма «Белое солнце пустыни», там, на Востоке, это вроде бы обычное дело – диктаторский режим, тотальный контроль, безропотное почитание лидера, возведение его в статус небожителей... Вот только не о том пишет Чижов. Точно так же как сцены в пустыне режиссер фильма снимал на Куршской косе в Калининградской области, так и роман свой Чижов пишет не о Коштырбастане. Пишет он его о нас и для нас, предостерегая о том, что и мы можем, не желая того, оказаться в жизни, где есть красивая восточная картинка, не имеющая ничего общего с реальностью. Она словно тот очаг на холсте, который проткнул своим носом любопытный Буратино, за ней бедность, страх, пустота.

«Столица – это не Коштырбастан. Столица – это витрина. Действительное положение вещей вы узнаете, только если съездите в районы», – говорит переводчику представитель оппозиции. «Москва – не Россия», – отражается эхом знакомая каждому фраза.

Так и есть. Печигин приезжает в село. Погрузиться в аутентичность. Познать глубинку. Всего лишь несколько километров от столицы – и Олег видит другую жизнь. Обугленные развалины, полуразрушенные дома, играющие возле них голые дети. Совхоз имени 22-го съезда Коммунистической партии Коштырбастана. Коммунистической партии давно уже нет. Но ведь кому-то нужно снять эту вывеску, поменять на другую. Для кого, зачем? Иностранцы здесь не бывают. Местным все равно, как называется место, где они живут. Жизнь для них встала. Да и сами они стоят. Пьют, много пьют. С водкой легче переносить пустоту. Гарантированная нищета! Пенсия в пересчете на доллары не дотягивает до тридцати. Тоска! «Ты с ними поосторожней, – предупреждают Олега, – тут людей за мобильник убивали. И не по злобе, а так, со скуки».

Роман нельзя назвать идеально выстроенным. Один из недостатков книги заключается в странных персонажах, на которых автор обращает внимание читателя, но которые исчезают из книги, словно не доиграв свою роль. Они подобны шороху, хрусту. Они коштыры. Куда-то пропадает пастух, следящий на протяжении десятков страниц за Олегом, мы так и не узнаем, по чьей инициативе он за ним следил. Как-то неожиданно обрываются вроде бы начинающие чувства Олега к служанке Дарине. Возникают и сюжетные вопросы. Удивляет, зачем оппозиция устраивает покушение на двойника Народного Вожатого, почти гарантированно зная, что он двойник. Неясна роль Касымова, который словно режиссирует все события, но невооруженным глазом видно, что режиссура эта непрофессиональная.

В романе многое строится через поэзию. В нем много стихов. Стихов, принадлежащих перу Народного Вожатого, стихов из подстрочника. А может, не ему вовсе, а поэту Фуату, который якобы отдает их своему бывшему другу в обмен за жизнь сына, подозреваемого в организации покушения на Президента. Впрочем, это неважно. Хотя... хотя вновь и вновь автор проводит параллель. А что, думаешь, Брежнев свою Малую землю сам писал, – спрашивает кто-то, и ты, живший в те, уже далекие семидесятые, все вспоминаешь, словно было вчера. Чижов перекрещивает поэзию и политику. Поэзию и жизнь. Если в Москве поэты спорят друг с другом, собираются каждую неделю, читают стихи, ищут истину, правду, то в Коштырбастане никто не спорит. В Коштырбастане есть лишь один поэт. Или, если быть справедливым, в Коштырбастане каждый поэт. Только один из них самый главный. Он пишет стихи, и они становятся законами, постановления, указами. Другие не имеют на это права.

Самый, пожалуй, главный, базовый момент всей книги – это трагедия, описанная в конце первой главы. Олег Печигин и его друг, учитель, поэт Владик Коньшин смотрят телевизор и пьют водку. По телевизору показывают войну. Федеральные войска уничтожают боевиков в Чечне. «Лысые головы, заросшие густой щетиной спокойные мертвые лица, у одного сквозь спутанные клокья бороды виднелся острый кадык. Потом лагерь беженцев, палатки в осенней грязи, косящиеся на камеру подростки, чеченская старуха с черным ртом, громадными глазами и руками». «В общем, ничего особенного, все то же, что и всегда, – подмечает Чижов, – к чему все давно привыкли». Сцена, которую... которые каждый из нас видел по телевизору десятки, сотни раз, давно уже не вызывает никаких эмоций. Для Владика Коньшина, друга и учителя Олега Печигина, она становится решающей в жизни, в его судьбе.

«Будь я настоящим поэтом, я б мог прекратить эту бойню, – заикаясь, произносит он. – А так это просто испачканная чернилами бумага. Грязная бумага, больше ничего». Коньшин не может остановить войну, и эта невозможность изменить мир приводит к трагедии. Пьяный, он начинает жечь свои стихи и засыпает в кладовке, куда направился за керосином. Засыпает и погибает в огне, так и не остановив войну.

Через много лет в Коштырбастане история повторяется. Только с другими действующими лицами и гораздо трагичнее. Еще один поэт, тогда командующий дивизией, будущий Президент страны, убивает невиновных граждан, сочувствовавших оппозиции. Отдает команду своим подчиненным сжечь заживо мирных людей. И лично принимает в этом убийстве участие. Рассказ об этих событиях, случившихся в Коштырбастане за много лет до описанных в романе дней, производит на Олега гораздо большее впечатление, чем смерть чеченцев, которую он на протяжении многих месяцев ежедневно видел по телевизору во время чеченской войны. В голове Олега не может уложиться – разве возможно, чтобы поэт уничтожал невинных людей. Рахматкул остановил гражданскую войну, которая долгое время шла в его стране. Но какой ценой?! И разве он может называться поэтом после этого?! Разве может поэт убивать? Эти вопросы весь оставшийся роман не дают Олегу покоя, мешают ему, заставляют становиться другим и видеть окружающий его мир по-новому. Огонь, в котором сгорели невиновные, словно очищает Олега, меняет его.

Много ли осталось жить больному Рахматкулу, долго ли ему еще управлять страной? А может быть, его уже нет и страной правят иные люди, демонстрируя народу вечно молодого двойника лидера. Кто вообще управляет государством, в котором живут запуганные, но как будто искренне любящие своего вождя граждане страны Коштырбастан? Чижов не отвечает на этот вопрос. Это не его задача. Его задача – показать бесперспективность развития пути, по которому идут государства, держащие своих жителей в нищете и страхе.

Роман держит в напряжении. Держит не сюжетом и не языком. Держит, пожалуй, ощущением безысходности, разбросанным по страницам пессимизмом и даже для кого-то ностальгией прошлых лет. Роман хорошо читать в атмосфере надвигающегося экономического кризиса. Читать и думать о том, как хорошо, что мы не живем в Коштырбастане. Хотя... Хотя это все условно. Где-то в похожей стране мы уже жили. Сорок ли лет назад, семьдесят ли пять. Главное сегодня – не оказаться в этой стране снова. Живешь, любишь женщин, читаешь стихи, пьешь вино, отдыхаешь, работаешь. А потом случайно находишь где-то старый подстрочник, начинаешь листать... и оказываешься в Коштырбастане...

Вячеслав ФЕДОРОВ

Родился в 1947 году в г. Шумерля Чувашской Республики. Журналист, краевед. Более двадцати лет работал в горьковской молодежной газете «Ленинская смена», вел военно-патриотическую тему. Побывал во многих военных и во всех пограничных округах, в горячих точках: афганское приграничье, Нагорный Карабах, Чечня.

Автор трех книг и составитель десяти сборников на военную тему, за которые получил премии Министерства обороны СССР, главкома ВВС, начальника погранвойск СССР.

В настоящее время редактор отдела газеты «Земля нижегородская». Живет в Нижнем Новгороде.

ПИРАТЫ ВОЛГИ

На Волге их называли разбойниками, вольницей, ушкуйниками, ватажниками и даже по-современному – братками. Мы назовем их пиратами. Ужас, который они наводили на реке, был не меньше, чем от их морских собратьев – флибустьеров и корсаров.

С речными пиратами боролись все последние российские цари, но даже усилия власти ни к чему не приводили. В народе о речной вольнице слагали легенды и песни. Разбойники представляли в них даже очень романтичными натурами, для которых воля была смыслом жизни. Историки в своих трудах относили их то к злодеям, то к народным заступникам. Видимо, были и те и другие, но пираты есть пираты.

Легенды о награбленных сокровищах, которые они где-то прятали, живут до сих пор. Где были эти острова сокровищ? На Волге, правда, это были не острова, а горы. Где-то в глубоких пещерах хранили речные пираты свою добычу. Кладоискатели во все времена говорили, что сокровища те несметные, но никому они не даются. Попыток отыскать их было множество, наша – очередная.

«Сарынь на кичку!»

В былые, то есть в совсем старые, времена у каждой большой дороги водились людишки, чьи завистливые глаза застлали чужие денежки. Баловали они на тех больших дорогах грабежами, и спасу от них не имелось.

Волга-река ведь тоже, считай, была большой «Божьей вольной дорогой» и по ее берегам немало разбойничков водилось. Многим из них за причиненное зло невольная честь выпала: то волжский утес до сих пор кличут именем лихого ватажника, то лес, примыкающий к реке, то гору.

Изводили эти названия с волжских карт да из памяти, но въедливы они очень. На картах, может, их и нет давно, а в народной памяти остались.

Лихая слава о волжских разбойниках идет с XI века, когда под Нижним Новгородом объявились ушкуйники из Великого Новгорода. Они разведали, что здесь на пересечении двух рек собирается торговый люд из разных земель и поживиться есть чем. Стремительные лодки-ушкуи врезались в торговые караваны, и родившийся в те времена разбойный клич: «сарынь на кичку!» вмиг усмирал купцов. Генерал-майор Апухтин в «Кратком историческом очерке развития и деятельности Ведомства путей сообщения за сто лет его существования» писал о бесчинствах разбойников, встречавших торговые караваны на пути к Макарьевской ярмарке:

«Изрекаемое ими (разбойниками. – *Авт.*) при входе на барку варварское слово погружает весь народ в безмолвное повиновение».

Точного значения разбойничьего повелительного клича не разгадал даже дотошный собиратель фольклора Владимир Иванович Даль. И все же он предположил, что «сарынь» – это тот народ, который находился во время нападения разбойников, на торговом судне. А «кичкой» называли нос судна. Так что разбойнички и всего-то требовали удалиться всем в диктуемое ими место и не мешать процессу грабежа.

«Сарынь» бухалась на палубу «кичкой» – уже своим носом на носу судна и лежала, закрыв глаза, чтобы не видеть лиц бесчинствующих удальцов. Малейшее сопротивление влекло за собой смерть.

Для облегчения процедуры грабежа был даже отработан ритуал. Хозяин судна вручал старшему рабочему откупные деньги, а сам в это время запирался в своей каюте и бил земные поклоны «во спасение» перед иконою. Но хорошо, если пираты были довольны только откупным «крышеванием» и содержимое судна их не интересовало.

Приметный образ волжского ушкуйника сохранился в народной песне:

На них шапочки собольи, верхи бархатны,
 На камке у них кафтаны однорядочны,
 Канаватные (стеганные на вате. – *Авт.*) бешметы в одну нитку строчены,
 Галуном рубашки шелковые обложены,
 Сапоги на них, на молодцах, сафьяновы,
 На них штанишки суконны
 По-старинному скроены...

Не все сегодня понятно нам из атрибутов моды того времени, но, видно по всему, куражилась волжская братва, похваляясь своей удалью, и даже не скрывала свою всем приметную «униформу». Но не пойман – не вор, даже если и все знают, что он еще хлеще – разбойник.

Подаваемые купеческие жалобы о налетах ушкуйников заканчивались стандартными фразами «и суда на них нигде нет».

Между тем и на сухопутных дорогах существовал свой клич, более спокойный, но не менее страшный. Писатель Иван Бунин раскрывает нам его в одном из своих рассказов:

«...Вот они (разбойники. – *Авт.*) – не спеша идут наперерез тебе, с топориками в руках, туго и низко, по самым кострецам, подтянутые, с надринутыми на зоркие глаза шапками, и вдруг останавливаются, негромко и преувеличенно спокойно приказывают: "Постой-ка минутку, купец!"»

Но это так, к слову. Нас больше интересуют разбойники речные.

Пробовал усмирить новгородских ушкуйников великий князь московский Дмитрий Иванович. Это будущий герой Отечества – Дмитрий

Донской. Он обратился к новгородскому вече с просьбой унять молодцов, но получил ответ, что «ходили те молодцы без нашего слова, по своей охоте, и где гуляли – то нам неведомо».

А новгородские молодцы продолжали ходить по Волге, но теперь уже не одиночными ватажками, а войском. Летописи говорят, что досталось от их набегов в 1371 году Ярославлю и Костроме, а в 1375 году и Нижнему Новгороду. Около двух тысяч ушкуйников на семидесяти лодках ворвались в волжские пределы и громили всех, кто попадался на их пути. Даже Золотой Орде от них доставалось. «Они многих христиан в полон поведоша с женами и детьми». Где ж они их прятали, что даже новгородское вече не могло узреть такой добычи?

Историки, изучавшие речной разбой, оставили в своих трудах имена атаманов ушкуйников Прокофия и Смолянина, «пограбивших и пожегших» Нижний Новгород.

Позднее новгородские ушкуйники бились вместе с князем Дмитрием Ивановичем на Куликовом поле. Бились храбро, а потому князь не гневался на них более и предпочитал не знать о речных прогулках новгородской братии. Правда, однажды все-таки досадили ему новгородцы, и он пошел на них войной. Но сумели они откупиться от княжеского нашествия, заметно пополнив его казну.

Исторические хроники говорят, что последний раз Нижнему Новгороду досталось от ушкуйников в 1409 году...

За наведение порядка на Волге взялся Петр I. Пытался он войско на разбойников бросить, но понял, что тут никакой армии не хватит. А потом, любой разбойник, если он до того тавром не мечен был, мирным рыбачком прикинется, и поди возьми его.

Хорошо подумавши, Петр I решил повысить статус бурлаков и предписал им хранить перевозимое хозяйское добро. Двух зайцев решил подстрелить царь: и Волгу обезопасить, и бурлаков вместо армии на борьбу мобилизовать. Был и третий тайный заяц, о котором Петр Алексеевич догадывался. Разве ж не бывают бурлаки заодно с разбойниками? Лихие люди тоже своими головами дорожат и на караван, если там нет верной добычи, нападать не станут. А кто им о ней сообщит? Да бурлаки и наведут. Им тоже ведь от добычи перепало. А обязав их охранять хозяйское добро, Петр I связал их долгом, за невыполнение которого могло последовать наказание. Так что, нанимаясь на работу, бурлак должен был подумать, стоит ли воплощать свою тайную мысль в дело и не лучше ли честным вернуться к своей семье.

Наказания для ватажников были жестокими и показательными. Их подвешивали за ребра на железные крюки и спускали на плотках до самых низовий Волги.

Александр Дюма написал в своем путевом дневнике, что, путешествуя по России, он побывал в казанском анатомическом театре, где ему показали скелеты казненных волжских разбойников.

Но, сколь ни жестоки были расправы за злые деяния, «шалить» на Волге не переставали.

Дочь Петра Елизавета подтвердила строгость отцовских слов своим указом. А от слов и к делу перешла: послала на пиратов войска. Только ищи ветра в поле.

Правда, и стычки бывали. Один из начальников войсковой команды докладывал царице, что выдержал со своими войсками бой, потеряв 27 человек убитыми и потопленными, а еще пятеро были ранены.

У разбойников же бы убит «эсаул и еще до пяти человек, живых получить не мог, ибо при них находились пушки и они весьма вооружены».

Брался за речных пиратов и Павел I. Он отрядил на Волгу полк – 500 уральских казаков, которые несли службу по обоим берегам реки. А в дополнение к этому 20 июня 1797 года издал императорский указ Адмиралтейской коллегии о боевом патрулировании на Волге.

В Казани было заказано строительства девяти легких гребных судов, на которых ставилась одна пушка и несколько фальконетов.

«Три из оных (судна. – *Авт.*) будут занимать дистанцию от Царицына до Астрахани, три от Казани до Царицына, и три от Казани вверх по Волге, кои и будут называться гард-коты реки Волги, и стараться истреблять немедленно, буде же открылись каковыя разбойнические лодки почему и приступить по сему к исполнению».

Само слово гардкоуты заимствовали у французских команд береговой охраны. Какова была эффективность французских речных охранников, мы не знаем, а о наших стражах известно, что в ближайшие два года с начала патрулирования им не удалось обнаружить ни одного разбойничьего гнезда. Что и неудивительно.

Да и какая это была стража. Гардкоутские роты комплектовались из людей, не годных к строевой службе, зачастую опустившихся, от которых начальство не знало, как избавиться. Почувствовав свободу, речные стражники начинали пьянствовать и «творить безобразия». А порой и сами превращались в насильников и разбойников.

Очередной взошедший на престол царь Александр I повелел снабдить гардкоуты оружием – «какое кто пожелает». Кроме того, он повелел взять на учет все лодки прибрежного населения и выкрасить их в разные цвета по губерниям и отметить особыми знаками по уездам, волостям и селениям. Для гардкоутных рот он ввел денежную награду «за каждую пойманную разбойничью лодку».

Статистика тех лет говорит, что на берегах Волги скопилось более 200 тысяч бродяжьего люда, который мог заниматься разбоем.

В конце XVIII века купцы, отправляясь на Нижегородскую ярмарку, вооружали свои суда пушками, но и это не останавливало речных пиратов.

Самым опасным участком Волги считался район нынешних Жигулей. Мы даже не догадываемся сегодня, что само название – Жигули тоже пришло к нам из разбойничьих времен.

Приближаясь к Жигулям, каждый судовладелец задабривал рабочих водкою, чтобы они не наговорили на него лишнего, а сам готовил дань и горячо молился, чтобы господь помог ему преодолеть это страшное место. Здесь «жигулевская вольница» применяла особую пытку – жжение вениками. «Сарынь» удалялась на «кичку», а хозяина судна пытали, нахлестывая запаленными вениками и приговаривая при этом: «Давай деньги!.. Где спрятал?»

Отметим, что в столь «оригинальной» пытке, как жжение вениками, разбойники не были первооткрывателями. В журнале «Русская старина» за 1873 год опубликован документ из дел Тайной канцелярии за 1735–1754 годы. В нем описывалось как палач «...висячего на дыбе ростянет и зажегши веник с огнем водит по спине, на что употребляется веников три или больше, смотря по обстоятельству пытанного».

Так что пираты Волги действовали вполне в рамках государственного дознания, только лишь в свою пользу.

Чтимые «герои»

Вам ничего не говорит имя ушкуйника Анфала? Небольшая подсказка: он был из знатного боярского рода, выдвинувшегося в XIV веке из рядов новгородских посадников.

Не угадали? Тогда последняя подсказка: этому речному пирату установлен... памятник в городе Твери, аккурат на берегу Волги, к которой он был неравнодушен.

Да, скажете, есть там памятник купцу Афанасию Никитину, который в Индию ходил и книгу «Хождение за три моря» написал, но причем тут ушкуйник Анфала? А это одно и то же лицо. Пошаливал будущий путешественник разбоем на Волге, купчишек грабил, а вот в историю вошел как первооткрыватель новых торговых путей.

Ну а имя Ермака Тимофеевича вам должно быть хорошо известно. И ему установлены памятники, как первооткрывателю Сибири. Историки, восхваляя «первооткрывателя», умолчали о его криминальном прошлом.

Летопись «Краткое описание о земле Сибирской» этого прошлого не скрывает и рассказывает, как казаки разгромили на Волге царские суда и ограбили персидских послов. К тому времени ушкуйников на Волге сменили пираты из «казацкой вольницы». Разгневанный царь послал воевод с войском, и они жестоко расправились с грабителями, но летопись помечает, что «500 из них побегоша вверх по Волге, ... в них же старейшина атаман Ермак».

Голландец Н. Витсен, побывавший в Москве в 60-х годах XVII века, писал:

«Отправился, он, Ермак, с шайкой на грабеж на реку Волга и разбил несколько стругов, принадлежавших царю, и вот на всех местах по этому случаю было отдано приказание преследовать Ермака и изловить его».

Ему вторит англичанин Д. Перри, служивший в России при Петре I. По его словам выходит, что Ермак оказался в Сибири, теснимый царскими войсками. Ему ничего не оставалось делать, как идти напролом в неведомые земли. Но гостеприимства он здесь не нашел и схлестнулся с войсками «царя Сибири» Кучума. Река Иртыш стала для речного пирата последним пристанищем и точкой в его разбойной биографии.

Мыслимое ли дело ставить памятники разбойникам, если со временем стало ясно, что они таковыми являлись? Но это мировая практика. Имена пиратов увековечены в географических названиях. В честь пирата Дрейка назван пролив между Южной Америкой и Антарктидой. Знаменитый португальский мореплаватель Васко де Гама, открывший новые земли, был типичным «государственным» пиратом – корсаром, которому было разрешено грабить индийские и арабские купеческие суда в Индийском океане.

Английский пират Генри Морган стал адмиралом британского королевского флота и национальным героем.

Национальным героем для нас сделали лихого атамана Стеньку Разина. Разве не так? Одним из первых памятников при советской власти воздвигли именно ему. Правда, он был отлит из гипса и оказался недолговечным. А на бронзовый его менять почему-то не стали, хотя до сих пор Степан Тимофеевич Разин числится в нашей истории революционно настроенным атаманом, защищавшим народ от царского порабощения.

Как же, в молодые годы он попал в полон к туркам-османам, был рабом-гребцом на боевых судах, бежал – уже герой. Правда, сколотил

он тут же ватажку и стал гулять по Волге-матушке реке, добывая себе «казны сколько надобно».

Надуманная историками биография Стеньки Разина укладывается в словосочетание: был суров, но справедлив. Грабил купцов и не трогал бедных. За это и стал любим в народе. Но это из «оправдательных» легенд более позднего времени.

А более ранние легенды рассказывали совсем о другом появлении Разина на волжских просторах:

«Верстах в 19 ниже Камышина, на правом берегу Волги есть гора, называемая Ураковой, по имени разбойника Уракова, предшественника Разина.

Говорят, что Разин 15-летним мальчиком пришел сверху из Ярославля и поступил в шайку Уракова кашеваром. Более 10 лет исполнял он эти обязанности; но вот как-то раз, когда Ураков хотел задержать проходящее мимо купеческое судно, Стенька закричал ему: «Брось – не стоит: бедно!»

По разбойничьим приметам подговаривать под руку – верный признак неудачи. Ураков пропустил судно, но строго-настрого запретил Разину вмешиваться не в свое дело.

Проходит другое судно, Стенька кричит то же самое. Взбешенный атаман стреляет в него из пистолета, но Разин и не пошатнулся; спокойно вынимает он из груди пулю и, отдавая ее Уракову, говорит: «На, пригодится!»

Ураков в ужасе упал на землю; разбойники, видя такое колдовство, отступили от Стеньки, а тот незаряженным пистолетом застрелил Уракова и стал сам атаманом его шайки».

Что-то нет в этой легенде ни слова о турецком плене и о героическом побеге будущего атамана. А взята эта легенда из книги «По великой русской реке», изданной в 1895 году в Санкт-Петербурге.

Читавшие эту книгу хорошо знали, что Стенька Разин был никаким не национальным героем, а жестоким разбойником, преданным Русской православной церковью анафеме.

Историки не без сомнения утверждают, что Степана Разина не было на нижегородской земле, хотя, если бы ему удалось прорваться к Москве, нашу землю он бы не миновал. Шел-то по Волге. Как известно из истории, его войско разбило у Симбирска. Но многочисленные легенды хоть и косвенно, но утверждают, что на Нижегородчине он все же бывал. Может, как-то тайно прорывался, сквозь кордоны царских войск, посланных на его усмирение.

Следов-то много осталось. А следы – это клады с сокровищами, которые его вольница попрягала. Можно пойти на исторический компромисс: сам Разин до наших земель не дошел, но ватажники его пристанище здесь находили. И точный адрес разбойничьего ареала известен: лесной поселок имени Степана Разина со стеклозаводом его же имени. Располагается тот поселок в гуще сосновых лесов у речки Алатырь. А речка эта хорошо известна сегодняшним кладоискателям, племя которых возродилось от угасшего племени бугровщиков – старинных искателей кладов.

По меньшей мере 12 стоянок разинского войска помечено на картах кладоискателей в этих местах. А по «кладовым записям», ходившим по рукам и продававшимся в списках на базарах, известно около четырех десятков точных мест захороненных сокровищ. Но вот что-то о находках этих кладов ничего неведомо. Может быть, и находили их бугровщики, но кто же об этом кричать на весь свет станет.

Однако Степан Разин отвлек нас от Волги. Вернемся на ее берега, у нас здесь еще остался свой интерес.

Василий Иванович Немирович-Данченко, известный русский писатель, поэт и журналист, а еще старший брат знаменитого театрального деятеля Владимира Ивановича Немировича-Данченко, оставил множество путевых записок. Путешествовать он любил. Нас сейчас интересуют записки о Волге «Река легенд», а в них главка о реке Керженец.

«Каждая пядень земли имеет здесь свое предание, каждая лесная пустынь в вековечной тишине своей хранит целый мир стародавних былин и преданий!.. Атаман Ганька зарыл добра в Комарове с семи пар лошадей; атаман Шмель оставил несметные сокровища на озере Телки; атаман Усище – на Фирсовой рамени стоял крепким станом, построил чуть не каменные палаты, княжеские службы и дворы. Шились у него паруса, строились лодки, ковались мечи и копья. Тут что ни холм – то гладь, что ни озеро – то потопленные сокровища, что ни лес – то невидимый притон – "проклятых душ"».

Кажется, мы вновь от Волги отклонились. Но на этот раз нет. Пираты появлялись на Волге с последними льдинами, которые уносили вешние воды, а уходили к местам зимовок с первым ледоставом. Где же зимовали они? А вот в заволжских лесах и зимовали. Это еще один адрес несметных кладов.

Как пониже-то села Юрина,
А повыше-то села Лыскова,
Против самого села Боголюбова
Протекала тут речка быстрая
По прозванию – речка Керженка,
Выплывала тут коска-лодочка
Воровска коска вся изукрашена...

В одном из июньских номеров газеты «Волгарь» за 1897 год в корреспонденции «С берегов Керженца» читаем:

«Село Хахалы. Хахалы от слова "хохоль" – удалый молодец.

Место, на котором теперь стоит село, было первоначально разбойничьим гнездом при проезжей дороге. Кроме местонахождения и названия села, в пользу такого предположения говорит еще и номенклатура лесных урочищ и угодий, подтверждающий разбойничий промысел прошлых обитателей р. Керженец.

Недальние озера от Хахал по Керженцу носят все характерные названия: Ватага, Падка, Кривое озеро, Ватажка, Омут большой, Омут малый. Кордоны в лесу называются Братки.

Предания о богатых лесных складах, скрытых деньгах пробуждают в местных крестьянах жажду случайного обогащения. В одном месте на берегу лесного черного озера скрыто, говорят, в значительном количестве разбойничье добро и товары макарьевского купца (сгнившие давно). В другом месте – говорят, "заклепано" в дупло громадного дуба много всякого разбойничьего оружия».

Было бы наивно с вашей стороны подумать, что мы в этих местах не побывали. Покормили мы лесных кровопийц досыта. Не пугайтесь, это мы про комаров да слепней баем. Злющие они на лесных заросших дорогах, будто разбойники, стосковавшиеся по добыче, налетают. Места там безлюдные, болотные, и все когда-то проложенные по берегу дороги

до волжского Макария упираются в Керженский заповедник – запретное ныне место для всяческого передвижения. Те озера, которые в газетной заметке значатся, порастеряли свои имена и зовутся – которое Дальнее, которое Ближнее, да еще, может, по сорту рыбы в них обитающей, да по цвету воды – Светлое да Темное..

Дошли мы и до глухomanного кордона Конь. До места, где проходила знаменитая Батыева тропа, которую натоптали кони ворога, пробивавшегося в северные псковско-новгородские земли. Кто постарше в Хахалах, тот помнит, как школьником ходил в турпоход до кордона и угощался медом на лесной пасеке. И следа от кордона не осталось, только метит это место на земле навигатор по заложенным в него координатам.

Кладоискателям стоит заглянуть сюда. Памятное здесь место. В какие-то тысячелетия тому назад остановил в этих местах свое движение ледник и начал таять. Толщина того ледника была почти с километр. Нес он в толще льда каменные валуны с северных земель. Здесь они вытаяли и образовали каменный пояс. Место приметное и долговечное. Чем не схроны для разбойничьих кладов? Может, кому и улыбнется удача.

Нам она не улыбнулась. Да мы особо-то и не расстраивались.

Стоит ли наши приключения сравнивать с грудой каких-то монет, выкопанных из земли?

Не обращайтесь внимания на эту фразу. Надо же чем-то себя успокоить.

Гнездо Галани

Хотите верьте, хотите нет, но в рейтинге самых читаемых сегодня в России книг значатся романы «В лесах» и «На горах» нижегородского писателя Павла Ивановича Мельникова-Печерского. Из двадцатки популярности они не выходят, а с книжных полок магазинов постепенно исчезают, в каком бы количестве ни были изданы.

Особого ажиотажа в их приобретении нет, но интерес к ним устойчивый. Перекочевав в домашние книжные шкафы, книги эти обрастают множеством закладок с пометками: «баня», «травы», «легенды», «золото», «река Керженец», «народные праздники», «кухня», «озеро Светлояр», «ремесла», «старообрядцы», «обычай», «нравы», «разбойничьи клады»

Павел Иванович Мельников-Печерский проявил гигантское краеведческое любопытство и оставил нам энциклопедию жизни нижегородцев, из которой можно черпать бесконечные знания. Мы от своей линии отклоняться не будем и откроем роман «В лесах» на закладке о разбойничьих кладях. Читаем:

«...Человек десять молодых парней внимательно слушали... рассказы пожилого бывалого человека. Одет он был в полушубок и рассказывал про волжские были и отжитые времена.

– А вот на этой самой горе разбойник Галаня в старые годы живал. На своих косных (лодках. – *Авт.*) с молодцами удалыми разъезжал Галанюшка от Саратова до Нижнего и много на Волге бед натворил. Держался больше в Жигулях, а только что зачнется торг у Старого Макария, перебирается сюда. Тут у него в горе выходы вырыты были, и каких богатств тут не было схоронено. Окопов наделал Галаня, валы насыпал на случай обороны... Пушки на окопах у него стояли. Сколько раз солдат на него высылали, – каждый раз либо отобьется, либо на низ, в Жигули уплывает. Обиды были у него великие, никому спуску не давал, одну только Хмелевку не трогал: там ему бабы хлебы пекли и всякий харч его артели доставляли. Оттого и не трогал, оттого и было

хмелевцам житье привольное, хорошее, вдоволь нажились они тогда от Галани... Вот она, Хмелевка-то! – прибавил рассказчик, указывая на выглянувшую из-за нагорного мыса слободу, что раскинулась в полугоре вдоль по течению Волги».

Разве после этих строк не зародится мысль о том, чтобы поискать Галанино гнездо и убедиться, что это не только волжская легенда, не имеющая под собой реального воплощения. Упомянутые окопы, рвы должны хоть оплывшим следом сохраниться. Да и клады в горе стоит поискать.

Через горловину впадающей в Волгу Суры нас доставил к васьилсурскому берегу последний паром. Город вольно расположился на крутой горе и был почти не виден с причала.

Этот небольшой отрезок водного пути можно считать местом историческим. Хоть специальным буюм его меть. В 1833 году пересек это место на пароме Александр Сергеевич Пушкин, отправляясь в оренбургские степи по следам Емельяна Пугачева. Паром тогда был тихоходен, и времени для разговора было предостаточно. Тут-то Пушкину и подсказали... сюжет повести «Капитанская дочка».

А вот знал ли поэт что-нибудь о разбойнике Галане? Это неведомо.

Уже вечерело, и надо было искать место ночевки. За Васильсурском гора пошла на убыль. Дорога перебежала через мостик, и показались домики сегодня уже дачной Хмелевки.

Все дела решили отложить на завтра. А пока горит ночной костерок и в котелке булькает густое походное варево, расскажем вам о Галане Григорьеве. Этот рассказ как раз к ночи придется.

Галактион Григорьев – лицо реальное. Он из коренных нижегородских будет. Село, где он родился, зовется Саблуково – по имени разбойничьего атамана Саблука. Волость, куда входило село, называлась Прудыщенской. Но опять же село Прудыщи все больше Зверевом кликали. Здесь живал разбойник по кличке Зверь. Так что детство Галани прошло в «дурных» местах, а пареньком он оказался восприимчивым.

Свою «вольную» жизнь начал он на берегах маленькой речки Имзы, которая впадает в речку побольше – Пьяну. Сколотил он, как бы сейчас сказали, «организованную преступную группу» и хаживал с нею «в помещичьи усадьбы псалмы петь» да на «большой дороге с купцов подорожную пошлину собирать». Другими словами, занялись молодцы разбоем и рэкетом.

Судя по легендам, о нем ходившим, отличался Галаня умом и смекалкой. Так, один из мужских монастырей взял он хитростью. Нарядил он своих подельников в женское платье, зная, что любят монахи богомолоч, дающий изрядный доход обители. Они беспрепятственно проникли в монастырь. А дальше все было делом техники. Не обошлось и без поджаривания на вениках. Выдала братия тайну монастырской казны. Унес ее с собой Галаня, а монастырь подпалил.

Когда царь Петр I войну с речными разбойниками начал, то она Галаню уже на берегах Волги коснулась. Об этом документальное свидетельство есть. Поручик Мавринский письменно рапортует царю:

«...В одном из присурских лесов захватил шайку разбойников в то самое время, когда один из них рубил саблей связанного мещанина Арефьева, самого злодея поймал, а прочие разбежались... А в допросе тот злодей показал, что он разбойник атаман, беглый каторжник Галактион Григорьев, прозвищем Галанка».

Казалось бы, одним ватажником стало меньше. Но через год Галаня бежит с каторги. Теперь скрыться ему невозможно: у него вырваны ноздри и на теле клеймо – «вор».

Его снова ловят. И тут он пускает в ход очередную свою хитрость. Согласившись показать места обитания его братии, он заводит стражу в лес и, усыпив их бдительность, бежит. Заметим, что произошло все зимой и его даже по глубокому снегу догнать не смогли.

А летом он вновь творит свое черное дело. Причем дерзость его границ не знает. Думали, что он уйдет вниз по Волге, а он «расшалился» под Балахной и Городцом.

Через некоторое время он вновь обосновался под Хмелевкой. Соседство Васильсурска его не беспокоило. К тому времени крепость в городе сгорела, острог упразднили, а кучка стрельцов, жалуясь на плохое денежное содержание, перебралась в другой гарнизон. Так что противостоять Галане было некому.

Этого пирата можно было тоже отнести к народным заступникам. Грабил-то он только богатых. А кого же еще грабить?

Масштаб Галани, конечно, подкачал, в чтимые «герои» он не вышел и так остался в народной молве разбойником с большой речной дороги. Много он бед разному люду причинил, а жизнь закончил в своем разбойничьем гнезде. Слухи ходили, что от простуды была его кончина.

Братки хоронили его знатно. Ладью, где лежало тело атамана, доверху засыпали золотом. Закопали недалеко от разбойничьего гнезда, на речной отмели у Фадеевых гор, тайно, чтобы глаз лишних избежать.

Чувствуется, что в вас уже проснулся зуд кладоискателей. Как не подумать о той ладье? Вот и мы об этом же подумали.

Первый же встреченный житель в Хмелевке на наш осторожный вопрос о разбойниках с готовностью ответил:

– Так вам надо на Чертово городище ехать. Там они были.

Как оказалось, дорога, которую он нам указал, была знаменитой Владимиркой. Только сейчас это была не мощеная дорога, о которую арстанты сбивали ноги, а в меру асфальтированная.

К Чертову городищу в сухую погоду даже на машине подъехать можно: это левый поворот с Владимирки и с километр лесной тенистой дороги. В итоге она утыкается в крутой вал. Он сохранился почти идеально, и лишь в одном месте был нарушен – рыбаки пробили брешь для проезда. Под горой их излюбленное место рыбалки.

Вал – это и есть остатки Галаниных укреплений. Сейчас он зарос черным липняком, а когда-то был чист и оцетинивался чугунными пушками, которые пираты прихватывали с пароходов вместе с добычей.

Мы уже знаем, что Галаня был хитер и смекалист, но к этому надо добавить еще одно качество – он был еще и умелый тактик. Гора, на которой он свил свое разбойничье гнездо, возвышается над Волгой метров на девяносто. Гору до самой реки прорезают два глубоких оврага. Между ними образуется мыс. Его-то и выбрал под свое гнездовье Галаня.

Уязвим мыс был лишь со стороны Владимирки, вот он и перекрыл опасное направление валом и оцетинил пушками. Ни в лоб с Волги, ни с флангов гору взять было невозможно. А какой обзор с нее! Волга здесь дугу описывает, и паруса волжских караванов издали было видно. Так что к abordажу пираты могли не торопясь готовиться и все выглядеть, прежде чем скомандовать – сарынь на кичку!

Галания на горе мог и осаду переждать. Харч он хранил в вырытых землянках. О воде тоже забот не было. Лазая по горе, мы чуть ниже вершины наткнулись на сочившийся из-под камней ключик. Так что спускаться за водой к реке надобности не было.

Вы думаете, мы отправились сюда в надежде найти клад? Если вы откроете книгу нижегородского краеведа Дмитрия Николаевича Смирнова «Нижегородская старина», то отыщете в ней вот такие строки:

«В конце XIX и в начале XX веков искатели кладов изрыли значительные пространства горного берега Волги, ниже Васильсурска на 10–15 верст. Все они безуспешно искали "золотую лодку" Галани».

Это ту самую ладью, в которой его похоронили.

Представляете, какая работа уже проделана! Что мы тут со своей лопатой...

Может быть, давно кости разбойника потревожены и нам остался лишь интерес. Да и копать у кромки воды сегодня бесполезно. Кто знает, где проходило русло Волги два века тому назад. Хотя побродить по урезу воды можно. Искателями сокровищ замечено, что клады, спрятанные в реках, обладают необъяснимым свойством: сколько бы они ни лежали в воде, а на берег стремятся. Волны им в этом помогают.

Вот и находка: из прибрежного песка торчал кончик странной цепочки. Поскребли металл. Нам показалось, что он с желтым оттенком. Попалась явно чугунная болванка, и она виделась с желтизной...

Спешим вас успокоить: в списках нижегородских миллионеров наших имен вы пока не найдете. Подчеркиваем – пока, потому что в клады мы искренне верим и надеемся найти хоть один, хоть самый маленький.

На эту гору и серьезные кладоискатели жаловали. Совсем недавний след: отверстия в земле, пробитые армейскими щупами. По всей вероятности, и металлоискатель у них был – в песке неглубокие шурфы прокопаны, но кроме ржавых гвоздей да потерянных рыбаками блесен, видать, ничего найдено не было. Всю свою добычу кладоискатели выложили на дощечку для всеобщего показа и покинули гору.

А та хранит тайные схроны разбойников, и подход к ним пока не разгадан. Скорее всего, в горе были пробиты штольни, которые можно было укрепить бревенчатым каркасом. В них и награбленное можно было рассортировать и сохранить надолго. Но это всего лишь предположения.

Мы остались довольны своей поездкой. Найти гнездо волжских пиратов тоже большая удача. К легендам можно с улыбкой относиться, мол, много сказок на волжских берегах родилось, а тут реальность...

На этом мы закончим наш рассказ о волжских пиратах. Когда же они начисто исчезли с берегов Волги? Историки утверждают, что в последней трети XVIII века.

Историк и писатель Д.Л. Мордовцев, например, не связывает их исчезновение с деятельностью государственной власти, считая – «пока само течение исторических дел не заменило старые, безобразные порядки новыми, более человеческого свойства» и «некогда дикое разбойничье Поволжье окончательно преобразовалось и становится гордостью и славой России».

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Олег Рябов

ШЕФ-РЕДАКТОР

Андрей Иудин

МАКЕТ

Арсения Костромина

ДИЗАЙНЕР ОБЛОЖКИ

Анатолий Гришин

КОРРЕКТОР

Лев Зелексон

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Дмитрий Бирман

Сергей Горин

Олег Захаров

Людмила Калинина

Александр Котюсов

Ольга Лисятникова

Владимир Седов

Выпуск издания осуществлен
при финансовой поддержке
правительства
Нижегородской области

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Приволжскому федеральному
округу ПИ № ТУ 52–00924
от 20 февраля 2014 г.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Кирилл Анкудинов (Майкоп)

Валерия Белоногова

Николай Бенедиктов

Глеб Горбовский (Санкт-Петербург)

Ирина Горюнова (Москва)

Нина Зверева

Диана Кан (Новокуйбышевск)

Елена Крюкова

Захар Прилепин

Роман Сенчин (Москва)

Евгений Эрастов

УЧРЕДИТЕЛЬ

ООО «КНИГИ»

Рукописи принимаются
по электронной почте:
jurnal.nn@yandex.ru
или по адресу:
издательство «Книги»
603057, Нижний Новгород,
ул. Бекетова, 24/2.
Тел. (831) 412-16-04

Редакция не вступает в переписку.

Рукописи не рецензируются
и не возвращаются. Ответственность
за достоверность фактов несут авторы
материалов. Мнение редакции может
не совпадать с мнением авторов.
При перепечатке материалов ссылка
на журнал «Нижний Новгород»
обязательна.

Подписано к печати 25.02.2015
Формат 70×108 1/16. Усл.-печ. л. 23,1.
Тираж 1100 экз.
Цена свободная

Отпечатано в типографии «Растр НН»
603024, Нижний Новгород,
ул. Белинского, 61